

ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КРУГ

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

ЗАПИСКИ

Редакция и вступительная статья
С. Я. ШТРАЙХА

ТОМ ВТОРОЙ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
КРУГ
МОСКВА — 1928

Главлит № А—11225. Заказ № 969. Тираж 5000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата, Москва, Пятницкая, 71.

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

ЗАПИСКИ

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ужаснейшую и славнейшую эпоху нашего времени приходится мне описывать.

Примечательно, что русский народ, в том числе купцы и малочиновные, имеет инстинктивное отвращение от аристократии. Вообще этот народ слепо повинуется по необходимости, не любит над собою властей, обожает одну только царскую, и то сильную и победоносную. Мне случалось иногда в присутствии самих аристократов об'ясняться несколько откровенно насчет сомнительности их прав; тогда, взглянув на меня с презрением, давали они мне чувствовать, что почитают меня якобинцем.

Теперь нам известно, что̀ такое были бояре в старину. Знаем также, что в новейшие времена аристократия наша была довольно верной копией с французского подлинника: гордость свою прикрывала учтивостью и нестрогую нравственность — благопристойностию. Всего затруднительнее представить последнюю ее метаморфозу — нынешнее загадочное ее состояние. Здесь не место, а найдется при описании настоящих времен. Конечно, во все времена аристократия была у нас царство прозябаемых, которые не иначе могли зреть и возрастать, как согреваемые сильными лучами солнышка-царя; однако же были и люди, более всех пользующиеся доверенностию государя, которые аристократами не почитались и о коих они говорили с презрением, например, Аракчеев. Я уверен, что если б он говорил по-французски, ездил в общества и имел у себя швейцара, то между ними был бы не последний. Но этот странный человек почитал себя их выше и довольствовался тем, что видел всех их ползающими у ног его.

Нынешняя Россия является мне как бы высокая гора, коей вершина ярко озарена светом царского величия. С одной стороны, толпы людей взбираются, лезут по дороге, к ней ведущей, уставленной гранями; некоторые, более счастливые или проворные, бегом бегут по крутизне; иные, устав, останавливаются; иные же совсем обрываются. Одно, два, много три поколения остаются на теме горы; потом с противоположной стороны начинают спускаться все ниже и ниже, многие из них вниз катятся кубарем в ту мрачную долину, которая у подошвы горы наполнена миллионами людей. Однако же исход из нее открыт: вместе с теми, которые никогда из нее не выходили, падшие могут опять подыматься вверх. Мне кажется, ничего не может быть естественнее этого кругообращения.

Не знаю, правда ли, а говорят, что затевают нечто еще худшее, чем уничтожение чинов, что хотят восстановить майораты. Да с какой стати?—спрашивается. Или смешная, жалкая страсть к подражаниям так еще в нас сильна, что мы хотим вводить у себя даже обветшалое на Западе, то, что̀, подобно полуразрушенным его за̀мкам, сегодня или завтра должно упасть? К счастию, можно предсказать, что сначала это встретит большие затруднения в исполнении. Но кто может знать будущее? Огромные состояния будут возрастать и увековечиваться в руках немногих семейств и умножать силу владельцев своих. Несмотря на слишком поздно принятые меры, дворянство беспрестанно будет размножаться и тяжестию числа непременно канет на дно. Места привлекают еще к себе большим жалованьем; но их так умели уронить в мнении, что в отставке носимые их названия никакого не будут возбуждать уважения: чины уничтожатся. Что́ же останется? Высокомощие бояр. Тогда-то водворится у нас Европа; тогда-то воскреснут между нами средние ее века; о, блаженное время! Или лучше сказать, постигнет нас участь благополучной Польши с ее завидной анархией, и наши Юсуповы [1] будут сзывать сеймы, соста-

---

[1] Юсуповы — один из самых богатых княжеских родов в России. Столь нашумевшие перед нашей революцией Юсуповы-Сумароковы-Эльстоны (молодой Ф. Ф. Юсупов, женатый на племяннице Николая второго, участвовал в убийстве Распутина) принадлежали к этому роду только по женской линии. Дед убий-

влять конфедерации. Хороши мы тогда будем! Право, уже лучше бы удельные княжества!

Менее полуторы тысячи верст отделяют Пензу от Петербурга. В нашем необ'ятном государстве, кажется, пространство не слишком великое, а насчет любопытных известий оттуда—мы жили словно в Иркутске. Горизонт наш был весьма ограничен; еще менее, чем в Москве, думали мы о том, что́ нас ожидает, и вседневный вздор, который слышал я вокруг себя, неприметно успокоивал волнуемую страхом душу мою.

Первая важная весть, которую получили мы в конце марта, была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обманутому государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел! Не менее того сию меру, слишком строгую, если человек был безвинен, торжествовали как первую победу над фран-

---

цы Распутина Ф. Н. Эльстон родился в Вене в 1820 г. Мать его была венгерская графиня Форгач, отцом его называли прусского наследника, впоследствии германского императора Вильгельма I. Ф. Н. Эльстон был поручен отцом Вильгельма, прусским королем Фридрихом-Вильгельмом, приятельнице последнего, бывшей вместе с тем приятельницей Пушкина, Ек. Мих. Хитрово, которая привезла его в 1825 г. в Россию. Здесь он воспитывался во дворце, у дочери Хитрово, фрейлины граф. Е. Ф. Тизенгаузен. Женившись на граф. Сумароковой, Ф. Н. Эльстон получил фамилию жены вместе с ее огромным богатством, а их сын Ф. Ф. Сумароков-Эльстон, женившись на последней княжне Юсуповой, прибавил к этим двум фамилиям третью вместе с богатейшим майоратом Юсуповых.

цузами. Многие, помню, приходили меня с этим поздравлять, и, виноват, я принимал поздравления.

Непонятно также казалось молчание, хранимое ведомостями о столь важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, невысокие места занимавших. Оттого многие не хотели верить своему счастию, пока из соседнего Нижнего Новгорода, совсем неужасного места заточения его, не были получены точные сведения о прибытии его туда, о снисходительном приеме, сделанном ему губернатором, и об уединенном образе жизни, который он начал там вести. Между тем слух о его измене, настоящей или мнимой, распространился и между простым народом: не подозревая того, летом отправился он взглянуть на Макарьевскую ярмарку; проходя гостиным двором, он едва не был умерщвлен раз'яренною чернью и спасся через лавку знакомого ему купца. Главное тогда областное начальство, желая будто спасти дни его, а, вероятно, движимое местию, отправило его на жительство в холодный, скучный губернский город Пермь [1].

Уже давно все это было, уже давно нет того, кто был благом и казнию Сперанского, его самого уже нет, а повесть об его изгнании все еще остается для нас загадкою и, вероятно, даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется то же, что во Франции история о Железной маске. Я полагаю, что он был виновен, но не совсем. Сопровождая Александра в Эрфурт, он был очарован величием Наполеона; замечено уже, что все люди, из ничего высоко поднявшиеся, не смея завидовать избраннику счастия и славы, видели в нем свой образец и кумир и почтительнее других ему поклонялись. Мало заботясь об участи отечества, будучи уверен, что Наполеон одолеет нас, мог он от последствий сей войны ожидать чего-то для себя полезного, мог питать какие-нибудь неясные надежды; но, чтоб он вошел в тайные сношения с неприятелем, это дело невозможное:

---

[1] Биограф Сперанского, проф. С. М. Середонин, говорит, что Сперанский действительно проявил бестактность в стремлении проникнуть в тайны иностранной политики Александра I сверх дозволенного царем. Но это вызвало только отставку Сперанского. Выслан же он был за нелестные для Александра отзывы об его государственном уме.

он был слишком осторожен. Как ни воздержан был он в речах своих, но приятных, сильных своих ощущений при имени нашего врага он скрывать не мог. В глазах людей, окружавших царя, и особенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уже было великое преступление и было важнейшим орудием к обвинению его. В беспокойстве духа, в котором находился государь при ожидании великих событий, предался он подозрениям и решился величию обстоятельств принести великую жертву. Вся Россия требовала ее, и на этот раз только в гласе народа послышался Александру глас божий. Иначе я этого дела об'яснить не умею.

Не помню, какой-то французский писатель (ныне их так много), но уже верно не добрый человек [1], сказал, что в несчастиях самих друзей наших для всякого из нас есть всегда какая-нибудь отрадная сторона. Мне кажется, напротив: я не скрою, что падение Сперанского мне было приятно, ибо я разделял общее мнение об нем; но с тем вместе, вспоминая его счастливые дни, представляя себе страдания его при переезде из одной ссылки в другую, под проклятиями народными, грустное чувство, против воли моей, закрадывалось мне в сердце.

На место его посажен был старый вице-адмирал Александр Семенович Шишков, плохой писатель, но самый пылкий патриот. Везде, где говорил я о литературе нашей, имя его всегда поминается. Вскоре потом, в апреле, отправился он к армии с государем в Вильну. Из его назначения мог я заключить, что люди, отличающиеся особою любовию к отечеству, должны быть все в ходу. Мнение сие подтвердилось другим назначением, сделанным в следующем месяце.

С 1809 года начальствовал в Москве старый фельдмаршал, граф Иван Васильевич Гудович. Выжив из лет, он совершенно отдал себя в руки меньшого брата, графа Михаила Васильевича, который слыл человеком весьма корыстолюбивым. Оттого-то управление Москвою шло не лучше нынешнего: все было продажное, все было на откупе. Подручником последнего был какой-то медик, французо-итальянец, если

---

[1] Этот неизвестный писатель был известный Ларошфуко. Сию грубую ошибку со стыдом пополам спешит исправить не издатель, а сам сочинитель Записок. Авт.

не ошибаюсь, Салватори, и они между собою делили прибыль. Так, по крайней мере, все утверждали и в то же время были уверены, что медик не что̀ иное, как тайный агент французского правительства. Москва находилась далеко от театра могущей быть войны, но по какому-то предчувствию на состояние ее обращено было особое внимание правительства. Надлежало непременно сменить Гудовича, и государь сделал сие с обычными ему привлекательными формами, при весьма лестном рескрипте, препроводив к нему портрет свой, алмазами украшенный.

Можно сказать, что Александр был вдохновен свыше, когда в преемники ему выбрал графа Растопчина. Я говорил только о действии, произведенном на меня угрюмым лицом его, когда в Петергофе, будучи еще отроком, трепетною рукою подал я ему просьбу об определении меня в иностранную коллегию, а об нем собственно ничего не говорил. Когда он был еще министром, а я находился под его главным начальством, отец его, Василий Федорович, стал часто посещать зятя моего Алексеева, тогда полицеймейстера в Москве. Не раз случилось мне слышать рассказы его о том, как он выкупился из крепостного состояния, вступил на службу, получил небольшие чины, нажил небольшое состояние и как ничего не щадил, чтобы дать хорошее воспитание единственному сыну своему. Зато сын хорошо ему и отплатил: пользуясь удобною минутой у щедрого Павла, из отставных майоров выпросил ему прямо чин действительного статского советника и Аннинскую ленту. С природным необыкновенным умом и полученным образованием, молодой Растопчин не мог бы иметь столь великих успехов, если бы не женился на родной племяннице Анны Степановны Протасовой, любимицы Екатерины второй. Через нее попал он к большому двору, но предпочел ему двор наследника в Гатчине. Это составило его счастие.

Некоторые люди видели в Растопчине препятствие к исполнению их тайных замыслов; они знали его как человека благородного, твердого, который ни за что не изменит благодетелю своему и готов пожертвовать жизнию, чтобы спасти дни его. Их происки успели ниспровергнуть его за несколько дней до кончины Павла. Известное острословие свое умел Растопчин удерживать, пока был государственным

сановником; но тут, сделавшись мирным обитателем старой столицы, он захотел сложить оковы этикета, налагаемые на людей, находящихся в высоких должностях. Тогда дал он волю речам своим, но скоро увидел, с кем имеет дело. Вместе с тем вспоминал он дни славы своей, время управления его министерством иностранных дел и союза нашего с Австрией, когда русские войска стояли на границе Франции и готовы были ворваться в ее пределы. С бешеною яростию, какую могут только чувствовать сильные души истинных патриотов, в 1807 году видел он, что дело пошло наоборот, и Наполеон недалеко уже от Немана. Кажется, что в раздраженном состоянии, в коем он находился, наконец, надоела ему болтовня московских пустомелей, и он излил свою на нее досаду в горькой, язвительной шутке, в небольшой комедии под названием: «Вести или живой убитый». Ее прочитали, одни посмеялись, другие посердились, и вскоре потом забыли; а она весьма примечания достойна, как изображение тогдашних нравов.

Когда в 1809 году император посетил Москву, то в первый раз по воцарении увидел Растопчина, стал разговаривать с ним и был увлечен силою и ясностию ума его. Тут же он сошелся с Екатериною Павловной и вследствие ее приглашений не раз навещал ее в Твери. Затем получил он еще лестнейшее приглашение прибыть в Петербург, где его сделали обер-камергером и членом государственного совета, с дозволением жить в Москве, откуда, по сделанной привычке, он редко отлучался. Говорят, что он был в числе обвинителей Сперанского и что письмо его о сем предмете сильнее всего на государя подействовало [1].

Все жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда в исходе мая 1812 года назначили его к ним главнокомандующим, с переименованием в военный чин; только радость была непродолжительна. Он выпрямился во всю вышину роста и ума своего и вдруг явился грозным повелителем, с своими нахмуренными бровями, как бы Юпитером-громовержцем. Это было необходимо. Он совершенно знал дух

---

[1] Биограф Растопчина подтверждает, что он имел значительное влияние на ссылку Сперанского, которого всегда ненавидел.

непокорности дворян, знал также своеволие, предрассудки, поверия простого народа; он знал, что сей последний в свирепом виде всегда предполагает смелость и силу. Сжав тех и других в мощной руке своей, он в то же время умел овладеть их умами и привязать к себе. Искусство удивительное, которое не умели у нас довольно оценить. Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример ее действовал на все государство, то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бессмертны.

Третье известие порадовало меня не менее двух первых. Когда совсем потеряли надежду на мир с турками, его заключили в Бухаресте 26 мая. Он был если не весьма славен, то, по крайней мере, весьма выгоден для нас. Граница наша от Днестра отодвинута к Пруту, на протяжении нескольких сот верст; что важнее того, русские опять стали на берегах давно, при первых их князьях, знакомого им и никогда не забытого Дуная, воспетого в их старинных песнях; Бессарабия, мне после столь известная, присоединена к России.

Сказывали, что Кутузов, столь же искусный дипломат, как и воин, проведав, что, скучая медленностию, с какою ведет он переговоры, государь решился назначить ему преемника (да еще какого же?), тайно просил о пособии английское посольство в Константинополе, единственной столице, где оно могло встретиться с французским. Англия, с которою не был еще возобновлен у нас союз, но которой желательно было умножить силы наши против заклятого ее врага, употребила старания свои, чтобы помочь Кутузову в сем деле. Княжеское достоинство с титулом светлости было его наградою.

Ничто не говорило о войне, лето стояло прекраснейшее, и все было так успокоительно. Перед ярмаркой, к 24 июня, все опять начали сбираться.

Ярмарка была чрезвычайно многолюдна и шумна. Сделавшись сперва гораздо спокойнее, стал я и повеселее: не отказывался от званых обедов и даже в Петров день, 29 июня, конец кратковременной ярмарки, хотя будучи в трауре и не имел права быть на бале, который дворянство давало во вновь выстроенной большой галлерее, разгуливал, однако же, в освещенном вокруг ее саде и все видел. Я

попросил бы читателя припомнить себе некую Катерину Васильевну Кожину, урожденную княжну Долгорукую, жену любителя и содержателя театра, а тут уже вдову, которая, имея гораздо более сорока лет, любила еще невинным образом пококетничать. Она избрала себе в обожатели равного себе, князя Василия, одного из меньших братьев губернатора Голицына: он будто бы влюблен был в нее, а я будто бы ревновал. Где-то на вечере, 30 июня, пригласила она обоих нас на следующее утро к ней завтракать; а мы уговорились между собою, чтоб играть у нее роли, ему торжествующего, а мне отчаянного любовника. В приятном ожидании этой комедии заснул я, не зная, что на другой день меня ожидает.

Часу в одиннадцатом утра, 1 июля, зашел я к Голицыным, которые жили отдельно от брата в купленном их матерью особом доме. Я стал торопить князя Василия, чтоб он скорее одевался, и мы совсем готовы были в поход, как вдруг вбежал самый меньшой из братьев, Владимир, всегдашний повеса и вечный хохотун, в столь смущенном виде, что, вероятно, он раз в жизни только его имел. Он пришел от князя Григория, и вот что̀ он нам рассказал: чиновник, посланный от губернатора с гуртом быков, пожертвованных дворянством, не мог довести их до места назначения, ибо довольно далеко от него встретил он армию, поспешно ретирующуюся, и с трудом мог добиться, кому их сдать. Он воротился на курьерских и сказывал, между прочим, что Наполеон уже в Вильне.

Ободряло меня совершенное перерождение большей части наших помещиков: они не хвастались, не храбрились, а показывали спокойную решимость жертвовать всем, и жизнию и состоянием, чтобы спасти честь и независимость России. Весьма немногие не об ней думали, а о своей особе и о своем ларце, и те втихомолку только вздыхали. Все это похоже было на чудо, совершающееся в глазах наших.

Между тем, сгорая огнем любви к отечеству, отважный, неутомимый Растопчин всеми силами раздувал благородное пламя между жителями вверенного ему города; он успел в них пробудить давно уснувший в лени и праздности доблестный дух предков их. Подобно нашим знатным, был он воспитан за границею и знал в совершенстве иностран-

ные языки, но тем отличался от вельможных, что славно выучился и отечественному и не гнушался даже простонародным. Он пригодился ему, когда среди волнения, произведенного грозными обстоятельствами, ежедневно разговаривал он с народом посредством печатных афишек, которые приправлял он разными прибаутками и коими веселил, ободрял и воспламенял его к добру. Это была не война обыкновенная государства с государством, а великое восстание, общее дело, в котором необходимо было и простой народ сделать участником.

Поражениям французов Платовым при Мире, Остерманом — при Островне и Багратионом — при Дашковке мы что-то плохо верили и почитали их более стычками, в которых едва удалось неприятелю дать отпор. Я был не великий стратег и не умел понять, что дело Багратиона сто̀ит великой победы; ибо он пробился сквозь французскую армию, чтобы соединиться с Барклаем, тогда как намерение Наполеона было непременно отрезать его. Но первая, настоящая победа графа Витгенштейна[1] при Клястицах всех чрезвычайно восхитила. Не было обеда, даже семейного, на котором бы не пили за здоровье победителя. Имя его, дотоле вовсе неизвестное, с шумом пронеслось по всей России; все находили, что спасение часто приходит к нам оттуда, откуда мы его не ожидаем, и оттого еще более утверждались в вере на помощь всевышнего.

В Москве, после посещения, сделанного ей государем (который, пробыв два дня, отправился в Петербург), все закипело, все запылало усердием к великому делу спасения отечества. Все в ней делалось на широкую руку. В Петербурге без шуму, без преувеличения, без возгласов дело шло точно так же: не щадили капиталов, поспешно и деятельно собирали и вооружали войско.

Многие из помещиков опасались, что приближение французской армии и тайно подосланные от нее люди прельще-

---

[1] П. Х. Витгенштейн был впоследствии главнокомандующим второй армии, в которой особенно было распространено тайное общество декабристов. Самым любимым его ад'ютантом, со времени наполеоновской войны, был П. И. Пестель — глава заговора. Сын его Л. П. Витгенштейн был членом тайных обществ, но не примыкал к заговору.

ниями, подговорами возмутят против них крестьян и дворовых людей. Напротив, в это время казалось, что с дворянами и купцами слились они в одно тело.

Названия дружин, ратников ополчения, совершенно отечественные, всем были приятны. Самый наряд ополченных, совсем уже не богатый, но отличающий их от линейного войска, чрезвычайно всем понравился. Вооружение состояло из самых простых сабель и пик; других оружий достать было негде и не на что́; правительство обещало само доставить их.

В первой половине августа начали появляться у нас еще не эмигранты из захваченных Наполеоном областей (дотоле все были одни так называемые польские губернии), а ссыльные по высочайшему повелению.

Первою из них была графиня Рыщевская, урожденная Холоневская, богатая и пожилая полька, которая слишком много любила заниматься политикой. Волынский губернатор, Михаил Иванович Комбурлей, не мог остаться равнодушен, зная о воззваниях ее к помещикам, когда неприятельская армия показалась в России: по праву, ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его губерния, он именем государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе досталась она на долю.

Другой изгнанник был француз в русской службе, полковник Радюльф, который сослан был за то, что не согласился итти воевать против соотечественников. Все косились на него; а мне понравился он, как человек скромный, честный, который, не принадлежа к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг свой; в самой ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства. Третий, вероятно, по ошибке попал в Пензу: его бы следовало отправить в Нерчинск, ибо он был совершенно каторжный. Я слыхал и читывал о санкюлотизме, бывшем в ужаснейшие и отвратительнейшие дни французской революции, а не имел об нем настоящего понятия; он мне предстал в лице г. Магиера [1]. Наглость и дерзость, безнравственность и не-

---

[1] Магиер — воспитатель будущих декабристов Никиты и Александра Муравьевых, сыновей писателя и сановника М. Н. Муравьева и его жены, рожденной бар. Колокольцевой (Е. Ф.). О них см. «Декабрист А. М. Муравьев. Записки. Перевод и предисловие С. Я. Штрайха». Пет. 1922.

верие перешли в нем за границы возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще менее, как одна нежная и попечительная мать могла поручить ему воспитание любимейшего сына. Мальчик, с сердцем нежным и благородным, с умом быстро понятливым и любознательным, с дарованиями необыкновенными, которые могли бы послужить к чести и пользе отечества, от пагубных правил, почти в младенчестве внушенных ему сим отравителем, сделался почти преступным и кончил несчастную жизнь, едва перешед за обыкновенную половину пути ее. И в глубокой старости гордая и упрямая мать не хочет сознаться, что она была главнейшею, единственною виной погибели сыновей своих. Я бы ее назвал, но теперь еще не до нее. В последнее время находился он при образовании безобразного сына уродливого графа Хвостова, которого шурин, князь Алексей Иванович Горчаков, управлял тогда министерством военным, на время командования Барклаем одною из действующих армий. Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его опасным и отправил в Пензу; а он там рассказывал, будто это сделано было с намерением разорвать любовные связи его с какою-то кузиной, княжной Горчаковой, как всякий француз, который самохвальству своему честь женщины приносит в жертву. Но никто не хотел ему верить.

Накануне Успеньева дня пришли мне сказать, что некто Мордвинов желает меня видеть. Я оделся наскоро, чтобы к нему выйти, и, взглянув на него, изумился: я не имел понятия о необыкновенной красоте, которую может иметь старость. Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изысканною опрятностью, в черном фраке не нового покроя, с расчесанными и на обе стороны распущенными белыми волосами, с чрезвычайною живостию во взорах, с удивительною приятностию в голосе, что-то напоминающий собою Вакефильдского священника [1]: передо мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов. Приехав накануне вечером в Пензу, он с семейством своим, состоящим из жены, трех молодых дочерей и малолетнего сына, остановился в каком-то заезжем доме, в нижней части города. Неизвест-

[1] Герой романа Вальтер-Скотта того же названия.

но по каким причинам, находясь в службе, намеревался он провести у нас всю зиму и для этого искал для себя удобную квартиру. Как лучший дом был занят полькою Рыщевской, ему указали на наш, который не велик и не красив был, однако же чрезвычайно поместителен; но мать моя, переехав из него, не хотела ни отдавать его внаймы, ни сама возвращаться в него, а оставить его в том виде, в котором он находился в минуту кончины отца моего. Смущенный внезапным появлением г. Мордвинова, я не умел порядочно с ним об'ясниться и почтительно повел его показывать ему комнаты. Он остался доволен как числом, так и расположением их и вдруг спросил меня о цене? Еще более смешавшись, я запросил 1 500 рублей в год, сумму тогда необ'ятную в провинции, в надежде, что он начнет торговаться, и я могу отослать его к настоящей владелице дома. Но он этого не сделал и в миг согласился дать мне требуемую сумму. Тогда решился я об'явить ему, что мне нужно переговорить о том с матерью, а он сказал мне, что за ответом сам придет к ней после обеда. Скорее побежал я к ней и не без труда мог получить ее согласие, представляя ей, что само небо, кажется, со всех сторон посылает нам средства к скорейшей уплате долгов наших.

Неожиданный приезд столь знаменитого человека, как Мордвинов, бывшего морского министра, настоящего председателя одного из департаментов государственного совета, в другое время взволновал бы весь наш губернский город. Тут этого не было. Голицынская спесь заставила губернатора оказать приезжему совершенное невнимание: чтобы не совсем показаться ему неучтивым, поспешил он уехать на ярмарку в Саранск. В Петербурге от Мордвинова совершенно зависело принадлежать к высшей аристократии, но он любил делать все по-своему. Женившись в Ливорно на скромной девице, дочери английского консула Кобле, всегда вел он с нею жизнь довольно уединенную, в кругу своего семейства, в кругу близких и дальних родственников, старинных, просвещенных и достаточных дворян, которые не думали гоняться за знатностью; охотно принимал он у себя также ученых, артистов и литераторов. От того между аристократами прослыл он вольнодумцем, республиканцем; внутри России почитали его усердным, смелым патриотом. Ни-

чего этого не было. У него была страсть риторствовать, изумлять довольно смелыми, на Западе совсем не новыми мыслями; но сильных, внутренних убеждений, но положительных, твердых мнений ни о чем у него не было. Пожалуй, это можно назвать беспристрастием, умеренностью. Например, он был одним из основателей «Беседы российского слова» и почитался задушевным другом руссомана до безумия, Александра Семеновича Шишкова, нового государственного секретаря; в то же время всем известны были связи его с Сперанским, и он явно и громко порицал строгость, употребленную с сим падшим временщиком. Неизвестно, немилость ли к нему двора, или его собственное неудовольствие на правительство заставили его выехать из Петербурга. Так, по крайней мере, казалось; и это, в тогдашних обстоятельствах, вместе с внушениями Голицына, удержало дворян от из'явлений знаков должного к нему уважения, от которых, впрочем, и сам он уклонился[1]. За год перед этим, расчитывая на плодородие Пензенской губернии, купил он в ней тысячу душ; но имение было малоземельное, и он никакого почти не получал с него доходу: он хотел накупить земель в Саратовских степях, чтобы переселить туда половину крестьян, и по словам его, вот была причина появления его между нами.

Итак, я стал тесниться в бане, на одном дворе с матерью моей, оставив чертоги свои; но, по приглашению нанимателя, иногда посещал их. Супруга его, Генриетта Александровна, милая и почтенная дама, в уединении своем (ибо никто к ним не ездил) всегда мне была очень рада; но молоденькие мисс Мордвиновы были отменно дики и, казалось, страшились дуновения мущин. Самого же Николая Семеновича я всегда слушал с жадным любопытством и, кажется, иногда понимал; я находил много ума, бездну познаний, но, признаюсь, толку никакого. К несчастию моему, осенью маленькое семейное его общество умножилось

---

[1] Знаменитый государственный деятель Н. С. Мордвинов должен был выехать из столицы в связи со ссылкою Сперанского, с которым он был в дружбе. Позже их обоих обвиняли в сочувствии замыслам декабристов, которые, впрочем, намечали их в члены временного правительства на случай удачи переворота 1825 года.

прибытием к нему одного молодого ученого, весьма почтенного Гульянова, который впоследствии сделался так известен соперничеством с Шампольйоном в об'яснении гиероглифических знаков. Он все рассуждал со мною о санскритском языке, которого даже названия я дотоле не слыхивал. Не подозревая, что он говорит со мною о прародителе нашего русского и всех славянских языков, мне казалось, что дело идет о священном писании, sancto scripto, и это недоразумение, обнаруживая все невежество мое, совершенно погубило меня в мнении Мордвинова; я заметил это и совсем отстал от дому его.

18 августа, гуляя по городу, вдруг повстречался я с канцелярским чиновником, любимцем Голицына, которого брал он с собою.

— Вы уже опять здесь, — сказал я ему, — как вы скоро воротились!

— Да чтó делать, — отвечал он, — беда, пришло ужасное известие, была большая резня, и в самый день Преображения французы штурмом взяли Смоленск; граф в отчаянии поспешил обратно в Нижний-Новгород, и нам уже без него в Саранске ничего не оставалось делать.

Было уже поздно; как одурелый побрёл я домой и не зашел к матери, чтобы не испугать ее отчаянным видом своим.

Это был третий электрический удар, который раздался по всей России, который, поражая печалью сердцá русских, как будто всякий раз все более возжигал в них мужество и усердие защищать отечество.

Узнав о взятии Смоленска, государь прискакал обратно в Петербург, чтобы назначить искусного полководца, старика князя Кутузова, главнокомандующим над всеми действующими армиями. Приписывая все неудачи наши разброду, в котором как будто они находились, мы ободрены были мыслию, что главная власть сосредоточится в одних руках; жалели только, что не ранее о том подумали. К тому же, самое имя Кутузова напоминало Екатерину и победы.

Приблизился, наконец, тот день, в который, лишившись последней надежды спасти наше сокровище, мы вместе с тем освободились от всякого страха: день сильного перелома, в который война совершенно превратилась в отече-

ственную, в народную, и для пришельцев наступило время погибели.

В воскресенье, 8 сентября, день рождества богородицы, пошел я на поклонение губернатору. Я нашел его в зале, провожающего князя Четвертинского. Я худо поверил глазам своим, и у меня в них помутилось. Не будучи с ним лично знаком, много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы [1]; знал также, что, по усиленной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк. Какими судьбами он в Пензе? Чтò имеет он с нею общего? Оборотясь к одному из братьев Голицыных и на него указывая: «Что это значит?»—спросил я.—«Он приехал,—отвечал он мне, — навестить жену свою, которая теперь с матерью находится в Пензе, проездом в Саратовское имение». — «А чтó армия?» — спросил я. — «Он видел ее на Поклонной горе, где собирались, кажется, дать последнее решительное сражение». Приезд Четвертинского мне все сказал. Он не хочет быть дурным вестником, подумал я, и на день, на два оставляет нам еще надежду.

Целый день ходил я, как шальной, избегая, елико возможно, делать вопросы. Вечером навестили меня братья Ранцовы, из коих старший был некогда моим товарищем в министерстве внутренних дел; вид их показался мрачен и угрюм. Говоря о том, о сем, «завтра понедельник, — сказал я, — чтó-то привезет нам завтрашняя почта?» — «Нет, — сказал мне младший Ранцов, — не ждите ее, она уже не придет», — и... об'явил мне истину. Четвертинский не мог скрыть ее от губернатора, а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или трем столь же скромным людям, так

---

[1] Кн. Б. А. Четвертинский (брат М. А. Нарышкиной, от которой имел дочь Александр I) женат был на Над. Фед. Гагариной (1791—1883), сестре В. Ф. Вяземской, жены поэта П. А. Вяземского, приятельницы Пушкина.

что к вечеру, кроме меня, почти весь город знал, что Москва сдана без бою.

Город Пенза, между тем, с каждым днем становился многолюднее. Из первых приезжих Мордвинов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили [1]. После смольнян из всех уездов семейства помещиков, действительно, начали прибывать и как будто спасаться в губернский город. В числе их можно назвать и самоё княгиню Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму переселилась из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские эмигранты, а в следующем месяце в великом множестве начали, — как говорил народ, — пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно.

Всю осень, по крайней мере, у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались. Что касается до нас, мущин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор [кн. Ф. С. Голицын] не мог упустить случая пощеголять новым костюмом; он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темнозеленого цвета с светлозеленой выпушкой. Из губернских чиновников и

[1] На другой день по получении известия о взятии Москвы, праздновала она у себя сие счастливое событие с двумя французами, Радюльфом и Магиером. Все комнаты были освещены. Но радостное спокойствие сего торжества было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших мимо верхом, посыпался в ее окна и все стекла разбил вдребезги; верховые ускакали потом неизвестно куда, и никогда не могли их отыскать. Через несколько времени мне одному открылась тайна, но я никому не об'являл о ней, не из скромности, а из опасения быть подозреваемым в подучении. Это были — один молодой малый, прежде бывший у меня в услужении, родными моими отпущенный на волю и находившийся тогда канцелярским служителем в губернском правлении, а другой приятель и товарищ его в том же правлении. Оба они поступили в ополчение, а из него перешли в настоящую военную службу. Авт.

дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою.

Не из одних Москвы и Смоленска были у нас эмигранты: из отдаленнейшего края, из Литвы, из Гродненской губернии, прибыла в Пензу вдовствующая княгиня Четвертинская. Она помнила мученическую смерть мужа своего, убитого варшавскою чернью за настоящую или мнимую любовь к России; помнила отеческую нежность Суворова к ее семейству, неисчетные благодеяния, коими оное осыпала Екатерина. Не говоря уже о поместьях, ему дарованных, две несовершеннолетние падчерицы ее сделаны были фрейлинами, а малолетний пасынок и два младенца-сына пожалованы прямо офицерами гвардии. Все это были преступления в глазах поляков, и она могла страшиться их мести; к тому же, вероятно, она помнила еще священные обязанности, налагаемые благодарностию, и сыновей своих, не поступивших еще на службу, хотя весьма уже взрослых, преданных душою врагам России, не хотела допустить присоединиться к ним. Для того, сама не зная куда, решилась ехать внутрь государства. Где-то узнала она, что родная сестра ее Рыщевская сослана в Пензу, и туда направила путь. Тут нашла она не ее одну, но еще и пасынка своего, о коем упомянул я в самом начале сей главы.

Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от святого Владимира и от правнука его Святополка, князя Черниговского. Потомство последнего, а их предки, имели уделы в Волынии и сделались подвластны Литве, когда, в несчастное для России время, этот край отделился от нее. Потом, подобно единокровным князьям внутри России, размножаясь, они беднели. При польском правительстве они ни разбогатеть, ни высоко подняться не могли: ибо ни один из княжеских родов в западной России столь долго не стоял за веру отцов своих, столь упорно не боролся с насилиями и прельщениями иезуитов, так что еще при Петре великом Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве; наконец, и они, и уже верно, самые последние, впали в католицизм и возвысились в почестях. Кто знает? Для самолюбия их было лестно вспо-

мнить, что предки их восседали некогда на престоле, сделавшемся столь блистательным, и оттого-то, может, в разных ветвях сего рода встречались люди, увлекаемые чувством любви к истинному своему отечеству. Не был ли в числе их и князь Антоний, заплативший жизнию за подозреваемое в нем чувство сие? Не низкая доля ожидала семейство его в России.

Старшая дочь его, Жанетта, оставалась долго безбрачною. Привязанность к ней цесаревича Константина Павловича до того простиралась, что хотя он был уже женат, хотел он развестись со своею Анною Федоровною, чтобы на ней жениться. Вдовствующая императрица всеми силами противилась сему союзу, и напрасно: ибо этот брак был бы в тысячу раз приличнее, чем тот, в который он после вступил [с Жанеттой Лович]. Блестящие партии представлялись для этой княжны, но с честолюбивыми своими надеждами она отвергала их.

Меньшая дочь в самой нежной молодости выдана была за Димитрия Львовича Нарышкина. Родство с царствующим домом, высокие, первые должности при дворе, пятью поколениями постоянно, беспрерывно занимаемые, и великое богатство, между ними в целости сохранившееся, составили бы везде действительную знатность, а у нас могла она почитаться дивною. Такими преимуществами пользовалась эта отрасль Нарышкиных, и вот начало поприща, на кое вступила сия молодая женщина. Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви ее с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для кого-нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными.

Славное житье было тогда меньшому их брату, князю Борису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, доброму, отважному, живому, веселому, писаному, как говорится, красавчику.

Молодая княгиня Четвертинская была из тех женщин, коих стòит любить. Не знаю, как сказать мне о ее наружности? Если прямой, гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшая улыбка и матовая, прозрачная белизна неполированного мрамора суть условия красоты, то она ее имела. С особами обоего пола была она равно приветлива и обходительна. Ее звали Надежда Федоровна; но для мужчин на челе этой Надежды была всегда надпись Дантова ада: «оставь надежду навсегда» [1]. Кто кого более любил, муж или жена? Право сказать не могу.

Она приехала в Пензу с матерью своею. Сия последняя была столь долго в Москве известная Прасковья Юрьевна, урожденная Трубецкая, родная племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайского, в первом замужестве за полковником князем Федором Сергеевичем Гагариным. Странная встреча случаев! Отец княгини Четвертинской погиб, быв умерщвлен в 1794 году, во время варшавского возмущения, почти в один день с отцом мужа ее. Неутешная молодая вдова, мать нескольких малолетних детей, взята была в плен и в темнице родила меньшую дечь, как где-то сказал я; вместе с другими была она освобождена Суворовым после взятия Праги. Долго отвергала она всякие утешения, в серьге носила землю с могилы мужа своего; но вместе с твердостию имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать.

Она жила в Москве, в странном городе, где на все смотрят, всему подражают, все делают в преувеличенном виде. Правнуки степенных княгинь и боярынь, редко покидавших свои терема, пользовались в нем совершенною свободой, смею даже прибавить излишнею. Сбросив иго старинных предрассудков, они часто не хотели повиноваться и законам приличия. Тридцать или сорок лет спустя, родился коммунизм, и показались львицы; но тогда никто не мог иметь об них понятия; однако же название б о й к и х московских дам и барышень и тогда вселяло страх и уважение в провинциалках, не смевших им подражать. Смотря беспри-

[1] Известнейший наш поэт в досаде сказал то же о петербургских дамах. А в т.

страстно, я нахожу, что нравы были дурны, но не испорчены; я полагаю, судя по холодности русских женщин, что греха было мало, или и вовсе его не было, но соблазна много. Худо было то в этом жестоком и снисходительном городе, что клевета или злословие не оставляли без внимания ни одной женщины. И все это делалось (и делается) без всякого дурного умысла; все эти примечания, выдумки совсем не были камнями, коими бы хотели бросать в грешниц; ибо каждый знал, что он сам может быть ими закидан. Радуясь чужому падению, казалось, говорили: нашего полку прибыло. Чтобы сохранить чистое имя, должны были женщины приниматься за pruderie, что̀ иначе не умею я перевести, как словом жеманство. Их число было немалое, но их не терпели и над ними смеялись, тогда как торжество и победы ожидали истинно или мнимо-виновных. Прасковья Юрьевна, которая всему охотно смеялась, особенно вранью, никак не хотела рассердиться за то, что̀ про нее распускали [1].

Но время шло, дети росли, и когда она совсем почти начинала терять свои прелести, явился обожатель. То был Петр Александрович Кологривов, отставной полковник, служивший при Павле в кавалергардском полку. Утверждают, что он был в нее без памяти влюблен. Où l'amour va-t-il se nicher? Любовь, куда тебя занесло? хотелось бы сказать. А между тем оно было так: надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. Дотоле и после ничего подобного нельзя было в нем найти. В душе его, в уме, равно как и в теле, все было аляповато и неотесано. Я не знавал человека более его лишенного чувства, называемого такт: он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил невпопад. Любовь таких людей бывает обыкновенно настойчива, докучлива, неотвязчива. Во Франции, говорят, какая-то дама, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него; в России это не водится, и Прасковья Юрьевна не без причины согласилась отдать ему

[1] П. Ю. Трубецкая-Гагарина-Кологривова (1762—1846) — женщина очень энергичная и влиятельная в правительственных кругах. В «Горе от ума» она выведена под именем Татьяны Юрьевны.

свою руку. Как все знатные у нас, не одни женщины, но и мужчины, не думала она о хозяйственных делах своих, которые пришли в совершенное расстройство. Она до безумия любила детей своих; мальчики вступали в тот возраст, в который по тогдашнему обычаю надобно было готовить их на службу, девочки с каждым годом милее расцветали. Как для них не пожертвовать собою? Как не дать им защитника, опекуна и опору? Вообще же женщины любят любовь, и не так, как мы, видя ее к себе в существах даже им противных, не могут отказать им в участии и сострадании; а там, поглядишь, они уже и разделяют ее. Кологривов имел весьма богатое состояние, да сверх того, несмотря на военное звание свое, был великий хлопотун и делец.

На полдороге между Пензой и Зубриловкой было у него обширное поместье, село Мещерское, на три версты растянутое.

Туда пробираясь, остановился он на всю зиму в Пензе с семейством, то есть с женою и с двумя падчерицами, княжнами Софьею и Любовью; с ними вместе жили и Четвертинские.

Я написал почти историю этого дома оттого, что он сделался моею отрадой: бывало, погрустят о Москве, а там и примутся за хохот, за растабары, и нечувствительным образом забудешься и, хотя на время, уймется сердечная тоска.

Домоправители, прикащики оставленных в Москве господских домов, из нее бежавшие, жили однако же не очень вдалеке от нее. Другие, из усердия, чтобы спасти господское добро, не покидали ее и претерпевали все мучения и нужды, коим подвергнута была горсть оставшихся в ней жителей: некоторым из них удавалось разжалобить полковников и офицеров и под их защитою сберегать имущество, их хранению вверенное. Первые кинулись в Москву, коль скоро узнали только, что она очищена от неприятеля; те и другие, приведя в известность сколько чего погибло и что сохранилось, поспешили с нарочно-посланными отправить донесения свои к владельцам в места их пребывания. Один из сих посланных первый прискакал в Пензу к Кологривову, рано поутру, 22-го числа, в день казанской божией матери.

Можно себе представить чувство радости и печали вместе, при получении сопровождаемого подробностями привезенного им известия.

Небо явно споспешествовало нам: стихии сделались нашими союзниками; от проливного дождя, спасшего древний Кремль, до жестокого мороза, близ Смоленска истребившего бо̀льшую, лучшую часть неприятельской армии, едва прошло три недели.

Все оживилось, все радостно зашумело у нас. В злобе, еще не совсем угасшей, никто из нас не подумал пожалеть о тысячах несчастных жертв, насильно против нас привлеченных; во всех них видели мы еще лютых зверей, в погоне за коими ни единого Кутузов не должен был пощадить.

Никто у нас не умел или, лучше сказать, не смел отважно и основательно писать о политических делах. Газеты, издаваемые от правительства или от правительственных мест, рассказывали о происшествиях, не позволяя себе никаких суждений: не только о друге Наполеоне, даже о злодее Бонапарте говорили с некоторою почтительностию и робостию. Самые так называемые литературные журналы наши почти не выходили из пределов словесности, а когда изредка случалось им коснуться до происходящего в Европе, тотчас окрашивались они каким-то официальным колоритом. В 1812 году два человека спаслись к нам от гонений мучителя Германии: знаменитый государственный муж барон Штейн и столь же известный профессор и писатель Арндт. Оба были политические вольнодумцы и прибегнули под крыло либерального деспота. Надобно полагать, что первый из них склонил Александра употребить магическое слово вольность, дабы все европейские народы воззвать к оружию против насильственной французской власти. Предложение не могло быть отвергнуто: оно тешило любимую мысль царя нашего, забаву ума его. Совет был недурен, и средство казалось верным; жаль только, что не подумано было о последствиях в случае победы, которая все еще казалась не совсем вероятною: возбуждать легко, унимать трудно. Как бы то ни было, ученые и восторженные немцы нашли, что наступило уже время откровенно говорить с просвещенною частию жителей и, чтобы взволновать до дна океан народов, населяющих Россию, необходимо присту-

пить немедленно к изданию политического журнала. Дело уже и без того было сделано, и Шишковым дурно написанного манифеста в Полоцке было на то достаточно. Но где вдруг найдешь материалы? Портфели Арндта наполнены были неизданными проклятиями на Наполеона, а между немцами как не найти трудолюбивого переводчика? Немец Греч избран был издателем, и еженедельно стал появляться «Сын отечества». Кажется, это было около половины ноября; ибо в начале декабря уже читал я с жадностию жиденькие книжки его, исполненные выразительных, даже бешеных статей. Были люди, которые находили, что это после ужина горчица, только не те, которые пылали бескорыстною любовию к отечеству, дорожили его честию и надеялись видеть совершенное торжество его. Для справедливого негодования их журнал сей был пищей.

Судьба Наполеона, казалось, решена. Все только рассчитывали пространство, по коему оставалось ему бежать, и с нетерпеливым любопытством ожидали, как зрелища, решительную его гибель. Странно и непонятно! Без всякого знания местностей, еще прежде, чем достиг он Березины, народный глас уже избрал берега ее местом его казни. Молдавская армия в соединении с резервною, под предводительством Чичагова, шла с юга к нему навстречу; большая армия сначала шла по пятам его, но, утомленная беспрерывною погоней за ним, начинала отставать; при первой же остановке его всегда могла его настигнуть. С правой стороны шибко приближался к нему Витгенштейн, победитель трех маршалов, Макдональда, Удино и Виктора, с корпусом, усиленным петербургским ополчением и войсками из Финляндии выведенными.

Ужасами переправы через знаменитую с тех пор Березину не могла быть удовлетворена в нас жажда мести: нам подавай самого Наполеона, а он ускользнул. И теперь еще не знаю, обвинять ли следует Чичагова или оправдывать его? Нельзя изобразить общего на него негодования: все состояния подозревали его в измене, снисходительнейшие кляли его неискусство, и Крылов написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, т. е. о моряке, начальствующем над сухопутным войском. От воинов, беспристрастных очевидцев и сведущих в этом деле судей, гораздо

после слышал я, что Чичагов невзначай оказал тут великую услугу России. Он не пошел туда, где мог бы остановить Наполеона; но кто знает: сей последний, в отчаянном положении, мог бы опрокинуть его небольшую армию и пойти в Минск, где, среди изобилия, находился Шварценберг с австрийскими и саксонскими войсками, сомнительными союзниками, но тогда еще обязанными подкрепить его. Узнав, где Чичагов стережет его, Наполеон предпочел кинуться на открытый, но ужасный путь к Вильне, который без сражений довершил истребление его армии.

Я того мнения, что гордый и злой Чичагов [1], ненавистник своего отечества, неумышленно, по ошибке в сем случае, услужил ему, подобно другим заклятым врагам его, которых провидению угодно обращать в полезные для него орудия. Вражда за вражду; русские в несправедливости своей, по мнению моему, извинительнее Чичагова.

Из полков новонабранного Пензенского ополчения один только формировался и стоял на квартирах в губернском городе, другие размещены были в уездах. Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через меру расчетливые, нашли, что о прокормлении ратников много заботиться нечего и что, при всеобщем усердии жителей, они без пищи их не оставят, а между тем исправно принимали и клали себе в карманы суммы, из нашего комитета отпускаемые, для продовольствия воинов. Название одного я к счастию позабыл; имени другого — не скрою.

Иван Дмитриевич Дмитриев был приглашен, упрошен оставить кавалергардский полк, в котором дослужился до полковничьего чина.

Оба полковника сии прежде всего принялись за полковую экономию. Пока средства не истощались у жителей, ни они, ни ратники роптать не смели. Но когда голод привел их в отчаяние, последние возмутились, из своей среды выбрали себе начальников, а офицеров перевязали и, вероятно, сделали бы то же с полковниками, если бы сии последние заблаговременно не успели спастись бегством.

Сие происходило в двух городах, Саранске и Чембаре, полтораста верст один от другого отстоящих. Ни бесчин-

---

[1] См. Записки, т. I, стр. 152, примечание.

ства, ни грабежа не было, воины требовали одной пищи и, понаевшись, сделались спокойнее и смирнее. Ужасу было много у нас в продолжение двух или трех дней. Но скоро подоспели другие ополченные, сам граф Толстой прискакал в Саранск, и мятеж утушен без кровопролития. Дело обошлось как нельзя лучше: виновных не нашлось, полковники с глазу на глаз названы мошенниками, а рядовым перед фронтом об'явлено, что их хорошо будут кормить; но если впредь что-нибудь подобное они затеют, то десятый из них будет расстрелян; все же дело под шумок представлено выше действием неудачного подговора каких-то небывалых лазутчиков. В половине генваря бунтовавшие и уже покорные, равно как и разруганные, связанные и уже освобожденные, и начальствующие преспокойно отправились вместе в дальний поход по направлению к Киеву.

Около полудня, 18 июля [1814 г.], увидел я издали Москву, и сердце опять забилось во мне любовью, которую другая не могла погасить. Золотая шапка Ивана великого горела вся в солнечных лучах, как бы венец сей новой великомученицы.

Все было ясно, тихо, весело окрест Москвы многострадальной, недавно успокоенной и возвеличенной. Сама она в отдалении попрежнему казалась громадною, и только, проехав Коломенскую заставу, мог я увидеть ужасные следы разрушения. Те части города, через кои я проезжал, кажется, Таганская и Рогожская, совершенно опустошены были огнем. Вымощенная улица имела вид большой дороги, деревянных домов не встречалось, и только кой-где начинали подыматься заборы. Далее стали показываться каменные двух- и трехэтажные обгорелые дома, сквозные как решето, без кровель и окон. Только приближаясь к Яузскому мосту и Воспитательному дому, увидел я, наконец, жилые дома, уцелевшие или вновь отделанные.

От Прасковьи Юрьевны Кологривовой имел я письмо к старшей дочери ее и зятю, Вяземским. От Петербурга до Пензы был я наслышан об очаровательности княгини Веры; о муже ее много я говорил в предыдущей части, а еще более слышал: общие приятели наши заочно всегда вос-

хищались его остроумием. Не знаю, отчего не вдруг решился я к ним ехать, хотя ум в других я более любил, чем боялся его. Они жили в таком квартале, в котором ныне едва ли сыщется порядочный человек. Сему месту, между Грузинами и Тверскими воротами, кем-то дано было приятное название Тишина; ныне называется оно прежним подлым именем Живодерки. Тут находился длинный, деревянный, одноэтажный, несгоревший дом, принадлежавший г. Кологривову, вотчиму княгини, со множеством служб, с обширным садом, огородами и прочим, одним словом — господская усадьба среди столичного города.

Меня сначала смутила холодность, с какою, казалось мне, был я принят. Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее, и потому необходимо изобразить его здесь особенно. Он был женат, был уже отцом, имел вид сериозный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится в голове его; но с первого взгляда никто не мог подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце: эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мущинами — холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка. Я не принадлежал к числу их и не имел прав на его приветливую искренность. Но с неподвижными чертами и взглядом, с голосом немного охриплым, сделал он мне несколько предложений, которые все клонились к тому, чтобы в краткое пребывание мое в опустевшей Москве доставить мне как можно более развлечений. Он поспешил записать меня в Английский клуб (куда однако ж я не поехал), пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре, лишенном почти половины своих дерев, куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку, имея в виду целый ряд обгоревших домов.

Супруга его, Вера Федоровна, была также существо весьма необыкновенное. Я знал трех меньших сестер ее, милых, скромно-веселых; она не совсем походила на них. При неистощимой веселости ее нрава, никто не стал бы

подозревать в ней глубокой чувствительности, а я менее, чем кто другой. Как другие любят выказывать ее, так она ее прятала перед светом, и только время могло открыть ее перед ним. Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только ее сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться, и я готов прибавить, какой мущина? В ней это желание было сильнее, чем в других. Пленники красоты суть ее подданные. В молодости женский пол любит царствовать таким образом и долго не соглашается отказаться от престола, воздвигнутого страстями. Иные дорого платят за успехи кратковременного своего владычества. Такого рода честолюбия вовсе не было в княгине Вяземской: все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед ней разыгрывались и ее забавляли. Не служит ли это доказательством, что, при доброте ее сердца, то, что́ мы называем любовию, никогда не касалось его? Если бы она могла понять ее мучения, то содрогнулась бы. Самым прекраснейшим из женщин одной красоты недостаточно, чтобы увлекать в свои сети; необходимы некоторое притворство, тонкость, уловки, одним словом, вся стратегия кокетства. От них она тем отличалась, что никогда не прибегала к подобным средствам, употребляя, если можно сказать, простые, естественные чары. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Как между ископаемыми, в царстве животных нет ли также существ, одаренных магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда

родятся, чтобы населять сумасшедшие дома. В это время я сам годился бы туда; но, может быть, это и спасло меня. Я не мог прельститься умом, тогда как я пленялся простодушием, т. е. глупостию. Увы, и без меня сколько было безумцев, закланных подобно баранам на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно [1]!

У Вяземских увидел я в первый раз Катерину Андреевну Карамзину и был ей представлен. Она обошлась со мною так же, как и со всеми незнакомыми и даже со многими давно знакомыми, не весьма приветливо; это не помешало мне отдать справедливость ее наружности. Чтó мне сказать о ней? Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Одно имя, ею носимое, уже освещало ее в глазах моих: я любовался ею робко и подобострастно и хотя уже был зрелый и едва ли не перезрелый юноша, но, как паж Херубини о графе Альмавива, готов был сказать о ней: «qu'elle est belle, mais qu'elle est imposante!» [Как она красива и как величественна!] А душевный жар, скрытый под этою мраморною оболочкой, мог узнать я только позже. После обеда приехал сам Карамзин и разговаривал со мною; ему нельзя было узнать человека, которого, вероятно, едва заметил он мальчиком, а я не смел ему напомнить о себе в Марфине.

Тут за обедом находился один персонаж, с которым меня познакомили и который мне вовсе не полюбился. Это был многоглаголивый генерал и камергер Алексей Михайлович Пушкин, остряк, вольтериянец, циник и безбожник [2]. Он был гораздо просвещеннее современника своего Копиева; его ум был забавен, но не довольно высок, чтобы снять с

[1] Кн. В. Ф. Вяземская (1790—1886) была большой приятельницей Пушкина, который относился к ней с почтительностью и любовью младшего брата к старшей сестре. В годы одесской ссылки Пушкина Вяземская жила в Одессе, и в письмах ее того времени к мужу много сообщений о поэте, в которых сквозит, однако, чувство, более теплое, чем простая приязнь.

[2] Родич А. С. Пушкина — А. М. Пушкин был очень ценим своими современниками, как человек остроумный и образованный. Он сам был поэтом и переводчиком.

него печать, наложенную обществами восемнадцатого века. Странно и довольно гадко было мне слушать обветшалые суждения и правила философизма, отчасти породившего революцию, в ту самую минуту, когда казалось, что она сокрушена была навсегда. Этот Пушкин был родственник кроткого, безобидного Василия Львовича [дядя-поэт] и вечный его гонитель, мучитель.

Также прискорбно показалось мне, что в два или три посещения, сделанных мною Вяземским, не слыхал я ни одного русского слова. В городе, который нашествие французов недавно обратило в пепел, все говорили языком их. Один только Карамзин говорил языком, можно сказать, им созданным. Стыдно, право, Вяземскому, который так славно писал на нем, так чудесно выражался на нем в разговорах, что не попытался ввести его в употребление в московском обществе, где имел он такой вес. Но он с малолетства, так же как и я с первой молодости, прельстился французскою литературой, а от пристрастия к творениям до любви к сочинениям недалеко. И мне ли упрекать его, когда с любезными ему французами он храбро сражался и в славной Бородинской битве готов был проливать кровь за отечество, тогда как я, в Пензе, об участи его проливал одни только слезы?

Одним из самоважнейших лиц был тогда управляющий военным министерством, князь Алексей Иванович Горчаков, человек добрый, весьма простой, который, будучи племянником Суворова, почитал обязанностию подражать ему в странностях и только что передразнивал его. Хотя и жил он розно со своею женою, Варварой Юрьевной, урожденной княжной Долгоруковой, но, по ней будучи племянником Салтыкова [Н. И., управляющего государством в отсутствие Александра I], на старика также имел большое влияние. Его канцелярия, свита, любимцы делали, что им было угодно, и, во всеобщем волнении видя мутную воду, ловили в ней, что̀ хотели. Все это вместе с Молчановым [П. С. — фактотум Салтыкова] составляло правительственную камариллу.

Сам князь Горчаков у себя гостей не принимал, а у сестры своей, графини Хвостовой. У нее начались балы, и дом ее, куда прежде люди хорошего тона не ездили, сделался одним из первых в Петербурге. Тяжело было бедному Ди-

митрию Ивановичу [Хвостову — поэту] к авторским издержкам прибавить еще полубоярские, и это, говорят, весьма расстроило его состояние.

Весьма важную роль также играл в это время один частный человек, отставной статский советник Иван Антонович Пукалов. Он женился на побочной дочери какого-то богатого боярина, которому для нее был нужен чин, чтобы законным образом оставить ей свое наследство. Пукалов был слишком благоразумен, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Он пользовался ее имением; она пользовалась совершенной свободой. Я знавал ее лично, эту всем известную Варвару Петровну, полненькую, кругленькую, беленькую бесстыдницу. Она была типом русских Лаис, русских Фрин [1]. Из славянских жен одни только польки умеют быть увлекательны, прелестны, даже довольно пристойны и благородны среди студодеяний своих; русские в этом искусстве все как будто не за свое дело берутся.

Аракчеев, сначала сопровождавший государя, еще из Праги давно уже воротился. Он жил, казалось, совсем без дела и повидимому ни во чтò не вмешивался. Но через происки свои интересованные в том лица дознались, что он ведет тайную частую переписку с императором, и оттого оказывали ему всевозможное почтение. На досуге завел он любовные связи с Пукаловой. С грубостию его чувств, утонченность ума не могла бы уловить его сердце; его расчетливости нравилась и самая дешевизна этой связи, ибо Пукалова из чести лишь одной предалась ему. Зато от других, от искателей фортуны, принимала она подарки, выпрашивала, даже требовала их. Она стала показываться на всех балах и изумлять своею наглостию. Все высокомощные стали ухаживать за нею и за мужем ее. А сей нечестивец, сей плут всех уверил, что через жену делает из Аракчеева, чтò хочет. У Салтыкова, Горчакова, Молчанова почитался он домашним другом; да и многие другие,

---

[1] Варвара Петровна Пукалова (род. 1784), дочь бригадира П. С. Мордвинова, вышла замуж в 1803 г. за синодального обер-прокурора И. А. Пукалова. «Не изумляла» современников умом и образованием, «но изумляла» наглостью, так как, вступив в связь с Аракчеевым, почти открыто торговала чинами и орденами, все с ведома и при помощи мужа.

в надежде на его подпору, ни в чем ему отказывать не умели. Он прослыл источником всех благ и просящим, разумеется не даром, раздавал места. Между тем сам Аракчеев охотно принимал его, ласкал, все из него выведывал, все помечал и обо всем доносил. Любовь над сим твердым мужем не имела довольно силы, чтобы заставить его забыть свой долг.

Я возобновил в это время [в Петербурге] много старых знакомств и сделал несколько новых. После долгой разлуки первое свидание мое с Дмитрием Николаевичем Блудовым было одною из радостных минут моей жизни. В продолжение двух лет с половиною сколько перемен! Нужно ли говорить, что взаимные чувства наши не изменились? Любопытно мне было человека, которого оставил я беспечным юношей, найти мужем, отцом и хозяином дома. Желания его совершились: весной 1812 года вступил он в брак с княжною Щербатовой. Военные происшествия омрачили первые месяцы его супружества, и вскоре потом, когда собирался он к новому месту назначения, советника посольства в Стокгольме, должен был похоронить он тещу. Он оставил эту должность и приехал в Петербург, незадолго до возвращения моего в сию столицу.

Находясь в Стокгольме, он имел случай близко узнать славного воина Бернадота, мудрого и дальновидного человека, который, несмотря на все быстрые перемены обстоятельств, умел твердо удержаться на ступенях шведского престола и на нем самом. Потом был он в коротких сношениях с ученым и достопочтенным библиофилом, графом Сухтеленом, о котором много говорил я в первой части сих Записок и который находился тогда при этом дворе в качестве не посланника, а чего-то более. Тут познакомился он и сблизился с знаменитою Сталь, которая, бегая от Наполеона из государства в государство, целую зиму провела в Швеции. Чужой ум пристает только к тем, кои сами им изобилуют; им только одним идет он впрок. Обмен мыслей есть обширная торговля, в которой непременно надобно быть капиталистом, чтобы сделаться миллионером, и в этом смысле я нашел, что Блудов еще более разбогател. Он часто удивлял меня своим умом, а после возвращения его из

Швеции и моего — из Пензы начинал он ужасать меня им.

Как приятно мне было видеть его счастливым в домашней жизни! Более по слуху уже изобразил я Анну Андреевну; лично узнав ее, не могу здесь умолчать о ее почтенных и любезных свойствах. Природа одарила ее чувствами самыми нежными и кроткими: я не знавал женщины более способной любить ближних, любить не пылко, но искренно и постоянно. Около нее была атмосфера добра и благосклонности; разумеется, что те, кои были ближе к ней, муж, дети и родственники, более других испытывали усладительное действие оной; но и друзья и знакомые их, вступая в этот благорастворенный круг, подчинялись его приятному влиянию.

Если сначала я несколько завидовал Блудову как супругу, то отнюдь не как отцу. На руках терпеливой шведской дады (кормилицы) было маленькое создание, в котором уже можно было угадывать ум, затейливость по прихотям, кои возрастали по мере беспрестанного удовлетворения их. Отец в полном смысле боготворил дочь свою, а мне девочка казалась несносною [1]. Мог ли я думать тогда, что придет время, в которое высокие чувства души, любезность ее, доброта и успехи в свете будут радовать меня как родного и, повторяя слова Пушкина, я буду гордиться ею, как старая няня своею барышней?

В числе новых знакомств не надлежало бы упоминать мне о мимоходных, о тех, кои по себе не оставили никаких следов.

Но когда это весьма замечательные лица, то как не поместить их здесь? Не знаю почему Четвертинскому так полюбилась Пенза, что покамест он все еще оставался в ней. Когда я начал собираться в дорогу, желая мне много добра, сказал он мне, что знакомство с его сестрой может

---

[1] Дочь Блудова — Антонина — известная при Николае I и Александре II деятельница по насаждению официального православия в польских губерниях, особенно в Холмщине, большая приятельница наших писателей-славянофилов. В своих воспоминаниях А. Д. Блудова, перечисляя посетителей ее отца в годы ее детства, пишет о Вигеле: «Вот и черные как смоль, раскаленные как угли глаза Вигеля, которого раздражительность и негодование на меня в моем детстве я узнала только по его запискам».

быть мне полезно и по службе. Вместе с тем признался, что дружба их до того охолодела, что они более не переписываются, и предложил мне только письмо к зятю своему, Димитрию Львовичу Нарышкину, который и введет меня в гостиную, а может быть, и в кабинет жены своей.

Марья Антоновна жила тогда (и кажется, в последний раз) на даче своей у Крестовского перевоза. Хотя дом был довольно просторен и красив, и перед ним расстилался к реке прекрасный цветник, но это никак не походило на замок какой-нибудь Дианы де-Пуатье [1]. Соображаясь с простотою вкусов императора, который в первые годы своего царствования всем загородным дворцам своим предпочитал Каменоостровский, она по близости его купила сию дачу у наследников Петра Ивановича Мелиссино, который, истратив большие суммы на обсушение и возвышение сего небольшого уголка, дал ему название «Ma Folie» [Моя прихоть]. Отделенное Карповкой от других дач Аптекарского острова, сие место представляло ей удобство соседства и уединения для принятия тайных посещений царя.

Одичав в провинции, я не тотчас по приезде решился везти письмо к Нарышкину. Хорошим приемом он ободрил меня. Он принадлежал к небольшому остатку придворных вельмож прежнего времени, со всеми был непринужденно учтив, благороден сердцем и манерами, но так же, как почти все они, сластолюбив, роскошен, расточителен, при уме и характере не весьма твердом.

Попросив меня немного подождать, через несколько комнат пошел он сам доложить обо мне и вскоре потом через них проводил меня в храм красоты. Она была одна, приняла меня стоя, не посадила, а только по-польскому или не знаю какому другому обычаю протянула мне руку, которую поцеловал я. Наружный жар был умеряем спущенными маркизами и прохладительным ветерком; среди благовония цветов и тысячи великолепных безделок, которые начинали тогда входить в моду, смотреть на совершенную красавицу было бы весьма приятно; но я в ней видел полуцарицу и немного смешался, только не надолго. Она была женщина добрая и неспесивая, расспрашивала меня о брате, о его се-

[1] Диана де-Пуатье (1499—1566) — любовница Генриха II.

мействе и житье и, наконец, пригласила меня, и довольно настоятельно, обедать у нее по воскресным дням, когда бывает у нее много гостей и перед окнами играет музыка, в виду гуляющих на Крестовском острову.

В первое воскресенье воспользовался я сделанным мне приглашением. Общество было отборное, с хозяйкой свободно-почтительное. Она обошлась со мной весьма ласково и рекомендовала меня сестре своей, княжне Жанетте Четвертинской и поляку Вышковскому, который, как после узнал я, был ее суженый. Наружность сей последней мне показалась бы неприятною, еслиб она была со мною и повнимательнее; из нескольких слов поляка, довольно пожилого и незначущего, не менее того весьма надменного, мог я заметить, что он великий руссоненавистник. И вот кто должен был заменить ей цесаревича! Две воспитанницы или собеседницы, право не знаю, одна дородная, свежая и пригожая полька Студиловская, другая молоденькая, тоненькая, хорошенькая англичаночка, которую звали просто Салли, подошли ко мне сами знакомиться, были отменно любезны и сказали мне, что, во внимание к приязни моей с братом, которого Марья Антоновна никогда не переставала любить, желает она, чтобы я сделался у нее домашним. Братья Нарышкины были известные гастрономы: стол и вина были чудесные.

Все это мне очень полюбилось, и в следующее воскресенье явился я опять к обеду, хотя и знал уже, что на покровительство г-жи Нарышкиной надеяться мне нечего. Нам с братом ее в Пензе еще не было известно, что царственная связь, увы! уже совершенно разорвана. Это нимало не помешало бы мне повторять мои посещения; но наступил сентябрь, Нарышкины переехали в город, и в том же месяце Марья Антоновна надолго отправилась в чужие края. Мне больно было бы сказать здесь, какою нашел я ее, когда, после десятилетий, встретясь с ней за границей, возобновил я знакомство с нею и часто виделся.

Перед от'ездом моим из Пензы часто начал посещать меня плут Магиер, который перессорился с пленными наполеоновскими французами. Он старался уверить меня, что втайне никогда не переставал быть предан законным государям своим, Бурбонам, и прочитал письмо или просьбу

к герцогу Ангулемскому, в котором, об'ясняя, что отец его (не упоминая, в какой должности) служил графу д'Артуа, отцу герцога, он, наследник верности, желает посвятить жизнь свою его высочеству. Когда совсем собрался я в путь, вручил он мне другое письмо к Екатерине Федоровне Муравьевой, желая, чтобы я отдал его лично, присоединив мои просьбы к его молениям о помощи, дабы мог он освободиться от ссылки и возвратиться в отечество. Я рад бы был избавить Россию от всех иностранных негодяев и дал ему слово исполнить его требование.

Даму, к которой адресовал он меня, я лично не знал. Она слыла добродушною и добродетельною, т. е. строгой нравственности в отношении к супружескому долгу. Последнее было справедливо и, я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна как смертельный грех и с богатым приданым лет тридцати едва могла найти жениха. Я немного совестился был ходатаем за мошенника и старался разжалобить ее; к изумлению моему, она горячо принялась за это дело, и участие мое в нем послужило мне лучшею у нее рекомендацией. Она оказала мне много благосклонности и просила почитать себя у нее как дома [1].

Муж ее, Михаил Никитич, был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он вместе с Лагарпом находился при воспитании императора Александра, платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасною истиной; кроткую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила передал он жене, и они сделались наследием его семейства. Но втайне она была исполнена гордости и тщеславия, а только по наружности заимствовала у мужа вид смирения. По мнению ее, он не был достойным образом награжден по воцарении воспитанника своего за попечения его об нем.

Он не один пользовался его доверенностию и был только товарищем министра народного просвещения; при первом случае верно был бы он и министром, но смерть рано его

---

[1] Ек. Фед. Муравьева была женщина очень добрая. Когда сыновья ее были сосланы в Сибирь, она пересылала туда много денег в помощь неимущим декабристам.

похитила, и государь забыл о вдове его, которую, впрочем, и не знавал. Неудовольствие на правительство часто обращается в постоянную оппозицию и принимает вид свободомыслия.

Сия малорослая женщина, худая как сухарь, вечно судорожно-тревожная, от природы умная и образованная мужем, в гостиных умела быть тиха, воздерживаться от гнева и всех дарить улыбками. Горе только тем, кои находились в прямой от нее зависимости: она была их мучительницей, их губительницей. Но подобно самкам всех лютых животных, чувство материнской нежности превосходило в ней все, что вообразить можно.

У нее было два сына, которые оба походили на отца душой и сердцем, а старший даже и умом. Меньшой, малолетний, находился при ней; старшего, Никиту, офицера генерального штаба, ожидала она с нетерпением из армии. Все радости, все надежды ее сосредоточивались на нем, и он был действительно того достоин [1]. К несчастию, поручила она образование его сорванцу, якобинцу Магиеру. Идеями, согласными с ее образом мыслей, вкрался он в ее доверенность и заразил ими воображение отрока, но не мог испортить его сердца. Не могла того сделать и мать, вливая в него желчь свою и раздражая его против верховной власти.

Я сказал, что она была богата; тогда пользовалась она только частию следуемого ей имущества. У нее жив был еще отец, осьмидесятилетний скупой старец, сенатор Федор Михайлович Колокольцов, барон поневоле [2]. Долго, очень долго голос опытного, умного и злого старика увлекал в сенате невнимательных или несведущих сочленов. Он уже слабел и вскоре потом умолк. Тогда дом разбогатевшей его дочери сделался одним из роскошнейших и приятнейших в столице. Встречая в нем почти всех моих знакомых, сде-

---

[1] Никиту Муравьева Вигель знал хорошо по их совместному участию в «Арзамасе». О нем см. ниже в 5-й части Записок.

[2] Надеясь на кредит зятя, в коронацию Александра Колокольцов изъявил желание получить графское достоинство. Государь, улыбаясь, пожаловал его бароном, и раздосадованный Колокольцев даже в официальных бумагах никогда не хотел употреблять сего титула. Авт.

лался я частым его посетителем. Чтó я после в нем увидел, увидят и читатели, если Записки сии не прекратятся [1].

В домах Блудова и Муравьевой познакомился я с двумя молодыми людьми, коих приязнию и благорасположением имею право гордиться. Я только что назвал Дмитрия Васильевича Дашкова, когда он приехал с Дмитриевым служить в Петербурге; несколько раз видел я его, кажется, даже и разговаривал с ним, но вообще он не спешил знакомиться. Он был в лучших годах жизни, высок ростом, имел черты правильные и красивые, вид мужественный и скромный вместе. В обществе казался он даже несколько угрюм, смотрел задумчиво и рассеянно и редко кому улыбался; зато улыбка его была приятна, как от скупого дорогой подарок; только в приятельском кругу скупой делался расточителен. Незнакомые почитали Дашкова холодным и мрачным: он весь был любовь и чувство; был чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, но необычайная сила рассудка, коим одарила его природа, останавливала его в пределах умеренности. Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался он победителем, проявлялась и в речах его, затрудняла его выговор: он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил плавно, чисто, безостановочно; та же чистота была в душе его, в слоге и даже в почерке пера.

Он принадлежал к древнему дворянскому роду, но не был богат. Когда был он еще мальчиком, Дмитриев заметил его литературные способности и поощрял их. Он служил в иностранной коллегии, когда Дмитриева сделали министром юстиции; привлеченный им, он перешел на другую стезю. На трех дорогах, по которым в самой первой молодости повела его судьба, умел он отличиться. Упражняясь пристально в делах судебных, в минуты отдохновения продолжал он предаваться любимым юношеским занятиям своим. Маленькая брошюра под названием: «О легчайшем способе отвечать на критики» была праща, с которою сей новый Давид вступил в борьбу с тогдашним Голиафом, Шишковым. Я счел

[1] В доме Муравьевой бывал весь умный, образованный и талантливый Петербург, в том числе лучшие писатели (Карамзин, Батюшков и др.) и будущие декабристы (Н. Тургенев, М. Лунин и др.).

не излишним означить здесь первые начала прекрасной полезной жизни, которой конец осужден я был оплакать. Я знавал людей, которые имели несчастие ненавидеть Дашкова; презирать его никто не смел и не умел [1].

Двоюродный племянник покойного Муравьева, Константин Николаевич Батюшков, в доме его вдовы был принят как сын родной. Под руководством благодетельного дяди, с малолетства посвятил он себя поэзии. Но лишь только прошел первый слух о дальней опасности, грозящей отечеству, бросил он лиру и схватил меч. Он вступил в петербургскую милицию и с нею, будучи почти мальчиком, сражался в 1807 году и был ранен. Из военной службы его не выпустили и перевели офицером в гвардейский егерский полк; тут опять пошел он в поход против шведов, опять дрался и опять был ранен. Сложения был он не крепкого, здоровье и нервы его после того расстроились; он должен был оставить службу. Когда силы возвратились к нему, в 1813 году поспешил он к знаменам отчизны и под ними вступил в Париж. Потом опять принялся он петь стихи свои; я говорю петь, ибо они — музыка. В них и в его гармонической прозе видна вся душа его, чистая, благородная, то детски веселая, то нежно унылая. В такие лета, когда рассудок еще не образовался, врожденный вкус уже указал ему на недостатки многих бездарных наших писателей, и когда другие безотчетно поклонялись им, он в забавных стихах: «Видение на берегах Леты» позволил себе их осмеять. Ими почти никого не раздражал он; не то если бы нам грешным! И вот привилегия добродушия: его насмешки получают всегда просто название шуток.

Он давно уже был завербован в Оленинское общество, о коем говорил я в предыдущей части. Во время долгого отсутствия моего из Петербурга, согласие в образе мыслей сблизило его сперва с Тургеневым, потом с Дашковым и Блудовым. Составилась приятная, беспритворная холостая компания, и вечерние беседы наши оживлял Батюшков веселым, незлобивым остроумием своим. Мы недавно были знакомы,

[1] Дм. Вас. Дашков (1788—1839), по отзыву современников, «человек отменных дарований, античной высоты и обширной образованности», «истинный оратор с прекрасным пером». Пушкин очень уважал его и называл «бронзой» за стойкость и честность.

а его уже беспокоило затруднительное положение мое, и он помышлял о средствах меня из него вывести.

После смерти графа Строганова Оленин был назначен президентом Академии художеств и директором императорской публичной библиотеки. Она помещена была в прекрасном закругленном здании, построенном при Екатерине на углу Невского проспекта и Садовой улицы, и на две трети составлена была из завоеванной в Варшаве библиотеки графа Залуцкого. С приобретенными прежде и вновь приобретаемыми творениями, число книг было довольно значительно, но все они, неразобранные, лежали грудами. Заботливый Оленин составил новое положение и новый штат для заведения сего, и они были утверждены в начале 1812 года; после того книги кое-как приведены в некоторый порядок. Тут нужны были ученые, а новые места, разделенные на библиотекарей и их помощников, Оленин роздал поэтам и приближенным своим. В числе первых прежде его находился один человек, который бы мог быть весьма полезен, брат генерала графа Сухтелена, Руф Корнилович, с которым путешествовал я по Сибири. Но он устарел, без брата жить не мог и, получив отпуск, отправился к нему в Стокгольм; оттуда прислал он просьбу об отставке. Его-то место втайне прочил мне Батюшков и для того желал познакомить меня с домом Олениных[1]. Сим местом могли быть удовлетворены скромные желания мои: хорошая квартира с дровами, полторы тысячи рублей ассигнациями жалованья и занятия по вкусу, вот чтó, по тогдашнему мнению моему, казалось достаточным на целую жизнь.

Хотя по известности Батюшкова его чрезвычайно и приголубливали у Олениных, но он на одного себя не понадеялся, зная, что есть существо, которое мало-по-малу овладело всем этим домом. Раз, прогуливаясь со мною вместе, как будто не нарочно завел он меня к другу своему, Гнедичу. Кривому Пиладу было мало одного Ореста, Крылова; тот никогда не отпирался от его дружбы, но никогда и не сознавался в ней; легче было приобрести ее у пылкого Батюш-

---

[1] Дом А. Н. Оленина был одним из средоточий тогдашнего образованного русского общества. Пушкин был там частым посетителем.

кова. Тесная связь между ними сплетена была как из хитрости украинца, так и из добросердечия и доверчивости русского. Предупредив Гнедича о своих и моих намерениях, он как будто нечаянно вспомнил о том, дабы у первого посещения отнять вид презентации и просительности. Приемом остался я доволен; в нем было даже нечто приязненное. Через несколько дней Гнедич сам зашел навестить меня и об'явить, что дело можно почитать, как говорится, в шляпе; что оно могло бы тотчас быть окончено, но что Сухтелен при отставке требует полный пенсион и чин статского советника, чего нельзя сделать без государя, а он кроме самоважнейших бумаг не велел ничего присылать к себе в Вену, но, вероятно, скоро возвратится. Он сказал мне, что Оленин сам очень желает познакомиться со мной, но что чрезвычайно озабочен по новой должности, на него возложенной, и свободные минуты посвящает семейству своему, живущему до зимы на даче его, Приютине, в двадцати верстах от Петербурга. И действительно, контраст между Сперанским, столь примечательным по необыкновенному уму своему и познаниям, и преемником его Шишковым, который вне славянской лингвистики ничего не смыслил, был слишком разителен, чтобы сей последний мог долго оставаться на его месте государственным секретарем. Он уволен, и исправление этой должности поручено было Оленину.

Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более заниматься ею. Все чтò ни затевал я в жизни, приходило мне в голову внезапно, неожиданно; раз поутру сказал я сам себе: дай попробую, и принялся писать, чтó бы вы думали? исторический словарь великих мужей в России. Этот труд уж сам по себе мне был не под силу; но был еще другой, гораздо важнее, отрывать источники, копаться в них; сей последний испугал меня, отнял у меня всю бодрость. А покамест написал я несколько статей и имел бесстыдство показать их Блудову. Его неистощимая снисходительность ко мне ослепила ли его, или он нашел, что для неопытного действительно недурно и надеялся, что со временем могу набить я руку, только похвалил меня. Похвала из уст такого строгого судьи в литературе чрезвычайно возбудительна и... и, как говорится, пошла писать! Судя по связям моим, хотя

написал я немного строк и ни одной не напечатал, безграмотные начали подозревать меня в авторстве, и сие дало мне новое право на звание библиотекаря.

Наконец, в ноябре Алексей Николаевич и Елисавета Марковна Оленины возвратились из Приютина и открыли дом свой.

Я вступил в него твердою ногой, упираясь на трех поэтов, на прежнего наставника моего Крылова, на Гнедича и на Батюшкова. Подобного дома трудно было бы сыскать тогда в Петербурге, ныне невозможно, и я думаю услужить потомству, изобразив его. Начнем с хозяина. Принадлежа по матери к русской знати, будучи родным племянником князя Григория Семеновича Волконского [1], Оленин получил аристократическое воспитание, выучен был иностранным языкам, посылаем был за границу. Древность дворянского рода его и состояние весьма достаточное не дозволили бы однако же ему, подобно знатным, ожидать в праздности наград и отличий, подобно им быть знакому с одною роскошью и любезностью гостиных. Вероятно, он это почувствовал, а может быть, по врожденной склонности стал прилежать к наукам, приучать себя к трудам; он прослужил целый век и приобрел много познаний, правда, весьма поверхностных, но которые в его время и в его кругу заставили видеть в нем ученого и делового человека. Его чрезмерно сокращенная особа была отменно мила; в маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых. Например, никогда не изменяя чести, был он, как все служащие в Петербурге быть должны, искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними. Также, по пословице, всегда гонялся он за всеми зайцами вдруг; но, не по пословице, настигал их: у которого оторвет лоскут уха, у которого клочек шерсти, и сими трофеями любил он украшать не только кабинет свой, а отчасти и гостиную. Он имел притязания на звание литератора, артиста, археолога; даже те люди, кои видели неосновательность сих претензий, любя его, всегда готовы были признавать их пра-

[1] Отца декабриста С. Г. Волконского.

вами. Сам Александр шутя прозвал его Tausendkünstler, тысячеискусником.

Его подруга, исключая роста, была во многом с ним схожа. Эта умная женщина исполнена была доброжелательства ко всем; но в из'явлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в его искренности. Она была дочь известного при Елисавете и потом долго при Екатерине Марка Федоровича Полторацкого, основателя придворной капеллы певчих и чрезвычайно многочисленного потомства. Характер имеет так же свою особую физиономию, как и лицо, и единообразие ее выпечатано было на всех детях его обоего пола; все они склонны были, смотря по уму каждого, к приятному или скучному балагурству; об одном из них, Константине, где-то вскользь я упомянул. Склонность, о которой сейчас говорил я, и любовь к общежитию побеждали в Елисавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучась, умела она улыбаться гостям. Я находил, что тут и мужская твердость воли и ангельское терпение, которое дается одним только женщинам. Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны, и желание беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя было встретить столько свободы удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах — столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни, несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности. Я уверен, что Крылов более всех умел окрасить его в русский цвет. Заметно было, как приятно было умному и уже несколько пожилому тогда холостяку давать себя откармливать в нем и баловать. Посещаемый знатью и лучшим обществом петербургским дом сей был уважаем; по-моему, он мог назваться образцовым, хотя имел и мало подражателей. В

последние годы существования старых супругов, когда Россия так и в'елась в европеизм, он сделался анахронизмом. Мир праху вашему, чета неоцененная! Оставайтесь неразлучны в другом мире, как связаны были в этом! Я иногда тоскую по вас. Простите мне, если беспристрастие и правдолюбие мое вынудили меня коснуться некоторых несовершенств, нераздельных с человеческою слабостию. Тени, наведенные мною на светлую картину жизни вашей, я думаю, еще более выказывают все красоты ее.

У Анны Андреевны Блудовой была меньшая единственная сестра, фрейлина, княжна Марья Андреевна Щербатова. Она по зимам жила вместе с нею, а лето и осень проводила в Павловском и в Гатчине у императрицы Марии Феодоровны, которой особенною милостию она пользовалась. Дабы понять нижеписанное, надобно знать, что она была нрава веселого, но совсем не живого; столько флегма ни в ком не случалось мне находить. Один вечер (это было 6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры ее. Она довольно поздно воротилась из дворца от императрицы; входя, очень равнодушно она сказала нам: «Слышали ли вы, что Наполеон бежал с острова Эльбы?» Мы с изумлением посмотрели друг на друга. «Успокойтесь,—продолжала она,— не знали, куда он девался и были в тревоге; но получили хорошее известие: он вышел на берег неподалеку от Фрежюса». — «Ну, правда, — невольно усмехаясь, сказал Блудов, — добрые вести привезли вы нам!» Мы подивились, потолковали и раз'ехались.

В следующие дни все бросились нарасхват читать газеты и ничего не находили в них ободрительного. Вечная война в лице Наполеона быстрыми шагами шла к Парижу. Возвратившиеся из России многочисленные старые солдаты его поступили опять в полки, и новое правительство имело неосторожность послать их к нему навстречу. С хвастливым красноречием, приспособленным к их понятиям и сильно действующим на французское тщеславие, были написаны об'явления его. От башни до башни, — говорил он, — полетят его орлы до Парижского собора. И он сдержал слово. В тот самый день, в который могли бы мы праздновать

взятие Парижа, 19 марта, вечером у Оленина я узнал, что он вступил в него и что Бурбоны бежали.

Важное это происшествие потревожило и Россию; однако же в из'явлениях беспокойства ее жителей видно было более досады, чем страха. В одной только Москве, говорят, приостановились было с новыми постройками, но недолго: дело весьма естественное, она более других была настращена, а пуганая ворона, по пословице, и куста боится.

Предшествовавшею зимой познакомился я вновь с Прасковьей Ивановной и Петром Васильевичем Мятлевыми. Родители, единственный брат и обе сестры Прасковьи Ивановны [дочь князя И. Н. Салтыкова] один за другим отошли в вечность, и все салтыковское имение досталось ей по наследству. Сделать дом свой почтенным и веселым вместе никто лучше ее не умел. Страсть ее к домашним театральным представлениям не уменьшилась летами, и в одной из длинных зал салтыковского дома, на большой набережной, воздвигла она сцену, на которой в эту зиму несколько раз играли французские пиесы. Я учтиво отклонился от участия в сих представлениях, но не мог отказаться от другого, несколько на то похожего. У покойной фельдмаршальши Салтыковой была двоюродная сестра, Наталья Михайловна Строгонова, которую Мятлева уважала как родную тетку; и кто же не уважал эту святую женщину, пример всех христианских добродетелей? Надобно точно думать, что небо испытует своих избранных, насылая им смертельные горести. Оставшись в молодости вдовой, имела она одного только сына, барона Александра Сергеевича, коего нежностию была она счастлива, коего жизнию она дышала. Он был весьма неглуп и добр, и мил, и умел хорошо воспользоваться данным ему аристократическим тогдашним воспитанием; вместе с тем был он весьма деликатного сложения, чрезвычайно женоподобен, и оттого в обществе получил прозвание барончика. Это еще идет к первой молодости, но когда он достиг тридцати лет и был гофмейстером при дворе, то иным казался несколько смешон. Грозная судьба, вскоре его постигшая, заставила умолкнуть смеющихся. Год от году стал он более страдать и сохнуть; сперва лишился употребления рук, потом ног, наконец, и зрения и в сем

ужасном положении прожил несколько лет. Все родные, по возможности, старались облегчать ему тягость такого существования. Когда наступил пост и даже дома нельзя было играть на театре, госпожа Мятлева изобрела для него нового рода спектакль; зрелищем еще менее назвать можно то, что́ придумано было для слепого. Вокруг большого стола садились родные и знакомые, имея каждый перед собою по экземпляру трагедии или комедии, которую в тот вечер читать собирались; всякий старался голосу своему дать то выражение, которое требовала его роля; бедного слепца это забавляло: он мог почитать себя в театре. Я знал тогда хорошо одну только старую французскую классическую литературу, особенно драматическую ее часть, и любил о том потолковать: это побудило Мятлевых предложить мне доброе дело, быть в числе сих чтецов-актеров, и, получив мое согласие, они поспешили предуведомить Строгоновых о моем посещении.

Сострадание к безнадежному состоянию хозяина приязненно расположило меня к нему. Он был лет сорока пяти от роду, но весь седой и казался семидесяти; странно было в старце находить речи и манеры молодой придворной женщины. Он много путешествовал, все помнил, и я находил разговор его и приятным и занимательным. Тогда светские люди старались быть лишь вежливы, любезны, остроумны, не думали изумлять глубокомыслием, которое и в малолюдных собраниях не совсем было терпимо. С запасом дерзости и отвлеченностей (абстракций, как говорят нынешние писатели), с которыми ныне в обществах являются и проповедуют часто невежды и глупцы, тогда нельзя было показываться. Строгонов находил, что у меня голос привлекательный, с удовольствием слушал меня, и эта маленькая лесть, а может быть, искренняя похвала понравились мне. Мы друг друга очень полюбили.

Сие семейство, из двух лиц состоящее, переехало также на Крестовский остров в небольшой павильон, построенный самим причудливым князем Александром Михайловичем Белосельским, братом Натальи Михайловны, которого тогда уже на свете не было. Это малое здание находилось и теперь находится на самом гулянье, по берегу реки, и следственно саженях во ста от нашего жительства. Сосед-

ство людей, хорошо расположенных друг к другу, еще более сближает в чувствах. Не знаю, как узнали они, мать и сын, что я, лишившись Блудова, лишился и дневного пропитания, и вследствие того предложили мне не только всякий день обедать у них, но когда почувствую лень или болезнь, то присылать к ним на кухню требовать что мне угодно. Сим последним предложением, весьма заманчивым, мне ни разу не случилось воспользоваться.

Летом петербургская знать рассыпается по окрестностям столицы. Многие, однако же, вблизи живущие, посещали этот дом; чаще всех невестка баронессы Строгоновой, вдова Белосельского, княгиня Анна Григорьевна. Спесивое родство видело в этом союзе неровный брак, мезаллианс, ибо на русском языке для того слова еще не существует. А между тем предки отца ее, любимого статс-секретаря Екатерины, умнейшего и просвещеннейшего человека своего времени, Козицкие, русско-украинского происхождения, долго известны были на Волыни своими богатыми владениями, и одна из них, яже во святых Параскевия, была основательницею Почаевского монастыря. Но зато мать ее, тоже преумнейшая женщина, имела несчастие наследовать миллионам дяди своего, купца Твердышева. Богатство родителей с меньшою сестрой разделила Белосельская пополам; но весь ум их ей одной [1] уступила она. Встречая меня часто, она не лично меня пригласила, а поручила баронессе об'явить мне, что в назначенные дни, раз в неделю, могу я обедать у нее в замке. Такого рода приглашение столь же мало полюбилось мне, как и особа ее. Никакой пользы не видел я тогда в этом знакомстве; она казалась мне так скучна, так чванно пришепетывала, что я было отказался; но почтенная старуха сказала мне, что ей сделаю я тем удовольствие. И как вассал у сюзеренши своей, и то не иначе как вместе с Строгоновыми, раза два обедал я у этой владетельной княгини. До конца августа, всего только недель шесть, оставался я один на Крестовском.

[1] Это была граф. Александра Гр. Лаваль, мать жены декабриста Е. И. Трубецкой, женщина очень образованная, большая приятельница русских писателей и поэтов. Мать Лаваль и Белосельской, Е. И. Козицкая — дочь знаменитого уральского заводчика-миллионера И. С. Мясникова.

Осень разлучила меня с моими обедодавцами; и не одна осень, а с иными и смерть. Накануне переезда моего в город обедал я у Белосельской; в последний раз, сидя за столом, Строгонов смеялся, был весел; к вечеру кресла его поставили на носилки, и слуги понесли его домой; один из них поскользнулся и упал. От этого падения расшибся и бедный слепец: потрясение его полуразрушенного состава было слишком сильно, чтоб он мог его перенести; через две недели прекратились его земные страдания; уповаю, что незлобие его души и молитвы матери спасли его и от вечных. Наследник его, двоюродный брат, Григорий Александрович Строгонов [1], предоставил его матери пожизненное владение имением его; она недолго пользовалась сим благородным поступком племянника. Зимой раза три я посетил ее и увидел, какую твердость может дать вера; печаль ее была тиха и спокойна, и даже в глазах ее можно было прочитать надежду на скорое свидание; она не обманула ее, ибо не более четырех месяцев прожила она без сына. К Белосельской я с тех пор ногой не ступал; она меня не узнавала, и при встречах с нею я не находил надобности кланяться ей.

Едва успели мы узнать в Петербурге о выступлении Наполеона в поход, как получили известие о решительном, окончательном его поражении. В один июньский вечер приехал к Строгоновым посланник маленького восстановленного Сардинского королевства, граф Иосиф Местр, еще более папист, чем легитимист, равносильно ненавидящий и безбожников французов и схизматиков русских. Об нем говорю я уже не в первый раз. Он вошел с видом вдохновенным, пророческим; помолчав с минуту и вперив взор свой в потолок, возвестил он обществу, что демон пал, ниспровергнут, истреблен и что два еретика, Веллингтон и Блюхер, были исполнителями неисповедимой небесной воли. Некоторые подробности, не совсем точные, не совсем ясные, уверили нас, однако же, в истине им об'являемого. Несколько

---

[1] Г. А. Строгонов (1770—1857), родственник Н. Н. Гончаровой-Пушкиной, принимал участие в материальных делах поэта. Пушкин очень уважал его. Дочь Г. А. — Идалия Полетика — сыграла гнусную роль в семейной драме Пушкина, занимаясь сводничеством между Н. Н. Пушкиной и Дантесом.

дней прошло, и миру прогремевшее имя Ватерлоо достигло и до слуха нашего. Оно заглушило названия Маренго, Аустерлица, Бородина и Лейпцига; они мало-по-малу слабеют в памяти человеческой, когда оно после тридцати лет все еще раздается по вселенной. Если я позволил себе двенадцатый год сравнить с Троянскою войной, то, конечно, его можно уподобить Фарзале, и если не Гомер, то какой-нибудь Лукан воспоет его. Увы! Русские не участвовали в сем великом деле: они из глубины своей едва поспели только к концу вторичного завоевания Франции.

В это гремучее время поэзия у нас не умолкала: ее голос иногда громко раздавался, и воины, равно как и граждане, с восторгом внимали ему. Жуковский, Вяземский, Батюшков, Шаховской и многие другие литераторы и стихотворцы вступили в дружины и ополчились на врагов отечества. Но только первый из них, певец во стане русских воинов, как они назвали его, и как сам он назвал прекрасное стихотворение свое, был счастливо вдохновен ужасным и новым для него зрелищем.

Все журналы гласили только о военных или политических происшествиях. На сцене ничего не показывалось нового, кроме небольших патриотических пиес, приноровленных к настоящим обстоятельствам. Из-под пера славного баснописца нашего, Крылова, выходили басни, также к сему предмету относящиеся. В одной из них ворона попадает к французам в суп, в другой ловчий Кутузов говорит волку Наполеону: «ты сер, а я, брат, сед, и волчью вашу я натуру знаю».

Когда же, после взятия Парижа, Александр возвратился в Петербург, тогда вся восхищенная им толпа поэтов в честь и хвалу его возвысила свои искренние, не купленные голоса. Послание свое к нему Жуковский начинал сими словами:

Когда летящие отвсюду шумны клики,
В один сливаясь глас, к тебе зовут, великий...

Когда раздался всеобщий сей бесподобный, трогательный гимн, то в нем различить можно было и умирающие звуки лиры Державина и нежный, но уже сильный голос еще ребенка-Пушкина, который посвятил ему первые плоды чуд-

ного своего таланта. Крылов нашел средство в маленькой, премилой басне «Чиж и еж» также воспеть ему хвалу. Все напоминало первые дни его царствования; сердца русских, казалось, еще сильнее пылали к нему, но он был уже не тот.

Пока продолжался венский конгресс, внутри России, так же как и в Петербурге, начали забывать и прошедшее горе и минувшую радость; всякий помаленьку стал приниматься за прежнее дело, и сочинители стали попрежнему пописывать и слегка перебраниваться.

«Беседа» открыла вновь свои торжественные заседания, но они становились все реже и совсем потеряли великое значение, которое имели до войны. Раз вздумалось нам с Блудовым (помнится, в ноябре 1814 года) из любопытства отведать их препрославленной скуки, и, можно сказать, были ею пресыщены. Ни забавного, веселого и остроумного, ни глубокомысленного или ученого ничего мы не слыхали, а все что-то такое, о чем бы не стоило говорить. Не одною скукою были мы жестоко наказаны за сию не совсем благоприязненную попытку. Блудов отослал домой карету и слугу; они еще не воротились, когда кончилось чтение; свет начал гаснуть в зале, и она скоро закрылась. Нам пришлось оставаться в передней между лакеями, ибо в гостиную к Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному незнакомому, а другому известному противнику «Беседы» и Шишкова явиться было неприлично. Мы предпочли в одних фраках итти пешком вдоль по Фонтанке, при сильном холодном ветре и осыпаемые мелким снегом. Скоро встретилась нам карета, мы сели в нее и, только согревшись, нашли, что случившееся с нами довольно забавно. Впоследствии Блудов весьма искусно поместил сие происшествие в одном шуточном произведении своем.

Во время продолжительного отсутствия моего из Петербурга произошла в нем перемена, несмотря на мой патриотизм, для меня весьма неприятная. Французский театр для холостых, для молодых людей, большой свет мало посещающих, был усладительным препровождением времени. В 1812 году, по мере как французские войска приближались к Москве, начал он пустеть и, наконец, всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть и

рассчитаться с актерами, которые почти все один за другим через Швецию уехали. Публика лишилась пленительных Филис и Жорж, сперва, повидимому, мало о том жалела, а наконец и совсем их забыла. Для меня же без них Петербург потерял более половины своей прелести.

Немецкий театр заменить его не мог. Он, точно так же как до упразднения французского, так и после него, так же как и поныне, существует для особого мира. Несмотря на предпочтение, данное впоследствии духу германской литературы перед другими, даже немцы лучшего тона никогда не посещают его. Он остался вечернею отрадой всего своекорыстного и трудящегося у нас немецкого населения. Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимают в нем кресла; семейства их — ложи всех ярусов; булочники, портные, сапожники — партер; подмастерья их, вероятно, раек.

Итак, для общей забавы оставалась одна только русская труппа, и надобно признаться, она умела воспользоваться присутствием французской, а еще более отсутствием ее. Русский народ переимчив: наши актеры, насмотревшись на французов, первых актеров в мире, всеми силами старались заменить их и начали прилежно изучать все тонкости художества своего, когда предстали пред лучшею публикой. Созревший талант Семеновой изумлял и очаровывал даже тех, которые не понимали русского языка; до того черствые стихи Хвостова и других в устах ее делались мягки и приятны. Она заимствовала у Жорж поступь, голос и манеры, но так же как Жуковский, можно сказать, творила подражая. В комедии и опере показалось несколько примечательных молодых артистов; но как они долго оставались на сцене, то надеюсь найти случай в другом месте поговорить о них.

Мода на трагедии как будто прошла. Новых комедий тоже что-то не было. Ополчившемуся Шаховскому сперва не до того было; но он уже замышлял вступить в новый бой, ему более свойственный, а покамест новым маленьким творением потешил публику. Его «Казак-стихотворец» очень милый малый и особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиля. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих легких произведений, которых ныне по три и по четыре ежедневно появляется на

сцене. В первые годы появление каждого из них было происшествием для любителей театра. Оперы почти все по-прежнему были переводные с французского; опасаясь сравнения, преимущественно играли те, кои гвардия вновь привезла с собою из Парижа, — «Жана парижского», «Жаконду», именно те, в коих зрители не видали Филис.

В 1815 году, откуда ни возьмись, показался новый комик, который в произведениях своих сделался известен не на одном драматическом поприще. Мне был он давно знаком, равно и тем, кои с некоторым вниманием прочтут меня. Никто не подозревал в родственнике моем, Михаиле Николаевиче Загоскине, тех редких способностей, которые труды и время развили в нем, а я, может быть, менее чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке; их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове; к тому же с ребячества имел он любовь (которую назову я страстною) к истине и справедливости и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нем воображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и романах. Но кипеть его характера делала его рассеянным и невнимательным к этой глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество так удачно наводить на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать: видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за его доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качества его души и ума: в глазах моих всякий гостинный эмабельный [любезный] дурак стоял выше его. До 12 года оставался он мирным канцелярским чиновником; казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом, как вдруг любовь к отчизне вызвала его на поле

брани; он вступил в петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским; им ободряемый, он решился написать небольшую комедию «Проказник», довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.

Весной того же года решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. Тщеславный и ленивый Тургенев [А. И.], который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.

Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано придти не мог: принадлежа к Оленинскому обществу, я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой «Ифигении в Авлиде», коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу. Публика приняла трагедию хорошо; а как один партер с некоторого времени имел право из'-являть народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.

С Крыловым, с Гнедичем и с самим венчанным свежими лаврами поэтом, после представления, прямо из театра явились мы к Тургеневу. Но, о горе! Приход последнего едва был замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем празднества. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил. Быстрый переход от торжества к

совершенному невниманию действительно жестоким образом должен был тронуть его самолюбие. Вскоре после того неудовольствие свое выместил он на мне: осмеивая пристрастие мое к французскому театру, в каком-то стихотворении необидную, неопасную злость свою излил он следующими стихами:

Не столько Телемак крушился об Улиссе,
Как многие у нас крушились о Филисе.

На этом вечере, в кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого еще человека, которого дотоле встречал в одних только больших собраниях. Щеголяя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное самодовольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинства разговором Дашкова. Мне показался он нестерпим. Человек этот играет важную роль в государстве; он дает направление образованию всего учащегося юношества, и благо или зло, им посеянное, отзовется в потомстве. Вот почему я полагаю, что всякая подробность, относящаяся до происхождения его, характера, жизни, достойна внимания этого потомства и заслуживает быть ему передана [1].

У одного богатого дворянина древнего рода, Ивана Головина, женатого на одной бедной Голицыной, сестре обер-егермейстера князя Петра Алексеевича, было две дочери. Старшая, Наталия, смолоду красавица, вышла за упомянутого мною не раз князя Алексея Борисовича Куракина. Меньшая, Дарья, следуя ее примеру, искала также блистательного союза...

У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству, сей бедный рядовой дворянин был флигель-ад'ютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовал лейб-гренадерским полком, коего сама называлась она полковником. Он мастер был играть на бан-

---

[1] О взаимоотношениях Вигеля и Уварова см. вступительный очерк в первом томе этого издания.

дуре и с нею в руках плясать вприсядку. Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие прозвали его Сеней-бандуристом. Приятелей было у него много; они сосватали его... Во время короткого знакомства моего с г. Уваровым мне случилось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде с бандурою в руках, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: «Это так, одна фантазия». Я нашел, однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшой брат его, Федор Семенович. Рано лишился Уваров... отца своего. В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа. Признанный вельможею, любимец двух императоров Павла и Александра, дальний родственник его, Федор Петрович Уваров[1] дал новый блеск мало известному дотоле его фамильному имени. Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах, как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет не боле попал он ко двору камер-юнкером пятого класса.

Но вдруг и на него пришла невзгода. Мать его, желая обоим сыновьям своим, особенно старшему, доставить средства для поддержания себя блистательным образом в свете, за большие проценты отдала все имение свое под залог по казенному питейному откупу. Она умерла, откупщик сделался несостоятелен, страшное взыскание пало на имение, и совершенное разорение угрожало Уварову. Чтобы сохранить довольно завидное положение, в котором он находился, готов он был на все. Одна фрейлина, богатая графиня Разумовская, двенадцатью годами его старее, которая, не знаю

[1] Ф. П. Уваров (1769—1824), любимец Павла I, участвовал в заговоре против него. Александр I все свое царствование отличал Уварова и присутствовал на его похоронах. По этому поводу Пушкин приводит в своем дневнике слова, приписываемые Аракчееву: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?»

по какому праву, имея родителей, могла располагать собою, давно была в него влюблена; а он об ней думать не хотел. Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил фортуну его.

Вскоре после совершения его тесть его, граф Алексей Кириллович назначен был министром народного просвещения. Он тотчас доставил ему, с чином действительного статского советника, места попечителя санктпетербургского учебного округа и президента академии наук, остававшиеся праздными после удалившегося, прежде всемогущего Новосильцова. И ему было тогда только двадцать три года от роду.

Вступив в храм учености, узнал он, что одной французской литературы мало, и устыдился неведения своего. С большими способностями, сильным желанием, приведенными в движение, начал успевать он в науках, даже усердно принялся за русский язык. Но по мере как в сей части делал он новые приобретения, со врожденным его тщеславием спешил ими хвастать. Барич и галоман во всем был виден; от того-то многим членам «Беседы» он совсем пришелся не по вкусу; некоторые из них, более самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало; но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части беседников, чтó и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.

Он обманулся в своих расчетах: Жуковский так же, как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах, был он скромен и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не в явь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному?) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость и всех друзей его.

Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут

также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием: «Липецкие воды или урок кокеткам». Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все из'явили согласие, кроме двух оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательнее по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно, что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее.

Это можно было почитать продолжением литературной войны между Москвою и Петербургом, некоторые подробности которой описаны мною в предшествующей части сих Записок, или, лучше сказать, возобновлением ее, ибо во дни всеобщей борьбы европейских народов сия пустая возня на время прекратилась. Она должна была возгореться с новою силой, когда не оставалось ни малейшего сомнения насчет прочности европейского мира.

Победа казалась на стороне Шаховского; новая пиеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть, les rieurs sont de son côté» [насмешники на его стороне]. Торжество Шаховского пуще раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом сериозным и важным.

Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием: «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина, и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедывать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи.

Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в «Сыне отечества» Греч начинал уже

помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно, оттого-то согласился он напечатать в нем «Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было не трудно: самым пристойным. почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались от того в неприятельском стане.

Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную его сторону. С родственником моим, Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть? Дело от безделья.

Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией «Урок волокитам», в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким я никогда не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностию рода своего, чем новостию своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.

Любопытно в это время было видеть Уварова. Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб

из'являть величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который, как драгоценный алмаз, намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: все равно, в петербургском большом свете он гораздо их более известен и в глазах его может показаться главою партии. Вечно-тщеславные расчеты этого человека бывали часто неверны, но иногда и удачны и тогда помогали ему возвыситься то в общем мнении, то на поприще службы. Друзья литературы поступили бы безрассудно, если б отвергли помощь зятя министра просвещения, человека, который имел непосредственное влияние на цензуру.

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем; для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.

Все это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел при-

гласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены из'явили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадках ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольною цевницей. Всех выводил я на сцену перед читателем, один Жихарев оставался в глубине ее. Теперь его очередь.

Из деревни привезен был он в Московский университетский пансион и оттуда воротился опять в провинцию, где и оставался лет до восемнадцати. Он принял все ее навыки; с большим умом, с большими способностями, в кругу образованных людей, он никогда не мог отстать от них. Наружность имел он азиатскую: оливковый цвет лица, черные как смоль, кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовию и выражали одно флегматическое спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Образ жизни тогдашних петербургских гражданских дельцов имел великое сходство с тем, который вели дворяне внутри России. Тех и других мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Покинутую родину обрел наш Жихарев в Петербурге у откупщиков, у обер-секретарей.

Потом свел он дружбу с Шаховским и русскими актерами, что̀ и вовлекло его в литературу и даже в «Беседу», куда был принят он сотрудником. Он принялся за труд, перевел трагедию «Атрей», комедию «Розовый чорт», написал какую-то поэму «Барды»: все это ниже посредственности. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами; он поступал с ним как почти все тогдашние отцы, которые к детям не слишком были чивы и требовали, может быть, весьма справедливо, чтобы сынки сами умели наживать копейку, а Жихарев любил погулять, поесть, попить и сам попотчивать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам (expédiens, как называют их французы), строгою совестливостию не совсем одобряемым. Дурные привычки,

по нужде в молодости принятые, к сожалению, иногда отзываются и в старости. Бог весть как приплелся он к моим знакомым, вероятно, через Дашкова, с которым учился; только в 1814 году нашел я его уже водворенным между ними. Я не встречал человека более готового на послуги, на одолжения; это похвальное свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими [1].

Арзамасское общество или просто «Арзамас», как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов — Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее; за каждою шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целию составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться; но конец его уже близился.

Благодаря неистощимым затеям Жуковского «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было и положено брать их напрокат из «Беседы». Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно, каждый из них, в свою очередь, должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового арзамасца. Все отвечало одно другому.

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что̀ уже сильно располагало всех к гиларитету [весе-

[1] Ст. Петр. Жихарев (1787—1860), посредственный литератор, плохой драматург, обнаружил, однако, изрядное дарование и большую наблюдательность в своих интересных «Записках современника», напечатанных после смерти автора. До «Арзамаса» участвовал в «Беседе».

лости], если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.

Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я Ивиковым журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского — Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу — Эоловой арфы, а Жихареву — Громобоя [1].

Ни государь, ни Елисавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующею императрицей оставался в Гатчине. Что̀ удивительного, если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нем весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. «Беседа» первая догадалась, что оно оживлено не совсем приязненным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападения: кто скрывается, тот должен иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписывать нам заговор против правительства [2]. А впрочем, кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно затем, чтоб умно подурачиться! Если бы некоторые из членов «Беседы», из тех, которые были поумнее, могли послушать нас, то верно были бы успокоены и обезоружены. Правда, в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педантство, арзамасцы между собою

---

[1] А. С. Пушкин назывался здесь «Сверчком», его дядя В. Л. Пушкин — «Вот», П. А. Вяземский — «Асмодей». О них в связи с «Арзамасом» в 5-й части этого издания.

[2] Многие арзамасцы были участниками тайных обществ, в которых зародился заговор декабристов: М. Ф. Орлов, Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев и др.

не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим [1].

Не менее «Беседы» взволновано было Оленинское общество: «Арзамас» казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно-комическая история (ибо комедия Шаховского была началом ее) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленною ласкою; со мною как будто ни в чем не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны, а все из чего? Батюшков мог бы вразумить этих людей, но его тогда в Петербурге не было: он летом уехал в армию и оттуда еще не возвращался. По приезде он верно бы бросился в отверстые ему об'ятия «Арзамаса», который и по заочности избрал его своим членом под именем Ахилла. Случилось то, чего ожидать надлежало: старик Сухтелен, по желанию, уволен с чином и пенсионом, а на его место в библиотеку определен некто Аткинсон, ничтожный и ледащий малый, один из домочадцев оленинских, сын английской няньки, воспитывавшей у них детей.

Идя от неудачи к неудаче, я как будто привык к ним и, как Панглос [2], готов был сказать, что все к лучшему. Но приятели мои сильно вознегодовали: им хотелось приклеить меня к какому-нибудь ведомству, дабы оттуда вернее мог я попасть на стезю настоящей службы. Не говоря мне ни слова, поставили на ноги Жихарева, который имел связи во всех правительственных местах, канцеляриях, департаментах. Также не предупредив меня, переговорил он обо мне с Дружининым, директором канцелярии министра финансов, и в один раз привез мне и определение, подписанное министром, о причислении меня вновь к канцелярии его, и о том мою просьбу, которую задним числом заставил подписать меня. Это определение было тем особенно для меня выгодно, что в нем сказано, будто, по окончании занятий

---

[1] Были в «Арзамасе» слышны и серьезные политические речи, напр., М. Ф. Орлова, зарождалась в его среде мысль об издании политических журналов, напр., Н. И. Тургенева.

[2] Герой Вольтерова романа «Кандид».

моих в пензенском комитете, возвратился я к прежнему месту служения. Итак, два года с половиною, проведенные мною в праздности, зачтены мне в службу, тогда как в министерстве внутренних дел, по милости Сперанского, почитался я два года в отставке, когда часто являлся на службу. В судьбе людей, таким образом, иногда встречаются вознаграждения.

Меня причислили к неизбежному для меня третьему отделению, по кредитной части, и я не весьма охотно в него явился. После Рибопьера им управлял граф Ламберт, бывший секретарем посольства, отправленного в Китай, читателю известный. Он удивил меня своим приемом: то же едва заметное наклонение головы, ту же сухость и важность в манерах нашел я; только слова его исполнены были вежливости и доброжелательства. Он сказал мне, что благодарит случай, который свел его с прежним сослуживцем, и надеется, что мы не скоро расстанемся. Вместе с тем он об'явил мне, что следующею весной имеет в виду другое назначение, которое пока открыть он мне не может, но что в предполагаемом новом управлении (комиссия погашения долгов, как после я узнал) приготовит он мне место, где выгодным и приятным образом могу продолжать я службу. Между тем он нашел, что посещать мне отделение совсем не нужно, разве только для свидания и беседы с ним.

На минуту возвратимся в «Арзамас». Следующей зимой, среди морозов, он все более расцветал и с каждым месяцем обогащался новыми членами, из коих многими имел он причину гордиться. Существование его было непродолжительно; он прожил не с большим два года. Если бог даст мне написать пятую часть сих Воспоминаний, то непременно помещу в ней все занимательные подробности, до него относящиеся.

В первых числах декабря [1815] государь возвратился после вторичного продолжительного отсутствия; но какое разительное несходство было между первым его приездом из Парижа и последним! Александр казался скучен, говорят, даже сердит. Никакими восторгами Петербург его не встретил. Казалось, Россия познала, что наступило для нее время тихое, но сумрачное.

Государь начал показывать себя вновь взыскательным и строгим: всем гвардейским и другим военным офицерам запретил носить гражданское платье, находя сие вредным для дисциплины. Вскоре потом явил он себя даже грозным: статс-секретарь Молчанов, столь могущий в продолжение трех или четырех лет, который заправлял делами целого государства, вдруг был отставлен и предан суду. Сего мало: наряжено следствие для рассмотрения действий военного министерства и самого управляющего оным, князя Алексея Ивановича Горчакова, который вместе с тем и удален от должности. Все приближенные его главные чиновники, Самбурский, Приклонский и другие отданы под суд и рассажены по разным гауптвахтам столицы, где и оставались несколько лет. Все ужаснулись сперва; но когда увидели, что за сими суровыми мерами, коих справедливость, впрочем, была доказана, не последовало никаких новых, то вскоре и успокоились потом.

После удаления князя Горчакова управляемое им министерство получило новое образование. Во время последней войны армии до того увеличилась, что число дел по военному ведомству, конечно, утроилось. Государь нашел нужным разделить их надвое, часть денежную, счетную, продовольственную отдав военному министру, которому после этого, кажется, следовало бы называться генерал-интендантом; все прочие дела поступили в ведение главного штаба его величества.

Примерно отличившийся во время последних кампаний генерал Петр Петрович Коновницын назначен был военным министром [1]. В молодости, при Екатерине, начальствуя Старооскольским пехотным полком, слыл он лихим полковником и отчаянно дрался с поляками под начальством Суворова. При Павле, как и все, был в отставке и не хотел было опять вступить в службу, но всеобщий бранный шум пробудил в нем бодрость. Он был при Буксгевдене дежурным генералом во время шведской войны и находился начальником штаба при Кутузове в 1812 году. Должность, на него возложенная,

---

[1] Его сын П. П. Коновницын был участником заговора декабристов и разжалован в солдаты, другой сын Ив. Петр. — примыкал к тайным обществам и был под надзором полиции, дочь — Е. П. — замужем за декабристом М. М. Нарышкиным.

не была слишком тягостна, и он был еще не стар; но военные труды, походы, раны изнурили его, и после назначения своего министром, кажется, не более двух лет он прожил.

Самый близкий человек к государю, с малолетства при нем неотлучный, князь Петр Михайлович Волконский, назначен был начальником штаба его. Не знаю, как до сих пор не пришлось мне сказать об нем ни слова. Примечательно, что при дворе почти все случайные люди с знатным фамильным именем принадлежат к носящим его обедневшим семействам. Таким образом и этот князь, кажется, происходит от той отрасли, которая все более размножается ныне и почти заселяет Рязанскую губернию. Родному дяде его, князю Димитрию Петровичу, удалось жениться на Катерине Алексеевне Мельгуновой, племяннице Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великих князей Александра и Константина. Старый царедворец, желая в будущем еще более умножить кредит свой, маленьких наследников престола умел окружить малолетными же сыновьями своими, близкими и дальними родственниками; в числе их находился и Волконский.

Он более всех сделался угоден Александру. Я помню, как в ребячестве, несмотря на запрещение наставника, любил я, бегая по саду, играть с холопскими мальчиками. Я, право, не зол, что бы ни говорили, а иногда случалось мне тузить их, и те, которые были более покорны и терпеливы, мне более нравились. Почему же слабость простого отрока не могла встретиться и в порфирородном? Главная, единственная добродетель Волконского была собачья верность. Когда во дни Павла сам наследник его должен был трепетать и окружен был тайными надсмотрщиками, ад'ютанту его Волконскому никто не подумал даже о том предложить. В день восшествия на престол сделан он флигель-ад'ютантом его, а в день коронации — генерал-ад'ютантом.

Зная, сколь полезна царям нравственная власть, как избавляет она их от необходимости часто употреблять материальную, Александр, даже в кругу самых близких по крови, не переставая быть любезным, старался сохранить всю величественную свою важность. Нельзя, чтобы беспрестанное наблюдение за самим собою иногда не утомляло его; наедине с Волконским любил он отдыхать; не открывая ему

души своей, при нем становился он человеком, который смеется, сердится или бранится, как все прочие люди. Точно так же во время частых и быстрых путешествий своих, сидя с ним в коляске, говорят, не иначе привык он отдыхать, как засыпая на плече его. Такие удобства об'ясняют продолжительность милостей к нему Александра, который, не так как другие, в окружающих его любил находить просвещенный ум. Говорят, что для камердинера нет великого человека; Александр угадал, что для верноподданничества Волконского всякий был бы великий муж, лишь был бы он царь. Долго государством был он мало замечен в толпе Чарторижских, Строгоновых, Голицыных и других любимцев, всех более его отличенных. Однако же самую мелкую вещь, поставленную у самого светильника, нельзя не разглядеть; но в глазах России все оставался он на одном плане с метрд'отелем Миллером, медиком Виллие и брадатым кучером Ильею. Только в 1815 году начал он вдруг выростать до Аракчеева, до соперничества с ним.

Столько же, как тот, был он суров, но совсем не так зол. Если Аракчеев старался выигрывать у царя мнимым чистосердечием своим, то Волконский — истинным беспристрастием. Он никого не хотел знать: ни друзей, ни родных; не только наград, прощения, помилования в случае вины никому из них не хотел он выпрашивать. До того прославился он ненавистию к непотизму, что чувство это начали называть уже эгоизмом. В беспредельной преданности царю у Аракчеева более всего был расчет, у Волконского — привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына было чувство. На одном Волконском истощалось иногда все дурное расположение духа государя, к нему чрезмерно милостивого: он все переносил со смирением и, вероятно, полагал, что, в свою очередь, имеет он право показывать себя грубым, брюзгливым с подчиненными, даже с теми, к которым особенно благоволил. Я не имел никаких сношений с сим вельможею, не видал от него ни худа, ни добра, и меня не станут обвинять, я надеюсь, в пристрастии при изображении его портрета [1].

---

[1] Особенно любил и доверял П. М. Волконскому Николай I. Волконский, действительно, был бескорыстно предан своим ца-

Великие события времен Наполеона само собою врезывались в память, и простой рассказ о нем мог быть уже достаточно занимателен. Но после него наступили времена иные; первые годы после его падения не были столько обильны происшествиями, зато показывали гораздо более движения в умах. Я смотрел на него равнодушно, рассеянно; занятия по службе, удовольствия не совсем еще покинувшей меня молодости, при наружном спокойствии, коим пользовались тогда все народы, развлекая меня, не допускали меня обращать на происходящее наблюдательных взглядов. Вот почему описание этой эпохи для меня дело многотрудное; оно ужасает меня.

Итак, положу покамест перо; пособравшись с мыслями и с духом, не иначе как после зрелых размышлений, может быть, приступлю к изображению времен более новых.

рям. Вигель правильно характеризует его ненависть к непотизму как эгоизм; во время процесса декабристов и после него, будучи самым приближенным к Николаю I человеком, он ни на самую малую долю не облегчил положения одного из главных заговорщиков — брата его жены Сергея Григорьевича Волконского.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Незадолго до французской революции родился я. Ужасы о ней рассказываемые поражали даже ребяческий мой слух; ибо граница единственной земли, в которой повторялось ее безрассудное эхо, находилась только в тридцати верстах от места, где я выростал[1].

Высокая ученость почти всегда отделяет людей от действительности жизни. Венчанная мудрость в бархатных сапогах совсем не постигла народный дух французов. Людовик XVIII полагал, что, подобно Англии, самые жаркие споры в его камерах будут исполнены достоинства, сопровождаемы приличием.

Напрасно: у этого кипучего народа словопрение тотчас обращается в бесчинство, ругательство, а оппозиция не что иное как постоянный мятеж. Десятки лет прошли, и с каждым годом видим мы, что оно становится все хуже.

Заблуждения императора Александра истекали из самого чистого источника. Никогда еще не было на троне монарха, оживленного столь горячею, столь искреннею любовью к человечеству. Еще в отроческом возрасте наставник его, швейцарец Лагарп, уверил его, что совершенная свобода есть высочайшее благо для людей. Но видно, что в отчизне его не слишком ею дорожили: ибо вольные жители гор, альпийские пастухи целыми тысячами продавали себя иноземным владыкам и за деньги проливали кровь свою. Союзная с ним Англия и окружавшие его советники, ей преданные, утвердили в нем желание сделаться благодетелем России, даровав ей представительное правление. Тильзит, который так на-

---

[1] Имеется в виду Польша, граница которой была тогда близ Киева, где рос Вигель.

прасно клянем мы, все приостановил. Коль же скоро стали заметны несогласия его с Наполеоном, явился немецкий барон Штейн уполномоченным от многочисленных немецких тайных обществ. Через него возносили они мольбы свои к нему, вопили о спасении, уверяя, что не переставали почитать его свободолюбцем и видеть в нем будущего спасителя Германии. Тогда свобода сделалась для него не только целью, но обратилась и в средство, и на победоносном пути его до Парижа везде встречали его с венками в руках. В стихах и прозе превозносили его.

Под французским игом, для немцев ненавистным, распространились между ними французские революционные идеи. Очень искусно научились они смешивать слово независимость (что предполагает освобождение от чуждой власти) со словом свобода. Немецкие владетельные князья, дабы более возбудить их к восстанию, обещали им дарование многих прав и вольностей по окончании войны. Нужно ли все это было, когда честь и самохранение Пруссии и здравая политика Австрии повелевали к нам присоединиться, когда не народы, а правительство и войска один за другим приставали к нам?

Наполеон на острове св. Елены говорил: «Я воевал с Европой для поддержания монархического правила, цари победили меня именем народной свободы; они жестоко в том будут раскаиваться». И действительно после его шумно-грозно-созидательного века наступило тихо-разрушительное время. Один умный человек сказал, что первые годы после Наполеона были пора посева; через пятнадцать лет все выросло, созрело: горе тем, которые доживут до жатвы.

Англия стояла тогда на вершине могущества своего, блистала величием и богатством, сияла злобною радостью при виде нестерпимых мук, на кои осудила бессмертного своего противника, и, дружелюбно улыбаясь неискусным своим подражателям, не переставала твердить им о свободе. Любопытно и даже забавно было видеть иных людей, в характере которых была резкая противоположность с правилами, которые вдруг начали они поддерживать: из раболепства стали они прикидываться свободомыслящими. Например, старый министр [О. П.] Козодавлев, который всегда смотрел, от-

куда при дворе дует ветер [1], находил в Крылове холопские чувства, в Крылове, который в баснях своих насказал так много смелых истин, едва завешивая их наготу полупрозрачными прекрасными своими покровами. На даче у себя перед всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров [2] следующим летом принимал нас в павильоне, посвященном памяти Штейна и названном его именем. Александр хлебнул, и опьянели двор, гвардия и столица его.

Вообще с удивлением заметить должно, что почти во всех землях обыкновенно высшее сословие или аристократия производили народные восстания и направляли их против законной высшей власти. Не говоря уже о революции 89 года, которую раздували дюки и маркизы, во время фронты знатные дамы, даже принцессы Монпансье, Лонгевиль принимали сильнейшее участие в возмущениях. В Нидерландах Эгмонт и Горн были не простые люди; Польшу всегда волновали магнаты; в Риме принчипе, гордые и праздные, всегда непокорны, и если в Венгрии случится беда, то наверное предсказать можно, что беспокойства произведены будут знатнейшими ее богачами. Эти люди, ближе других окружая трон и ближе других видя слабости сидящих на нем, менее всех уважают их и более всех завидуют им. Безрассудные! Стремясь иссушить единственный источник

[1] Пушкин считал Козодавлева «несчастной посредственностью». Вяземский писал А. И. Тургеневу, что Козодавлев совсем исподличался.

[2] В талантливом, одаренном, удачной женитьбой очень богатом Уварове была черта пресмыкательства, отмеченная не только Вигелем. На ряду с большими похвалами его уму и познаниям, даже учености, современники отмечали и отрицательные стороны его характера. Сенатор К. Н. Лебедев говорит, что Уваров был подвержен «мелким страстям любостяжания и зависти». Пушкин несколько раз клеймил эту подробность в биографии Уварова: в стихотворении «На выздоровление Лукулла», в Дневнике за февраль 1835 года (о краже казенных дров, о любостяжании вообще) и др. Еще в 1824 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому про Уварова: «Он перещеголял Козодавлева и на счету ему подобных, если не хуже. Всех кормилиц у Канкрина (министр финансов, тогдашний начальник Уварова) знает и детям дает кашку». Сенатор К. И. Фишер, служивший под начальством Уварова, говорит, что этот «вельможа особенное имел внимание к дровам и был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям».

их благ, они неизбежно ведут сограждан к демократии, для них губительной, истребительной. А там приходит раскаяние; потеряв или, лучше сказать, погубив головы Людовика XVI и Марии Антоанетты, роялисты плакали по волосам их [1].

В одной России это дело кажется невозможным.

В феврале месяце [1816], одним утром, граф Ламберт прислал пригласить меня к себе в канцелярию. В об'яснениях, которые мы имели, увидел я чистосердечное желание быть мне полезным. «Вы теперь ничего не делаете; не хотите ли чем-нибудь заняться? Представляется к тому случай, — сказал он мне. — Слыхали ли вы о генерале Бетанкуре? Он в большой доверенности у государя, и по части механики можно почитать его европейскою знаменитостью. Число фальшивых ассигнаций умножилось; надобно переменить их форму; для того хотят устроить особую фабрику, и государю угодно было дело это поручить Бетанкуру. Через это поставлен он в близкие сношения с министром финансов, вовлечен в частую переписку с ним и другими ведомствами, а ни языка русского, ни русских форм вовсе не знает. Ему нужен чиновник, который бы хорошо знал французский и русский языки и на которого бы мог он совершенно положиться. Он просил меня о приискании ему таковoго».

Мы нашли Бетанкура одного в обширном кабинете. Он усадил нас вокруг письменного стола своего, разговорился, и знакомство с ним сделалось у меня скоро. Старик показался мне живым, веселым, но не менее того почтенным.

Долго суждено мне было находиться при этом человеке. По многим отношениям был он лицо весьма примечательное, особенно же как выражение духа времени, смешения аристократических предрассудков с плебейскими промышленными наклонностями.

Есть искусство во-время родиться и во-время умирать; в числе других Бетанкур имел и это искусство. Что́ бы было с ним, если бы родился он ранее? Из рук самой природы

[1] Фронда — противоправительственные смуты во Франции в 1648—1652 гг., главным образом, проявлявшиеся в борьбе за власть сторонников отдельных лиц из правящих кругов.

вышел он механиком. Заботясь о благе государства своего, Карл III [король Испании] устраивал тогда славные, покойные дороги, строил мосты, рыл канавы и чистил Гвадалквивир, одним словом, создавал в Гишпании все то, чего ей недоставало. Ему нужны были инженеры и архитекторы, для них заводил он школы и, подобно Петру великому, подданных своих посылал учиться за границу. Отправленный им в Англию, Бетанкур провел там молодость свою. Возвратясь в отечество, сделался он нечто вроде начальника сухопутных и водяных сообщений, полагать должно, не выше того, что у нас директоры департамента.

С ним в Мадриде коротко был знакóм посланник наш Муравьев-Апостол[1] и, желая угодить государю, который имел одинаковые вкусы с Карлом III, старался подговорить его приехать в Россию; но он никак не мог решиться. Заметив, однако же, что Наполеон отечество его с каждым годом более подбирает в мощные когти свои, и предвидя беду неминучую, сам, наконец, предложил себя. За условленную цену, по контракту, заключенному с ним, как с знаменитым художником, не более, приехал он в Петербург осенью 1807 года. Сумма, по условию ему назначенная, была не маловажная: двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями, что ныне сóставило бы около девяноста тысяч. Танцовщицы и певицы, на которых деньги сыплют ныне без счета, éдва ли столько получают, а он тоже некоторым образом принадлежал к разряду артистов: гишпанскому гранду столько бы не дали. На его беду, в самое время приезда его курс на серебро начал возвышаться, а на ассигнации быстро упадать. Увидев, что через это лишается он более двух третей ожидаемого, стал он громко роптать; беспрестанно умножая содержание его, довели его, наконец, до шестидесяти тысяч рублей. Он этим не остался совершенно доволен: заметив, что в земле, куда он приехал, чин и военный мундир преважное дело, стал требовать того и другого, и его приняли

---

[1] И. М. Муравьев-Апостол — писатель, один из образованнейших людей своего времени, государственный деятель. Сыновья его Сергей и Матвей — виднейшие участники заговора декабристов. Первый был повешен Николаем. О семье этой см. «М. И. Муравьев-Апостол. Записки и письма. Ред. С. Я. Штрайха». П. 1922.

в службу генерал-майором по армии. Тогда притворился он обиженным, утверждая, что чин сей слишком мал для человека, который в отечестве своем был министром; не вдруг, но через два года произвели его генерал-лейтенантом. Не помню за что государь пожаловал ему Аннинскую ленту; он отослал ее назад, утверждая, что ему, кавалеру св. Иакова Компостельского, неприлично принять орден ниже его, и, наоборот, государь прислал ему Александровскую ленту.

Я не виню его: по понятиям, которые имеют на юге и на западе Европы, в земле северных варваров иностранцы ничего не могут выиграть скромностью, а все могут брать смелостью, наглостью. С таким содержанием, в таком чине, нетрудно было потомку владетельных графов Мадеры и его семейству приписаться к нашей аристократии. В нее так и врезалась, так и засела в ней жена его Анна, которой особа имела краткость сего имени и совершенно форму небольшой ступки или иготи. Молчаливость почиталась тогда достоинством, а знание иностранных языков облагораживало каждого; но если бы кто захотел попристальнее вглядеться в нее, то легко мог принять бы ее за кухарку. Занимаясь механикой и посещая мастерские, Бетанкур, вероятно, встретил ее среди лондонского ремесленного народа. Она была католичка, англичанка с французским прозванием, урожденная Жордан, как она подписывалась, не знаю для чего: ибо кому была до того какая нужда, и чем могло это умножить ее достоинство? Надобно полагать, что смолоду была она красива собою; без того кто бы велел Бетанкуру жениться на бедной дуре из низкого состояния? А спесива была она так, что не приведи бог!

К счастью, дочери ни с какой стороны не походили на Анну Ивановну, а скорее на родителя, Августина Августиновича. Когда они приехали в Петербург, старшая, Каролина, еще молодая, начинала уже дурнеть и стареть, вторая, Аделина, поразила всех своею красотой, а меньшая, Матильда, была еще ребенком. Жаль было смотреть на этих милейших девиц, когда переступали они за двадцать лет. Цвет лица их вдруг начинал портиться, становиться багровым, кожа начинала грубеть и покрываться угрями. Жар в крови, вырывающийся наружу, был у них наследством от отца, которого лицо в старости безобразил густо-малино-

вый цвет. Когда я начал их знать, одна только пятнадцатилетняя Матильда пленяла наружностью; а две старшие давно уже перешли за краткий срок, который жестокая к ним природа дала их прелестям. Но было им чем заменить эту великую потерю: каждое слово их выражало грацию ума и сердца; с восхищением можно было слушать их, когда они играли на арфе и на фортепиано, с восхищением любоваться их рисунками и их народною пляской фанданго и воллерб; о качуче тогда еще помина не было. Можно ли было удивляться беспредельной нежности к ним отца, и кто бы не был ими счастлив?

В жилах у старика пылал еще жар раскаленного неба, под которым он родился, и, как все вспыльчивые люди, имел он доброе сердце и веселый нрав. Ума было у него пропасть, и разговор его был занимателен. Аристократическое чувство, правда, никогда не покидало его даже за станком, за которым всегда трудился он, когда не было у него другого дела; но он принадлежал к восемнадцатому столетию, в котором общею поговоркой было: poli comme un grand seigneur — учтив, как великий барин. Читатель, с которым как можно короче старался я познакомить себя, не удивится, узнав, что с таким человеком мы скоро и близко сошлись.

Дабы на будущее время не нуждаться в инженерах, учреждено для них особое высшее училище под названием института инженеров путей сообщения [1]. Для помещения сего нового заведения куплен был за безделицу, за триста тысяч рублей ассигнациями, великолепный дом или скорее дворец князя Юсупова на Фонтанке, у Обухова моста. Продавец построил его на славу, по образцу отелей Сен-Жерменского предместия [в Париже], между двором и садом, с тою только разницей, что на пространстве, ими занимаемом, можно было бы построить три или четыре парижские отеля. Все ученики были своекоштные, и не только ни один из них не имел жительства в институте, ни даже права заглядывать в сад, ему принадлежащий. Всем пользовались заведывающие им иностранцы. Он состоял под управлением

[1] Сюда отдал И. М. Муравьев-Апостол своих упомянутых двух сыновей, учились там и другие представители русской аристократии.

особого директора, над которым были еще принц Ольденбургский, в виде попечителя или покровителя, и генерал Бетанкур, под названием главного начальника института. Занимаясь разными проектами и планами, сперва потешал он ими только императора; но тут, по учреждении института, коего был он настоящим основателем, можно сказать, приобрел он оседлость.

Здание института со всеми его принадлежностями было как бы отдельное царство, в котором господствовал он самовластно.

Я опять вступил в мир, мне дотоле совсем неизвестный. Подчиненные Бетанкура, коих число было небольшое, составляли свиту, штат и общество его. Я никаких сношений не имел с ними по службе, но, каждодневно встречаясь, скоро свел с ними знакомство, которого не искал и не избегал. О некоторых из них я не умолчу, ибо почитаю их лицами весьма примечательными.

Старый француз Сенновер, который, вступив в нашу службу, официально наречен Степаном Игнатьевичем, был директором института. Он был умен, как демон, в которого конечно некогда веровал он более чем в Христа; так надобно думать, ибо, принадлежа к одной из благороднейших фамилий в Лангедоке [Франция] и находясь в королевской службе капитаном, сделался он бешеным революционером и санкюлотом. Этого бы никак нельзя было подозревать, смотря на его спокойный вид, внимая его беспрестанным шуточкам, иногда довольно смелым, но никогда не переходящим за пределы благопристойности. Как во всех любезниках школы Вольтеровской, нечестие и безбожие были в нем щеголеваты; но он тогда не хвастался ими. Он был бледен как смерть, худ лицом, но полон телом; страждущие от подагры ноги его еще более изнемогали от тяжести его туловища: он с трудом мог ходить. Я находил его не столько приятным, как забавным, и во время веселых с ним разговоров мне всегда приходил на мысль Скаррон и все повествуемое о нем [1]. Об якобинстве его я бы умолчал и

[1] П. Скаррон (1610—1660), знаменитый французский сатирический писатель, противник неестественного и приторного в литературных произведениях. Особенно известен его «Комический роман».

слышанное мною о том охотно счел бы клеветою, если б он сам, увлеченный воспоминаниями о прошедшем, как об удальстве своей молодости, не рассказывал мне иногда о тесной дружбе своей с Маратом. Мне любопытно было слушать о роскошном, раздушенном и эпикурейском житье этого ужасного человека во внутренних комнатах его и как, выходя с Сенновером, переодевались они в запачканные, оборванные блузы, чтобы на улице более угодить простому народу и заслужить имя друзей его.

Когда Шарлотта Корде [убийца Марата] лишила его друга, и терроризм начал пожирать сам себя, Сенноверу удалось бежать из Франции. Как потом из Англии попал он в Россию, этого я не знаю; известно только, что в продолжение нескольких лет торговал он в Петербурге выписываемым французским табаком. Играя изрядно на скрипке, был иногда приглашаем на вечеринки к достаточным молодым меломанам, между прочим, к одному г. Маничарову. По приезде из-за границы, в собственном доме последнего остановился Бетанкур, ни с кем еще не знакомый; первыми знакомыми его были хозяин дома и через него Сенновер. Старики полюбились друг другу, может быть, самою противоположностью характеров; оба были веселого нрава, но один весь так и кипел, а в другом страсти совершенно погасли.

Когда нужно было избрать директора для института путей сообщения, Бетанкур предложил Сенновера. Как это возможно? Королевской службы капитана, которого к нам можно принять не более как поручиком! Бетанкур об'явил, что достойнее его не знает, и что без него и сам он не примет главного начальства. Чтó было делать? Определили Сенновера исправляющим должность директора, а через шесть месяцев утвердили в сем звании с чином генерал-майора. Нарушение форм в России было как будто торжеством, услаждением для Бетанкура.

Поговорив о Сенновере, нельзя же не сказать ни слова об его семействе. Так же как Бетанкур, в Великобритании нашел он себе подругу, только англичанку-англиканку, бабу смирную, которая приплелась к Бетанкурше в виде всепокорнейшей собеседницы. Я никогда не слыхал ее голоса, и в гостиной у мужа казалась она домашнею ут-

варью, которую забыли вынести. Единственная же дочь их Стефания, в тринадцать лет изумляла уже живостью и смелостью ума и развивающимся кокетством. Можно было предвидеть, что она пойдет далеко, что она будет чем-то, чему тогда не было еще имени. Ожидания сбылись: сенсимонизм и все богопротивные секты видели ее сильною своею поборницею.

По открытии института, начальствовавшие в нем гишпанец и француз не должны были забыть сводчика своего Маничарова. Он был из армян. Люди этой нации в русских столицах обыкновенно бывают ювелиры или торгуют шалями, персидскими и индийскими товарами; разбогатевши, об'являют себя дворянами такой земли, где их никогда не бывало.

Отец г. Маничарова до того был богат, что сыновьям его нужно было много времени для расстройства оставленного им состояния. В старшем из них, любезном моем Петре Макаровиче, было много оригинального. Главною странностью его, среди завистливого, себялюбивого мира сего, почитать можно неистощимую доброту его сердца. Он любил всех людей, обожал всех женщин, наслаждался всеми безвредными для чести удовольствиями. В шумных, холостых обществах, кои предпочтительно посещал он, умел он быть пристоен и тихо-весел, ласков и учтив без приторности. Он был добрым товарищем всех любителей разгульной жизни, но не имел задушевных друзей, зато и не имел ни единого врага. Его душевное спокойствие, слегка тревожимое желаниями, без труда удовлетворяемыми, сохранило ему молодость ума и, конечно, продлит его дни. Сколько поколений встретил он на пороге юности и проводил из нее, сам никогда ее не покидая. Никогда в голову не приходила ему служба, как вдруг хозяйственные дела его, пришедши в упадок не от мотовства, а от беспечности, заставили его о том подумать. Уже был он лет сорока, когда через покровительство Бетанкура, не имея никакого чина, он был определен в институт, разумеется, не воспитанником, а экономом оного, прямо с чином инженер-капитана. Ну что́ уже и была это за экономия! Изо всех новых лиц, с которыми тут свела меня судьба, он более всех полюбился мне своею приветливостью, равенством своего характера.

Образование института было довольно странное. Воспитанники носили шляпу с пером и офицерский мундир с шитьем, только без эполетов; а произведенные в офицеры, прапорщики, подпоручики, надев эполеты, продолжали оставаться в институте до поручичьего чина. В нем сперва было четыре только профессора или преподавателя наук. Ими ссудил нас Наполеон, прислав Александру четырех лучших учеников Политехнической школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема.

Это было, как изволите видеть, совершенно французское училище. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были все молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремесленников, садовников, машинистов, портных и тому подобных; одним словом, все то, чтó управляющим пришельцам казалось цветом петербургского юношества. В 1812 году четыре француза об'явили, что не могут служить правительству, которое находится в войне с их отечеством, и требовали, чтоб их отпустили: им отвечали ссылкою в Сибирь. Учение на время должно было приостановиться. После общего замирения в 1814 году сосланные французы воротились к своим должностям; во все время войны сохраняли они жалованье свое и чины: Базен — подполковника, а трое других оставались майорами.

Для заведения новой ассигнационной фабрики куплен был большой дом откупщика Чоблокова на Фонтанке, близ Калинкина моста. Надобно было заказать несколько машин, другие выписать из Англии; да сверх того нужно было растянуть фасад по улице и возвести несколько новых строений внутри двора.

Счастливо окончив все войны, государь захотел предаться вновь некоторым из прерванных любимых своих мирных занятий. Петербург захотелось ему сделать красивее всех посещенных им столиц Европы. Для того придумал он учредить особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура. Ни законность прав на владение домами, ни прочность строения казенных и частных зданий не должны были входить в число занятий сего комитета: он должен был просто рассматривать проекты новых фасадов, утверждать их, отвергать или изменять, также заниматься регу-

лированием улиц и площадей, проектированием каналов, мостов и лучшим устройством отдаленных частей города, одним словом, одною только наружною его красотою. Членами в него назначены инженеры и архитекторы.

Все прежнее поколение архитекторов, которые в конце Екатеринина века, при Павле и в начале царствования Александра украшали Петербург: Гваренги, Захаров, Старов, Воронихин, Бренна, Камерон, Томон, отошли в вечность, иные не достигнув еще старости; оставался один только Рускó, и тот за ними скоро последовал. Возникли новые строительные знаменитости, которые, по мнению знатоков, в искусстве далеко от первых отстали. Из них четверо посажены членами в Комитет для строений и гидравлических работ, как я самовольно его назвал. Если не портреты с них, то по крайней мере абрисы, кроки хочется мне снять.

Старший по чину и первый по вкусу и таланту между ними был Карл Иванович Росси, иностранец, родившийся в России. Кто был его отец, не знаю; но chacun sait la tendre mère, всякий знал родительницу его, некогда первую танцовщицу на петербургском театре. В летописях хореографии прославленное ею имя Росси согласилась она променять не иначе как на столь же знаменитое имя Ле-Пика, которое в царствование Екатерины громко доходило до отдаленнейших от столицы провинций. В Киеве с благоговением произносил его танцовальный мой учитель Потó, и я затвердил его; но мне не удалось восхищаться этой четой: вслед за смертью Екатерины и она куда-то закатилась. Слава ее, однако же, не вдруг исчезла, и мне в первой молодости неоднократно случалось читать на афишке: «балет сочинения балетмейстера Ле-Пика». Дочь госпожи Росси от второго брака хотя не поступила на сцену, но и не выступила из круга деятельности своих родителей. Она вышла за Огюста, брата сирены Шевалье, некогда пленившей Павла и любимца его Кутайсова. Этот Огюст долго, очень долго танцовал и летал перед нами зефиром, пока время, снабдив его чрезмерною дебелостью, не заставило его надеть бороду, наш простой крестьянский кафтан и пуститься очень хорошо плясать по-русски.

Для Росси такой сценической знатности было мало: он пожелал быть артистом еще более благородного разряда. Следуя внутреннему призванию, он сделался архитектором и на сем избранном им пути нажил деньги, получил чины и кресты. Судьба однако же не вдруг отделила его от родины, от места, где он начал жить и возрастать. Первым произведением его искусства был прекрасный деревянный театр в Москве на Арбатской площади, который сгорел в большом пожаре 1812 года. Он был еще красив и молод, когда его отправили в Москву; к тому же был артист с иностранным прозванием. Половины сих преимуществ достаточно, чтобы пользующиеся ими в Москве обретали рай. Кто знает московские общества, тому известно, с какою жадностью воспринимается в них молодость людей разных состояний. Успехи Росси в сих обществах были превыше сил его. Когда он воротился в Петербург, друзья с трудом могли его узнать: до того изменился он в лице, до того истощен был он наслаждениями, может быть, душевными. Никогда силы к нему не возвращались; но сие тем полезнее было для его гения: при изнеможении телесном замечено, что почти всегда изощряется воображение. Взамен здоровья, которого лишился он в барских домах, приобрел он большой навык в светском обхождении. Он был приветлив, любезен, и с ним приятно было иметь дело.

Зато, первый после него, Василий Петрович Стасов[1] был совершенным его контрастом. Кто он? Чтó он? Откуда он? Мне вовсе неизвестно. Тот же мрак, который изображали его взоры, покрывал и происхождение его. Он, кажется, был человек не злой, но всегда угрюмый, как будто недовольный. Суровость его, которая едва смягчалась в сношениях с начальством, была следствием, как мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного самолюбия. Он хотел быть законодательною властью комитета и все предлагал правила, правда, стеснительные для владельцев, зато весьма полезные в рассуждении предосторожности от пожаров.

[1] В. П. Стасов (1769—1848), отец известного писателя по вопросам искусства, учился архитектуре во Франции, Италии и Англии в течение 5 лет, имел звание академика в Италии и в России. Построил по своему же плану здание лицея в Царском селе и много крупных зданий в Петербурге.

Третий член, Андрей Алексеевич Михайлов, был настоящий добряк; другого названия ему дать не умею. Маленький, веселый, простой этот человек был воспитан в Академии художеств и никогда потом с нею не расставался ни в звании академика, ни в звании профессора. Он никак не гнался за гениальностью, ничего не умел выдумывать, следовал рабски за славными образцами, но, подражая им, умел однако же из произведений их выбирать всегда лучшее.

Все трое были зодчие домашнего изделия; один только четвертый был иноземный, хотя и не выписной. Прежде чем приехал он в Россию, г. Антоан Модюи посетил развалины Греции; в их священном прахе искал он артистических вдохновений и, как мне казалось, мало привез их к нам с собою. Как об архитекторе, о нем говорить почти нечего.

В императоре Александре был вкус артиста, но в то же время пристрастие военного начальника к точности размеров, к правильности линий; и дабы регулярному Петербургу дать еще более однообразия, утомительного для глаз, учредил он этот комитет. Члены добросовестно выполняли его намерения; план всякого новостроящегося домика на Песках или на Петербургской стороне, представленный их рассмотрению, подвергался строгим правилам архитектуры. Один только Бетанкур вздыхал, видя невозможность в этом случае не сообразоваться с волею царя. Мальчиком любовался он прелестями Аламбры и фантастическими украшениями мавританских зданий в Севилье и всегда оставался поборником кудрявой пестроты.

Кроме одного Росси, никто из наших членов не мог тогда назвать публичного памятника, который был созданием его творческой мысли. Другие занимались дотоле одними частными строениями, которые, доставляя им небольшую прибыль, мало умножали их известность. Только Модюи, получая от казны жалованье, решительно ничего не делал и обиделся, когда ему предложили совершенную перестройку придворных конюшен, в таком виде, в каком они ныне находятся. Стасов не поспесивился и хорошо сделал. Модюи же отвечал, что может принять на себя возведение только тех зданий, которые должны увековечить славу Александра, сделать их обоих бессмертными. Он нашел однако же средство быть действительно полезным: этим же

летом принялся он за составление проектов для нового устройства внутренних населеннейших частей города. В них было еще много пустырей, обширных кварталов, одними садами и огородами занятых; через них стал он проводить линии и этим способом умножать сообщения и сближать расстояния. Все его планы были одобрены; но, увы, не ему было поручено их исполнение. Например, по его указаниям, по его рисункам, на месте грязного двора перед Аничковым дворцом устроена большая площадь со сквером, с Александринским театром и с высокими вокруг него зданиями, и пробита улица вплоть до Чернышева моста. По его же проекту с Невского проспекта от городской башни открыта новая Михайловская улица, ведущая к новой площади, в глубине коей должен был возвыситься Михайловский дворец и которой однообразные большие строения должны были служить рамой. Все это начато и окончено без него и даже после него.

Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человечек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро нашел я у Бетанкура белобрысого французика, лет тридцати не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нем, кто он таков? «Право не знаю», отвечал Бетанкур: «какой-то рисовальщик, зовут его Монферран». Брегет просит меня, впрочем не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу? Дня через три позвал он меня в комнату, котопая была за кабинетом, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том, что она содержит в себе? «Да это просто чудо», воскликнул я. — «Это работа маленького рисовальщика», сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Рима, Траянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и так искусно группированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного

я никогда не видывал. «Не правда ли», сказал мне Бетанкур, «что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» — «Да как с этим быть?», отвечал я. — «Вот чтó мне пришло в голову», сказал он: «мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре». Он предложил это министру финансов Гурьеву, управляющему в то же время и кабинетом, в ведении коего находился завод. Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев давал только две тысячи пятьсот; оттого дело и разошлось. Между тем он все становился со мною любезнее, до того, что я решился посетить его и мнимую его мадам Монферран, почти на чердаке, в небольшой комнате, в которую надобно было проходить через швальню портного Люилье. Он же делал для меня прекрасные маленькие рисунки, из которых, к сожалению, я ни одного у себя не оставил, а все раздарил в альбомы знакомым дамам. За то я и затевал для него выгодное место, которым должен был он остаться доволен.

Должность начальника чертежной берег я для Монферрана и чрезвычайно удивился, когда на сделанное мною о том предложение от Бетанкура получил отказ. «Он для такой должности еще слишком молод», отвечал он. Я, однако же, не отступил и выторговал ему, по крайней мере, назвáние старшего чертежника, правда, без жалованья, но с квартирою и с суммою, равною жалованью, в виде награждения или пособия ему, от комитета выдаваемою. Я должен был об'яснить это Монферрану, который все с благодарностью готов был принять, как будто предвидя, что все это скоро должно перемениться.

Не выходя из скромной роли своей, Монферран, между тем, тайком трудился над чем-то важным. На словах государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исакиевского собора так, чтобы, сохраняя все прежнее здание, разве с небольшою только прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику. Бетанкуру пришло в голову для пробы занять этим Монферрана, выдав ему план церкви и все архитектурные книги из институтской библиотечки. Что же он

сделал? Выбирая все лучшее, усердно принялся списывать находящиеся в них изображения храмов, приноравливая их к величине и пропорциям нашего Исакиевского собора. Таким образом составил он разом двадцать четыре проекта или, лучше сказать, начертил двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут все можно было найти: китайский, индийский, готический вкус, византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новейших памятников.

Бетанкур представил государю монферрановский альбом, прося один из рисунков удостоить своим выбором. Государь на время оставил у себя альбом.

На другой день Бетанкур, с каким-то таинственным видом, позвал меня к себе в кабинет и наедине вполголоса сказал мне:

— Напишите указ придворной конторе об определении Монферрана императорским архитектором, с тремя тысячами рублей ассигнациями жалованья из сумм кабинета.

Я изумился и не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Да какой же он архитектор? Он от роду ничего не строил, и вы сами едва признаете его чертежником.

— Ну, ну, — отвечал он, — так и быть; пожалуйте помолчите о том и напишите только указ.

Я собственноручно написал его, а государь подписал.

Не целую главу, а несколько страниц в каждой части сих Записок посвящаю я обыкновенно описанию современного состояния русского театра. Здесь достаточно мне будет на то несколько строк; ибо в предыдущей части довольно говорил я о нем, и остается только назвать несколько новых молодых талантов, тогда показавшихся, из коих некоторые и поныне украшают нашу сцену.

Особенно примечательны были два актера, Сосницкий в комедиях и Рамазанов в водевилях. Первому в цветущие лета удалось попасть в общество образованных людей; а как сверх того имел он и врожденное чувство светской пристойности, то первый явил себя на сцене молодым человеком, которого можно пустить в лучшую гостиную. Другой,

Рамазанов, был живчик, который пел приятным голосом и весьма естественно играл не в шутовских, а в веселых и забавных ролях.

Главною актрисою в комедиях была Валберхова, весьма еще не старая и красивая, но не совсем однако же и молодая дева, дочь посредственного танцовщика Лесогорова, который перевел себя на немецкий язык, дабы внушить зрителям более к себе уважения. Она была, как уверяли, примерной нравственности, скромна, добродетельна и отказалась от брака для того, чтобы прилежнее заниматься воспитанием сирот, меньших братьев и сестер. Такие почтенные свойства вредили однако же ее таланту, когда приходилось ей играть ветреных кокеток. Прикованный не любовью, а сожитием, привычкою и общими выгодами к другой актрисе, Шаховской тщетно, говорят, вздыхал у ног ее. Катерина Ивановна Ежова (мадам Жегова, как называли ее французские актеры) была женщина или девица хитрая и смелая. Домохозяйка его и мать его детей, она держала его, как говорится, в ежовых рукавицах: змеей обвилась она вокруг его огромного туловища. В ролях сердитых барынь на сцене заступила она место Рахмановой, которая по старости отошла на покой. К тому же и самый характер нового рода крикуньев мало походил на тот, который так искусно изображала Рахманова.

Также и в трагедиях играла Валберхова и, казалось бы, гораздо превосходнее, если какой-либо второстепенный талант мог бы выдержать сравнение с совершенством игры Семеновой. Ни в России, ни за границей в трагедии я никого выше ее не видал. На театре она казалась царицей среди подвластных ей рабов, и по моему мнению у нас не умели ей довольно дивиться. Стареющая Каратыгина иногда дерзала также показываться подле Семеновой; а неблагодарная публика, которая прежде, не видав лучшего, столько пленялась ею, смотрела уже на нее с отвращением. Ей обещано было новое, живейшее удовольствие: Гнедич и друг его Лобанов возвестили ей, что в трагедии, переведенной последним, будет она изумлена игрой молоденькой актрисы Степановой в роли Ифигении. Я видел это первое представление и заодно с публикой восторгов не ощутил и не из'являл.

В отсутствии французской труппы не одни мелкие чиновники и гостинодворцы посещали русский театр, но и лучшее общество. Дабы видеть и слышать Семенову, соглашалось оно выносить неистового Яковлева, нашего простонародного Лекеня, который многие лета продолжал еще хрипеть и реветь перед зрителями. Для молодых ролей, за неимением лучшего, был некто Щеников; совсем не помню, когда он исчез и куда он девался. Еще один молодой купчик, Брянской, пошел в трагические актеры; он был не без дарований, говорил стихи очень внятно и речисто и мог бы, заступив место Яковлева, избавить нас от него, но, к сожалению, был чрезвычайно холоден. В это время более десяти лет уже находился он на сцене и о сю пору, кажется, не покидал ее; после женился он на вышереченной Степановой, и она, благодаря сему союзу, и поныне еще в числе подставных актрис.

Примадонной в опере все оставалась меньшая Семенова, со столь же пышною красотой и со столь же тощим голосом. Первый тенор был все тот же славный Самойлов; второй тенор был молодой человек Климовский, как уверяли, из малороссийских дворян, воспитанный в придворной певческой школе; голос у него был слабее, чем у Самойлова, но еще приятнее, и музыку знал он лучше. После большого пожара старая Сандунова из Москвы бежала в Петербург и в нем осталась; ибо не было надежды, чтобы в старой столице театр мог скоро быть восстановлен. Она согласилась играть роли старух, однако же по нужде заставляли ее выполнять ролю весталки и другие, в которых был необходим ее уже не свежий, но еще сильный и чистый голос. Партию баса пел весьма не худо Злов, также в одно время с нею из Москвы приехавший певец.

Танцовальные зрелища лишились Дюпора, вместе с Жорж уехавшего во Францию. Неизменная чета Дидло опять осталась тогда одна, чтобы владычествовать в балетах. Двое молодых мальчиков, Люстих и Шемаев, обещали было сравняться с Дюпором, но не сдержали обещанного: поджилки скоро отказались им служить. Члены у русских бывают гибки только в первой молодости; до старости всегда готовы они и бывают в состоянии пахать и ратовать, но одним французам от природы дана привилегия до могилы лов-

ко прыгать и вертеться. Доказательством тому может служить мусью Андре, которого в 1803 г. видели мы довольно пожилым французским актером и который, дабы не расставаться со сценою, в это время неутомимо продолжал плясать на ней, что, двадцать лет спустя, делает он и поныне. Именной список тогдашних русских артистов заключу я названием искусной танцовщицы и известной красавицы, девицы Истоминой, которая в продолжение многих лет пленяла зрителей и сводила с ума молодых офицеров. Она была причиною нескольких поединков между ними и даже смерти одного из них [1].

В самом главном управлении театральном произошла тогда большая перемена. Вместе с князем Голицыным при Павле сослан был в Москву другой камергер, находившийся при наследнике, князь Петр Иванович Тюфякин, и вместе с ним был вызван по воцарении Александра. Как в характерах обоих князей-камергеров, так и в степени доверенности к ним государя была великая разница. Голицын был человек добродушный, отменно веселый, но степенный и смолоду склонный к набожности. Тюфякин был скучен, несносен, своенравен и знал одни только чувственные наслаждения. Видя себя обманутым в надежде сделаться любимцем царя, он с досады поселился в Париже и выезжал из него только во время разрыва Наполеона с Россией, впрочем, не возвращаясь в нее. В начале 1812 года для русских и в Европе уже не было места; во внимание к прежней если не службе, то преданности, государь наградил воротившегося в отечество блудного Тюфякина званием гофмейстера при дворе и вице-директора театральных зрелищ. В конце 1814 г. Александр Львович Нарышкин должен был сопровождать императрицу Елисавету Алексеевну во время заграничного ее путешествия и, находя, что без французской труппы ему нечего делать, сохраняя звание главного директора, все управление свое передал в руки Тюфякина, а тот

---

[1] А. И. Истомину воспел Пушкин в «Евгении Онегине». Из-за нее дрались на дуэли В. В. Шереметьев и А. П. Завадовский, при чем первый был убит. В связи с этой дуэлью состоялась позднее дуэль между декабристом А. И. Якубовичем и А. С. Грибоедовым, которому первый прострелил левую руку.

из них его более уже не выпускал. Каждому свое: в удел Голицына поступила церковь, Тюфякину достался театр [1].

При начальнике, который вечером никогда не бывал в трезвом виде, власть Шаховского должна была умножиться. Его сожительница Ежова каждый вечер принимала у себя актрис, танцовщиц и воспитанниц театральной школы; преимущественно же последних, дабы дать им более ловкости в обращении. Несколько пожилых и большая часть молодых людей Петербурга добивались чести быть принятыми в ее салоне. Освещение его и угощение, по крайней мере чашкою чаю, сопряжены были с издержками. Какими средствами вознаграждала она себя за них, мне не известно. Из вседневных посетителей сих составлялись дружины хлопунов, с которыми автор-хозяин всегда мог быть уверен в победе. Если литературная слава его чрез то несколько увеличивалась, за то честь его жестоко страдала от этого.

Эти, сначала, столь послушные посетители, видно, приобретая большие права, сделались вдруг смелы и взыскательны. Часто доставалось от них бедной Ежовой, говорят, даже самому Шаховскому, до того, что они принуждены были, наконец, прекратить своё гостеприимство. Вот до чего иногда доводит сила страстей, даже самых дозволенных, повидимому, самых полезных просвещению. И теперь без душевного сожаления не могу вспомнить об этой эпохе жизни слабого, доброго князя, которого после пришлось мне так много любить.

Пока неуважение света и даже знакомых постигало его, избранный им спокойный и безответный его противник Жуковский все более возвышался в общем мнении. Ему, отставному титулярному советнику, как певцу славы русского воинства, по возвращении своем, государь пожаловал богатый бриллиантовый перстень с своим вензелем и четыре тысячи рублей ассигнациями пенсиона. Такую блестящую награду сочла «Беседа», не знаю почему, для себя обидною; а «Арзамас», признаться должно, имел слабость видеть в этом свое торжество.

---

[1] Даже в день смерти Тюфякин спросил: «А Планшетт танцует сегодня?»

Другое сильнейшее горе ожидало «Беседу». В начале 1816 года Карамзин, не бывший в Петербурге более двадцати пяти лет, приехал в сопровождении Вяземского и Василия Львовича Пушкина. Сам государь принял его отлично, можно сказать, дружелюбно. На издание уже написанных им восьми томов «Истории государства российского» велел отпустить ему шестьдесят тысяч рублей ассигнациями да, сверх того, с чином статского советника, дал ему прямо Аннинскую ленту. Петербург — город придворный, казенный; пример царя сильно действует в нем на людей; тут подражать было не трудно: под предлогом уважения к личным достоинствам Карамзина, удивления к его талантам, все наперерыв стали оказывать ему почтительные ласки. Творение свое хотел он печатать в Петербурге, и для того, на время возвратясь в Москву, следующею осенью прибыл он со всем семейством своим и остался в нем.

В этой главе хочется мне кстати досказать повесть о «Беседе» и «Арзамасе», хотя для того и должен буду выступить за пределы 1816 года. Одно будет не весьма длинно. «Беседа» в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и верно очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угас на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и «Беседу». Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.

Когда старуха-«Беседа» в изнеможении сил близилась к концу, в то же самое время молодой соперник ее все более крепился и мужал. Век его был тоже короток, но он оставил по себе долгие воспоминания. Новых членов, коими он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по порядку, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.

Первые им восприятые были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика мог некоторым образом почитаться нам ровесником, но он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил

под стать к людям, из коих составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Он родом происходил от одного из греческих семейств, поселенных в Нежине; отец его или дед, если не ошибаюсь, был последним архитектором, то есть тем, что мы ныне называем генерал-штаб-доктором.

Служа в иностранной коллегии, состоял он при разных миссиях и из'ездил почти весь свет. Он был собою не виден, но умные черты лица и всегда изысканная опрятность делали наружность его довольно приятною. Исполненный чести и прямодушия, он соединял их с тонкостью, свойственною людям его происхождения и роду службы его; откровенность его, совсем не притворная, была однако же не без расчета; он так искусно, шутливо, необидно умел говорить величайшие истины людям сильным, что их самих заставлял улыбаться. Он не имел глубоких познаний, но в делах службы и в разговорах всегда виден был в нем сведущий человек. Не зная вовсе спеси, со всеми был он обходителен, а никто не решился бы забыться перед ним. Всеми был он любим и уважаем, сам же ни к кому не чувствовал ненависти, и если чуждался запятнанных людей, то старался и им не оказывать явного презрения. К сожалению моему, одержим он был сильною англоманией, и этот недостаток, в глазах моих делая его несколько похожим на методиста или квакера, придавал ему однако же много забавно-почтенной оригинальности. Вообще я нахожу, что благоразумнее его никто еще не умел распорядиться жизнью; он умел сделать ее полезною и приятною как для себя, так и для знакомых. Из-за морей иногда показывался он в Петербурге и потом вдруг исчезал из него; во время сих быстрых появлений коротко познакомился он с сослуживцами своими, Дашковым и Блудовым; мне также не раз случалось с ним встречаться и разговаривать. Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее знал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом: тогда их у нас еще не было, все были одни действительные, и нареченный Очарованным Челном, не знаю как-то, ускользнул он от обязанности произнести вступи-

тельную речь. Недолго насладились мы его обществом: следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.

Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем лет двадцати пяти, приятель Дашкова. Отец Дмитрия Петровича Северина, Петр Иванович, служил когда-то капитаном гвардии Семеновского полка в одно время с Иваном Ивановичем Дмитриевым. В дни добродушной старины нашей достаточно было товарищества по службе, чтобы составить дружественные связи между людьми совершенно разных свойств. Дмитриев был приятелем Северина и еще более жены его, гораздо умнее и просвещеннее мужа своего. Из этого заключали, что он был ее любовником, и даже приписывали ему родительские права на рожденного от нее сына, хотя она была горбата и настоящий урод. Это была сущая ложь, а не клевета: ибо Дмитриева никто не думал осуждать за такое молодечество.

Спросят, почему Северин был немец, когда в фамильном имени его нет ничего немецкого? Почему капитан гвардии был сын портного? Последний вопрос никто не сделает ныне, когда в России искусная маршировка доводит до высоких чинов. Во время же оно гвардия была военно-придворный штат; для того чтобы удостоиться чести быть в ней офицером, нужны были известное имя и большое покровительство. Чье же имя может быть известнее, если не людей, прославившихся в ремеслах? Не все же пером да мечом; игла и шило также доставляли тогда славу. По одним преданиям и по стихам Дмитриева знаю только я Кроля. Швальная же знаменитость Занфтлебена, закройщика Зеленкова и особенно сапожника Брейтигама мне очень памятны: молодые франты моего времени ими только и клялись. Кто помнит их ныне? И сколько преемников их потонуло в забвении! И, кажется, даже сам мусью Буту, перед которым гораздо позднее так благоговела молодежь. Sic transit gloria mundi [1]. По крайней мере эти люди умели наживать деньги и наживать трехэтажные каменные дома, предоставляя потомкам добывать чести. О портном Северине могли дойти до меня только темные слухи и то по случаю

[1] Так проходит мирская слава.

знакомства моего с его почтенным внуком. Он был счастливее других собратий своих, ибо слава имени его, скромно возникшая на катке, сияет ныне в посольствах; жаль только, что бесплодие Дмитрия Петровича не дозволяет надеяться, чтоб она перешла из рода в род.

Когда Дмитриев назначен был министром юстиции, то отцу-Северину, бывшему при Павле белорусским губернатором, выпросил он сенаторство, а сына определил к себе в канцелярию и дал у себя квартиру. Хотя мальчик вообще был чрезвычайно гибок перед начальством, находили на него иногда бешеные минуты, в которые с высшими делался он также высокомерен и дерзок, как с низшими. Дмитриев не переставал быть щекотливым, а избалованный Северин стал забываться, и после двухлетнего сожития, в одно утро, последний был внезапно изгнан своим покровителем. С его же помощью был он потом определен в иностранную коллегию и получил место в Гишпании, откуда воротился с Полетикой. Чтó сказать мне о сем новом сочлене нашем? В сокращенном виде был он Уваров, с тою, однако, великою разницею, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами по крайней мере не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастие почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголоватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволящий к нему Жуковский имел слабость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского, товарищ по службе Дашкова,

приятелем обоих, и потому-то двери «Арзамаса» открылись пред ним настежь [1].

Сейчас только что назвал я Вяземского, а он тут и является. Он и Пушкин [В. Л.], как сказал я выше, приехали в Петербург вместе с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил «Арзамас» своим соприсутствием. Весело и совестно вспомнить ныне проказы людей, хотя еще молодых, но уже совсем не мальчиков: кто из тридцатилетних теперь позволит себе так дурачиться? В первой части говорил уже я о первой встрече моей с Васильем Львовичем Пушкиным, о метромании его, о его чрезмерном легковерии; здесь нужно прибавить, в похвалу его сердца, что всегда верил он еще более доброму, чем худому. Знакомые, приятели употребляли во зло его доверчивость. Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, смешного и торжественного церемониала принятия его в «Арзамас». Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина.

Ему возвестили, что непосвященные в таинства нашего общества не иначе в него могут быть приняты как после довольно трудных испытаний, и он согласился подвергнуть им себя. Вяземский успел уверить его, что они совсем не безделица, и что сам он весьма утомился, пройдя через все эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убранное, могло одно быть удобным для представления затеваемых комических сцен. Как странствующего в мире сем без цели, нарядили его в хитон с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох пелерина. В этом наряде, с завязанными глазами, из парадных комнат по задней, узкой и крутой лестнице свели его в нижний этаж, где ожидали его с руками полными хлопу-

[1] У Пушкина было с ним столкновение в Одессе в 1823 году. Еще в 1822 году Пушкин написал на Северина эпиграмму (Жалоба), где говорит, что дед Северина портной, а дядя повар.

шек, которые бросали ему под ноги. Церемония потом начавшаяся продолжалась, около часа: то обращались к нему с вопросами, которые тревожили его самолюбие и принуждали морщиться; то вооружали его луком и стрелою, которую он должен был пустить к чучелу с огромным париком и с безобразною маской, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредьяковского:

Чудище обло, озорно, трезевно и лаяй.

Сие чудище, повергнутое после выстрела его на пол и им будто побежденное, должно было изображать дурной вкус или Шишкова. Потом заставили его, поддержанного двумя аколитами [1], пронести на блюде огромного замороженного гуся, а после того... всего не припомню. Между всеми этими проделками, члены произносили ему речи назидательные, ободрительные или поздравительные. В заключение, из темной комнаты, в которой он находился, в другую длинную, ярко освещенную, отдернулась огненного цвета занавесь, ее скрывавшая, он с торжеством вступил в собрание и сказал речь весьма затейливую и приличную. Когда после я спросил его, не досадовал ли он, не скучал ли он сими продолжительными испытаниями? Совсем нет, отвечал, c'étaient d'aimables allégories [это были приятные аллегории]. Подите же после того: родятся же люди как будто для того, чтоб трунили над ними.

В протоколе, который прочитал потом секретарь Жуковский, прописан был весь этот обряд, в предыдущем заседании якобы совершенный над Вяземским. При этом все члены, исключая новопринятого, приступили с требованием на будущее время отменить его, как тягостный для вступающих, так и довольно убыточный для вступивших. Недоставало баллад, чтоб давать их названия новым членам; довольствовались тем, чтобы для того брать из них примечательные имена и слова: вот почему в это же, кажется, заседание Вяземский наречен «Асмодеем», Пушкин стал называться «Вот», а Северин удачно прозван «Резвым Котом». И, действительно, этот, ныне старый, тощий кот был тогда ласков, по крайней мере, с приятелями, и про них держал

[1] Аколут — служка в древне-христианской церкви.

в запасе когти, но не выпускал их и в самых манерах имел еще игривость котенка.

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков — известные моему читателю, и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелединского, невысокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.

В этот же день потешили и Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере, пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание старосты «Арзамаса», с коим сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например: место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей его; он подписывает протокол... с приличною размашкой; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое веселое существование; но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старее Жуковского, он однако же учился с ним вместе в московском университетском пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под покровительством и в тесной дружбе с Магницким. Он никогда не был выскочкою,

держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора медицинского департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его «Пустынником». Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт [1].

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Я где-то сказал уже, что наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Катерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая [2] выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось более чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, чувствах, обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляпо-

[1] Д. А. Кавелин (1778—1851), отец известного цивилиста, один из самых ревностных гонителей либеральной профессуры и участник знаменитого разгрома (1821 г.) петербургского университета.

[2] Знаменитая А. А. Воейкова-Светлана. О ней Вигель позже писал Жуковскому в восторженном духе. Старшая дочь Протасовой — М. А. Мойер (жена профессора в Дерпте) была любима Жуковским и любила его. Мать не хотела их брака в виду их родства.

ват, неблагороден; она же настоящая Сильфида, Ундина, существо неземное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину? Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум; а в нем было его очень много. В душе его не было ничего поэтического, и стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его был перевод «Делиллевых садов». Как сатирик имел он истинный талант; все еще знают его «Дом сумасшедших», в который поместил он друзей и недругов: над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нем. Никто, может быть, так хорошо не знал русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора ее в Дерптском университете. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство: они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием «Дымной печурки».

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и в манерах, поставил Жуковский в «Арзамас». В первой молодости представленный в большой свет Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такою способностью нетрудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры; и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского.

Дочь фельдмаршала графа Ивана Григорьевича Чернышова, фрейлина Анна Ивановна после смерти отца перед целым двором обнаружила стыд свой; чтобы прикрыть его, строгий, а иногда и снисходительный, император Павел велел скорее приискать ей жениха. Плещеев был вхож в дом ее родителя; за него первого взялись, и он тут очень кстати случился.

После того молодые супруги удалились в Орловскую губернию и при жизни ее никогда не возвращались в Петербург.

В сельское убежище свое перенесли они часть столичных забав, к коим приучена была ее знатность: сюрпризам, домашним спектаклям, fêtes champêtres [сельские праздники], маскарадам конца не было. Плещеев был от природы славный актер, сам играл на сцене и других учил; находили, что это чрезвычайно способствовало просвещению того края. Только брачные узы забавнику, как говорят, не всегда казались забавны: они были блестящие и столь же тяжкие для него оковы. Графиня не забывала свой титул и была чрезвычайно взыскательна с мужем-дворянином. Деревня их находилась в соседстве с Белевым, а сверх того и госпожа Протасова по мужу приходилась теткой Плещееву, почему и Жуковский всегда участвовал в сих празднествах. Когда, овдовев, Плещеев приехал в Петербург, он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий; а нам то и надо было. Сначала, действительно, он всех насмешил, но вскоре за пределами фарсы увидели совершенное ничтожество его. По смуглому цвету лица всеобщий креститель наш назвал его «Черным Враном»; наскучило, наконец, слушать этого ворона даже тогда, когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было. Ему было повезло: он попал в чтецы к императрице Марии, сделан камергером и членом театральной дирекции; а после бог знает, что́ из него вышло.

По заочности были приняты еще два члена: Батюшков [К. Н.], как уже сказал я, под именем «Ахилла», и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем «Армянина». Первый следующею осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение «Арзамаса», и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горнего «Арзамаса», не имея на то права.

Я все откладывал говорить о некоторых членах, вступивших в «Арзамас», как ныне полагать должно, с дурными замыслами. Тяжко мне изображать людей, возбудивших во мне приязнь и уважение, после прославивших себя

преступными заблуждениями, но коих память, несмотря на то, все еще осталась мне любезна.

Не стану здесь повторять того, что́ говорил я о двух братьях Тургеневых, Андрее и Александре (об одном погибшем во цвете лет; о другом, погубившем в себе способности и знания чрезмерною леностью ума и деятельностью тщеславия). У них был еще третий брат Николай, несколькими годами моложе Александра. Искаженная вера, мартинизм, вольнолюбие, восседали у колыбели сих братьев, баюкали их младенчество. Честолюбие, между тем, в каждом из них развивалось с летами в разных видах и в разных степенях. Определенный в службу по иностранной коллегии, Николай Тургенев получил бессрочный отпуск и отправился в Геттинген, когда все немцы кипели справедливым, но тайным гневом на истребителя не только независимости их, но и самого названия Германии. Под именем Рейнского союза, составленного из подданных корольков, она не простиралась даже до Одера, а весь север ее до Любека присоединен был к Франции. Воспрянуть было невозможно: цвет юношества, все жизненные силы государства искусным Наполеоном отрываемы были от родины, и мужество их только что более умножало порабощение их отечества. В университетах сильнее других профессора и студенты томились жаждою свободы и горели желанием мести. Среди тайных заговоров созрел и возмужал наш Тургенев, пристал к известному либералу барону Штейну и в 1812 году приехал с ним в Петербург. С ним опять поехал он в Германию, чтобы жителей возбуждать к восстанию, что́ было весьма нетрудно, но опять повторю, не знаю, было ли это необходимо нужно. Он следовал за нашею армией, употреблен был для разных поручений и в 1816 году окончательно воротился в Россию.

Он не имел высоких дарований старшего брата своего Андрея, а заменял их постоянным трудолюбием. Имея врожденное чувство любви к человечеству, оно в нем было усилено правилами какой-то превыспренней филантропии, с ранних лет ему преподанными. По возвращении в отечество, нашед, что в нем усердно поклоняются кумиру его, свободе, расчел он, что приспело время освобождения от рабства освободителей Европы, — мысль столь же прекрасная,

как и безрассудная! С бесчисленными теориями уже являлось к нам множество иностранцев, совершенно не знавших народного духа России, ни пороков, ни доблестей ее жителей, ни доброй, ни худой их стороны, не подозревающих неодолимых препятствий, которые законодатель должен встретить, если бы дерзнул приступить к совершенному ее преобразованию. Все смотрят на пример Петра великого и полагают, что у нас стоит только приказать, дабы все изменилось. Он остриг только верхушки дерев, а до корней и он не смел коснуться. К числу сих иноземных можно приписать и Тургенева, который образовался за границею. Но он искренно, усердно любил Россию, уважал своих соотечественников и в разговорах со мною сколько раз скорбел о том, что чужеземцы распоряжаются у нас как дома. Хорошо, если б и другие русские, подобно ему, перенимали за границей у европейских народов любовь их к отчизне; но это дается только тем из них, кои по чувствам и по мыслям стоят гораздо выше толпы обыкновенных путешественников наших.

Не знаю, случай или природа, сделав его хромым, осудили его более на сидячую и уединенную жизнь и отдалили от общества, где мнения, встречая сопротивление, несколько умеряются и смягчаются. К тому же он был одарен великою твердостью (обратившеюся после в ужасное упрямство), а это людям почти всегда дает верх над другими. Старший брат его, Александр, обратился и в кадило, вечно перед ним курящееся, и в трубу, гремящую во все концы хвалы его гениальности. А он просто был человек с основательными познаниями, с благими намерениями и несбыточными мечтами. Надобно, чтобы наперед ты сам себя уверил, что ты великий муж, потом смело возвести о том: одни по рассеянности, другие по лени поверят тебе, а когда и очнутся, то дело уже сделано, законность притязаний твоих всеми признана. Так часто водится у нас в России. Однако же надобно и признаться, что Тургенев имел в себе нечто вселяющее к нему почтительный страх и доверенность; он был рожден, чтобы властвовать над слабыми умами. Сколько раз случалось мне самому видеть военных и гражданских юношей, как Додонский лес, посещающих его кабинет и с подобострастным вниманием принимающих непонятные для

меня слова, которые, как оракулы, падали из уст новой Сивиллы. Все тешило тогда Тургенева, все улыбалось ему. В чине надворного советника назначен он на место действительного статского советника графа Ламберта начальником отделения канцелярии министра финансов [1] и в то же время помощником статс-секретаря в государственном совете. Все это, по мнению его друзей, были только первые шаги, которые, несомненно, немедленно должны были повести его к званию министра, а ему было только что двадцать шесть лет от роду. Однако же, хотя после и получал он чины и кресты, выше сих должностей никогда других не занимал он; читая же изданное им в Париже сочинение [2], можно подумать, что он действительно управлял у нас каким-нибудь министерством.

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами, был он принят в «Арзамас» как родной, и, кажется, ему самому в нем полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие привычки. В нем не было ни спеси, ни педантства; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца «Варвика». Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из нас серьезно не может разделять их, не думал за то досадовать. Вскоре, движимый одинаковыми с ним чувствами, вступивший к нам новый член был гораздо его предприимчивее.

В первые годы царствования Екатерины престол ее тесно окружали пять братьев-молодцов, из коих особенно трое были и ее любимцами и любимцами народа русского. Четверо из них были женаты, но или не имели детей, или законное их потомство мужеского пола в первом поколении

[1] Это место было некогда мне предложено и обещано, когда я был еще моложе его и в одинаковом с ним чине. А в т.

[2] Как один из виднейших участников заговора декабристов, Н. И. Тургенев был приговорен к смертной казни. Избег наказания, так как был в 1825 году за границей, где и остался навсегда. Издал там много книг о необходимости уничтожения крепостного права, книгу о тайных обществах и др. Был один из самых образованных людей в России.

прекратилось. Один только, холостой Федор, воспетый Державиным орел

из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла
Впреди Минервы светлоокой,
Когда она с Олимпа шла,

имел четырех сыновей, которые рóдством и дородством, мужеством и красотою могли равняться с ним и с братьями его. Я видел их, когда, сам почти малолетний, посещал я малолетних товарищей моих Голицыных в пансионе аббата Николя, где они вместе с ними воспитывались. С двумя меньшими, Григорием и Федором Орловыми, тогда и после я вовсе не был знаком, с двумя старшими, Алексеем и Михаилом, весьма мало, но случалось встречать их в обществах и говорить с ними. Все четверо взялись за военное ремесло, все четверо, не с большим двадцати лет, украшены были георгиевским крестом; двое же меньших, именно те, с коими не был я знакóм, остановлены были на пути славы ядрами, оторвавшими у каждого по ноге; один запропастился в России, другой поселился, говорят, в Италии. Итак, остается мне говорить лишь о старших, или, лучше сказать, об одном, и разве коснуться только другого.

Завидна была их участь в юности; завиднее ее не находил я. Молоды, здоровы, красивы, храбры, богаты, но не расточительны, любимы и уважаемы в первых гвардейских полках, в которых служили, отлично приняты в лучших обществах, везде встречая нежные улыбки женщин, — не знаю, чего им недоставало. Судьба, к ним столь щедрая, спасла их даже от скуки, которую рождает пресыщение: они всем вполне наслаждались. Им стоило бы только не искушать фортуну напрасными затеями, а с благодарностью принимать ее дары. Старший брат, Алексей, это и делал [1]. А второму, Михаилу, исполненному доброты и благородства, ими дышащему, казалось мало собственного благополучия: он беспрестанно мечтал о счастии сограждан и за-

[1] Он хорошо и успешно делал придворную карьеру. Много помог Николаю первому в день 14 декабря 1825 г. и был осыпан за это милостями, использовав их и для облегчения участи брата Михаила, который благодаря ему избег участи товарищей — каторги.

думал устроить его, не распознав, на чем преимущественно оно может быть основано.

Когда я гляжу на Алексея Федоровича Орлова, ныне графа, мне кажется, я вижу раззолоченную, богатыми тканями изукрашенную ладью. Зефиры надувают парусы ее, и она спокойно и весело плывет по течению величественной реки между цветущих берегов; и она будет столь же беспечно плыть, я уверен в том, до того самого предела, за которым исчезает весь род человеческий. Там погрузится она только

Au sein de ces mers inconnues,
Où tout s'abîme sans retour [1].

А бедный брат его, как ладья, тяжелым грузом дум обремененная, отважно пустился в море предприятий и расшибся о первый подводный камень.

С первого взгляда в двух братьях-силачах заметно было нечто общее, фамильное; но при малейшем внимании легко можно было рассмотреть во всем великую разницу между ними. С лицом Амура и станом Аполлона Бельведерского у Алексея приметны были мышцы геркулесовы; как лучи постоянного счастья и успехов, играли румянец на щеках и вечная улыбка на устах его. Красота Михаила Орлова была строгого стиля, более мужественная, более величественная. Один был весь душа, другой — весь плоть; где же был ум? Я полагаю, в обоих. Только у Алексея был совершенно русский ум: много догадливости, смышленности, сметливости; он рожден был для одной России, в другой земле не годился бы он. В Михаиле почти все заимствовано было у Запада: в конституционном государстве он равно блистал бы на трибуне, как и в боях; у нас под конец был он только что сладкоречивым, приятным салонным говоруном [2].

---

[1] В лоно тех неведомых вод, куда все низвергается безвозвратно.

[2] М. Ф. Орлов был выдающийся оратор — сохранилось несколько ярких речей его (до 1825 г.) о вреде крепостного права и т. п. Это был один из образованнейших людей своего времени. В «Арзамасе» выступал он с политическими речами, предлагал издавать политический журнал «для распространения идей свободы». Он был женат на сестре жены декабриста Волконского — Е. Н. Раевской. Помилованный Николаем, он прозябал в Москве до смерти (1842, род. 1788).

Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нем высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день монмартрского сражения его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он к датскому принцу Христиану, об'явившему себя норвежским королем, дабы уразумить его и заставить примириться со Швецией и Бернадотом [1]. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавным речам его, как чистые струи Рейна, у нас получил он название сей реки.

Я говорил и даже с похвалою об отсутствующем сыне Катерины Федоровны Муравьевой, Никите Михайловиче. После войны этот юноша воротился к матери, полон радости и надежд. В звании офицера генерального штаба года два или три сряду сражался он за независимость Европы; тиран, ее угнетавший, пал, и все обещало в непродолжительном времени ей и отечеству его окончательное освобождение от всякого поносного ига. Бедный Муравьев! Как не быть иногда фаталистом, когда видишь людей, которых судьба как будто насильно, взяв за руку, влечет к бедам и погибели? Добродетельный отец Муравьева был кроткий философ и друг свободы, которого утопии остались наследием его семейства; злая мать его была недовольна государем и вечно роптала на самодержавную власть; наконец, нечестивый Магиер (которого прошу вспомнить) с младенчества старался якобинизировать его. Случай свел его в Париже с Сиэсом и, что́ еще хуже того, с Грегуаром. Французская революция, точно так же как история Рима и республик средних веков, читающему новому поколению знакома была по книгам. Все действующие в ней лица унесены были кровавым ее потоком; из них небольшое число ее переживших молниеподобным светом, разлитым Наполеоном, погружено было во мрак, совершенно забыто. Встреча с Брутом и Катилиной не более бы поразила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из гробов восставших, дабы вещать им истину. Все это

[1] Фельдмаршал Наполеона — потом король шведский.

сильно подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неопытный ум Муравьева: он сделался отчаянным либералом [1].

Слово либерализм в это время только что начало входить в употребление. Чтó значило оно? В настоящем смысле щедрость; только оно проистекало от другого слова, liberté, то есть свобода. Наши тогдашние либералы были действительно люди щедрые, не то чтó нынешние, коим по большей части нечего терять. Почти все те, с коими тогда я был знакóм, были молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге, которым в настоящем порядке вещей будущее сулило всякого рода успехи; и всем этим готовы были они пожертвовать. Чему? Идее. Одним словом, они готовы были, вопреки пословице, променять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно имя — свобода. Ими населена была гостиная госпожи Муравьевой, а как все арзамасцы были также частыми ее посетителями, то сын ее без всякого затруднения поступил в их общество. Ему одному только не помню я, какое дал прозвание Жуковский [2].

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон [М. А.] Корф, поэты, как барон [А. А.] Дельвиг, военноученые, как [В. Д.] Вальховский, политические преступники, как [В. К.] Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького

---

[1] Никита Муравьев был очень образованный человек, специально занимавшийся русской историей и написавший несколько интересных статей. Карамзин ценил его познания и суждения в этой области.

[2] Никита Муравьев в «Арзамасе» имел прозвище «Адельстан». См. о нем выше — в 4-й части Записок.

брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего мне казались противны. Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его назвали «Сверчком»; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Я здесь не буду более говорить об Александре Сергеевиче Пушкине: глава эта и так уже слишком растянута. О, если б я мог дописаться до счастливого времени, в которое удалось мне узнать его короче! Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее, — его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его.

Показалось Орлову, что свободная стихия достаточно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.

Не знаю каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случалось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.

Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все раз'ехались в добром согласии. Только с этого времени заметен стал совершённый раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто-политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И, действительно, в этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном. Но прежде кончины своей породил он чувство, редко, никогда почти ныне не встречаемое, — неизменную, твердую дружбу между людей, которые, оказывая великие услуги государству, в век обмана и златолюбия служили примером чести и бескорыстия.

Полагать должно, что в воздухе бывают и нравственные повальные болезни: даже меня самого в это время так и тянуло все к тайным обществам. Арзамасские таинства, совсем не элевзинские, были секретом комедии: мне было их мало. В доме у Оленина встречал я иногда родственника его, одного московского князька Голицына, который стороной, обиняком, иносказательно раз заговорил со мною об удовольствиях, коими люди весьма рассудительные наслаждаются вдали от света. Я слушал его со вниманием, и наконец он предложил мне быть проводником моим в ма-

сонскую ложу. Я дал ему отвезти себя в большой дом на Фонтанке близ Аничкова моста; там в передней дал завязать себе глаза и водить сверху вниз и снизу вверх по комнатам. Не из опасения казаться нескромным или нарушить клятвенное обещание, мною данное, не буду я описывать здесь обряда, который совершается над вступающим в масонство, а потому только, что всякий может это найти в печатных книгах.

Хорошенько не знаю я истории этого ордена; усердные масоны возводят начало его до жрецов Изиды. После многих столетий рыцари храма обрели в Иерусалиме таящийся его неугасимый огонь и перенесли его в Европу. Когда они были казнены и сожжены, слабые их остатки скрылись в Шотландии и опять, после столетий, возродились под именем братства вольных каменщиков. Происхождение это заслуживает вероятия, ибо Иаков Моле между ними почитается главным святым мучеником. Нет сомнения, что первоначальною целью их учреждения были желание мести и ниспровержение власти католических государей и папы. Пока власть сия была неограничена, и они, закутанные в аллегории, за непроницаемыми завесами ковали и изощряли на нее орудия, их орден был силен и опасен. Самая цветущая его эпоха предшествовала французской революции. Когда же, после падения престолов, королевская власть хотя опять и восстановлена, но в камерах, в журналах, в памфлетах можно смело и явно нападать на нее, существование масонства сделалось бессмысленно: народы не так уже церемонятся теперь с царями. К нам вошло масонство во второй половине царствования Екатерины, и завелись ложи даже в некоторых губернских городах, между прочим в Пензе; вскоре после начала революции их велено закрыть. Так много было еще тогда если не невинности, то неведения, что масонство не оставило никаких вредных впечатлений, ни даже памяти по себе. Наших добрых помещиков и чиновников тешило фармазонство и иногда заменяло им камедь: они играли в него как в жмурки или в фанты, прятались, рядились как о святках и далее ничего не видели. Несовершеннолетние народы, коих называют варварами, как дети и обезьяны, все охотно перенимают и все скоро забывают, пока не вырастут и не

родится у них собственный смысл, собственные страсти. На воспитателях лежит, кажется, обязанность удалять от них дурные примеры.

После Тильзитского мира, в конце 1808 года, прошел слух о новом появлении у нас масонства. Правительство, не поощряя его, не мешало однако же его распространению. Оно понравилось своею новизной; любопытство, дух братства, произведенный тогдашними обстоятельствами и перешедший к нам из Германии, многих людей привлекали к нему. В Москву, в провинции сначала не скоро оно проникло; вся сила его сосредоточилась в Петербурге. В нем показались два «Востока», или две главные ложи: одна «Астрея», а другая просто называемая «Провинциальною». Между ними было соперничество, и образовался какой-то схизм; не достигнув высших степеней ордена, я не могу сказать, какие догматы произвели их несогласие. Они назывались также «ложами-матерями», и каждая из них народила много дочерей — русских, француженок, немок и даже полек.

Я принят был в ложу des Amis du Nord [Друзья Севера], французскую, как имя ее показывает, находящуюся в зависимости от «Провинциальной». Работы производились в ней, то есть обряды совершались на французском языке. Великим мастером в ней был отсутствующий генерал-майор Александр Александрович Жеребцов. Место его заступал служащий в пажеском корпусе полковник Оде де-Сион, предобрейший человек, который не имел ни нахальства, ни буйства нации, к которой принадлежал, а всю ее веселость и довольно ума, чтобы в пажах и масонах вместе с любовию вселять к себе некоторое уважение. Дабы дать понятие о составе сей ложи, назову я главных сановников ее, двух надзирателей и обрядодержателя.

Прево де-Люмиан, Иван Иванович, уже старик, настоящий осел из южной Франции, ко всеобщему удивлению, в русской службе достиг до чина генерал-майора, и что удивительнее — по артиллерии, что и еще удивительнее, при Екатерине. Мужик добрый, не спесивый, он довольствовался местом первого надзирателя, второго же занято было промотавшимся после сыном графа Растопчина, Сергеем. Тут свысока смотрел только Федор Федорович, один из

пяти или шести надутых братьев Гернгросов, о коих, кажется, уже я говорил. Он нажил в карты довольно большое состояние и сделался ужасным аристократом, во-первых, потому, что не хотел посещать ни одного второстепенного дома в Петербурге (так как Дмитрий Львович Нарышкин брал его иногда с собою прогуливаться), но более всего потому, что он женился на любимице и воспитаннице Марьи Антоновны [Нарышкиной], прелестнейшей англичаночке, мисс Салли, дочери какого-то столяра. Впрочем, может быть, я и грешу, говоря о нем всю правду, тогда как брат его, находясь полковым командиром в том полку, где зять мой Алексеев был шефом, жил с ним очень дружно; тогда как мать моя другому брату его, во время бегства его из Смоленска, дала убежище и приют у себя в деревне; наконец, тогда как сам он за мною всегда чрезвычайно как ухаживал. Секретарем был отставной актер Далмас; все же прочие члены в этой французской ложе почти на две трети состояли из русских и поляков.

Главная «Провинциальная» ложа состояла из должностных лиц всех подчиненных ей лож да из нескольких эмеритов, все степени ордена перешедших и во все сокровенные его таинства проникнувших. Великим мастером в ней был граф Михаил Виельгорский, с которым за год до того я познакомился; вторым же мастером — Сергей Степанович Ланской, которого слух тогда не был еще столь туп, как ныне, а понятия — как и всегда [1]. Оба они в том же качестве председали в подведомственной ложе «Елисаветы к Добродетели», в которой, равно как и в «Провинциальной», работы производились по-русски. Она должна была служить нормой, образцом для всех других сестер своих; все узаконениями установленные обряды соблюдались в ней с величайшею строгостью. В первом из общих собраний Виельгорский не мог скрыть удивления и сожаления своего, увидев меня принадлежащим к обществу, которое между потомками храмовников не пользовалось доброю славою; казалось, что нравственности моей грозит опасность.

---

[1] Он был при Николае I губернатором, а при Александре II министром внутренних дел и принимал участие в уничтожении крепостного права.

Никто из северных друзей не был проникнут чувством долга истинного, вольного каменщика: Сион, Прево и все прочие были народ веселый, гульливый; с трудом выдержав серьезный вид во время представления пьесы, спешили они понатешиться, поесть, попить и преимущественно попить; все материнские увещания «Провинциальной» остались безуспешны. Но когда я разглядел пристальнее елисаветинских масонов, то нашел, что они ничем не лучше: они также любили ликовать, пировать, только вдали от взоров света, в кругу самых коротких. Исключая главы их Виельгорского, не встретил я между ними ни одного человека, уважения достойного; особенно противен мне был святоша их, обер-прокурор Петр Яковлевич Титов, от'явленный вор и бесстыдный взяточник. Лицемерие мне всегда было гадко, а тут показалось оно мне и глупо. Из чего эти люди бьются, подумал я, и кого они думают морочить? Нет, лучше остаться с моими руссо-французами.

На волнения в «Провинциальной» ложе спокойно смотрела соперница ее, «Астрея», и тайком переманивала к себе недовольных. ею. Северные друзья были весьма многочисленны и бурливы. Что удивительного? Между ними было много французов и поляков. Сперва последние взбунтовались и составили из себя особливую ложу, под именем «Белого орла»; вскоре дурному их примеру последовали и русские и основали ложу «Российского орла». Я помаленьку отставал от масонства и не знал, что в нем происходит, как в одно утро приехал ко мне Гернгрос с об'явлением, что большая часть французских членов нашего союза готова отделиться и перейти к «Астрее» и что он главою этого восстания. Почитая оппозицией небольшие шутки, которые изредка позволял я себе над педантством «Провинциальной», предложил он мне быть участником в этой французской революции. Мне показалось довольно смешно и забавно; я согласился, и мы завели ложу под названием: «Des Amis réunis», «Соединенных друзей», где и стали масонствовать по-французски. Великим мастером выбран Гернгрос, а на меня взвалили многотрудную должность второго надзирателя. Сначала это меня некоторым образом заняло, но скоро наскучило, даже огадилось, и по просьбе получил я совершенное увольнение от дел. Сим

кончается история моего масонства, коего существование скоро прекратилось во всей России; ибо, видя в нем непонятную мне опасность, несколько лет спустя, правительство приказало закрыть все ложи.

Это многочисленное братство продолжает существовать в западных государствах без связи, без цели. Ложи не что иное как трактиры, клубы, казино, и их названия напечатаны вместе в «Путеводителе по Европе» г. Рейхардта. Некоторая таинственность, небольшие затруднения при входе в них задорят любопытство; разнообразные обряды и мнимое повышение некоторое время бывают занимательны, и все оканчивается просто одною привычкой. У нас в России разогнанная толпа масонов рассеялась по клубам и кофейным домам, размножила число их и там, хотя не столь затейливо, предается прежним обычным забавам.

Неизвестно, Аракчеев подал ли государю мысль о военных поселениях, или, усвоив ее себе, сделался ревностным ее исполнителем и через то более чем когда нужным царю? В древности римляне на берегах Рейна и в Паннонии заводили вооруженные колонии, дабы защитить империю от варварских вторжений. Ныне в Венгрии, вдоль по Дунаю, под именем военной границы поселены храбрые сербские полки. Во дни порабощения России, ее бессилия и неустройств, на южных пределах ее, без ее участия и ведома, сама собою встала живая стена, составленная из ратников, которые удальством своим долго изумляли окрестные края. То, что мудрость человеческая сделала для охранения Рима и не спасла его, провидению угодно было сотворить для нас. От обоих берегов Днепра, от порогов его и вдоль по тихому Дону, перстом всевышнего проведена была блестящая черта; она должна была, как межа, означить будущие владения возвеличенной им России. Когда же они достигли этой грани, то черта сама собою, естественным образом, стала передвигаться и тянуться на нескончаемое пространство. Мы находим ее на берегах Кубани и Терека, Урала и Иртыша и, наконец, ее видели на Амуре, до втока его в Тихое море. Запас самим небом для нас приготовленный, за который мы не можем достаточно воз-

благодарить его, — казачье войско сберегло нам половину Украйны, помогло взять обратно другую и теперь в отдаленнейших местах стоит везде на страже, как передовые ведеты сил русских. Его заслуги неисчислимы.

Ничего с ним общего не могло иметь аракчеевское создание. Для чего внутри государства нужны военные поселения, и от каких внутренних врагов могут они защитить его? Вот вопросы, которые многие друг другу делали. Надобно полагать, что государь, во время последнего пребывания своего за границей, убедясь в непокорном расположении западных народов к правительствам своим и предвидя в будущем новые беспокойства, нашел необходимым для обуздания их сохранить многочисленную армию, которая нужна ему была во время общей войны. Он думал о средствах сделать сие без обременения государства, и несчастная мысль о военных поселениях представилась ему. Вероятно, он открылся в ней Аракчееву, который, избран быв плановым орудием в этом важном предприятии, не посмел или, скорее думать надобно, не захотел ее оспаривать [1]. Сначала, приступая к делу медленно, государь, как видно, имел намерение колонизировать всю армию, которая, таким образом утроенная числом, сама бы себя содержала. Первый опыт сделан над казенными и у помещиков на сей предмет скупленными крестьянами в селениях Новгородской губернии, находящихся поблизости к владениям графа Аракчеева. Заведенный им в достопамятном с той поры селе его Грузине ужасный порядок, превращающий людей в бесчувственные машины, стал распространяться на несчастных хлебопашцев, в окрестности живущих, и на воинов, посреди их селимых. В следующих годах по этому образцу заведены военные поселения в Белоруссии, потом на Буге и, наконец, в Харьковской губернии, в Чугуеве. Кажется, что будущая дешевизна содержания войск в настоящем обходилась чрезмерно дорого и была разорительна для казны. Сие самое остановило распространение зла, коего несчастные последствия были бы неисчислимы. Чего бы не

---

[1] Вигель правильно оценивает взаимоотношения Александра I и Аракчеева в вопросе о военных поселениях. Он только не знал, что ненавистный ему Сперанский тоже содействовал их учреждению, желая этим выслужиться во время своей опалы.

могли сделать полтора миллиона людей недовольных, измученных, выведенных из терпения, с оружием в руках [1]?

Пример казаков, без всякого пособия, без всякого надзора образовавшихся, первоначально должен был породить мысль о сем чудовищном учреждении. Искусство в этом случае, подражая природе, думало превзойти ее. Произведение ее, совокупно с обстоятельствами, казаки были какая-то особая стихия, в состав коей вошли все другие. У них все было свободно как степной воздух, коим они дышали; в сердцах и взорах их не угасал огонь отваги, движения их были быстры, как течение рек, по коим они селились, и между тем, как земля их, покорная законам той же природы, и они непринужденно повиновались властям, над ними поставленным. А тут бедные поселенцы осуждены были на вечную каторгу. Два состояния между собою различные впряжены были под одним ярмом: хлебопашца приневолили взяться за ружье, воина за соху. Русский человек, трудолюбивый и беспечный вместе, после работы вместо отдыха любит погулять на свободе. Что за дело, если изба его не слишком чиста, лишь бы, по пословице, красна она была пирогами. От всего несчастные должны были отказаться: все было на немецкий, на прусский манер. все было счетом, все на вес и на меру. Измученный полевою работой военный поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать; возвратясь домой, он не мог находить успокоение: его заставляли мыть и чистить избу свою и мести улицу. Он должен был об'являть о каждом яйце, которое принесет его курица. Что говорю я! Женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб.

Жестокости Аракчеева не всем русским могли быть понятны: его бессердие было чисто-немецкое. Он любил ломать бессильные препятствия, неволить человеческую натуру и все подводить под один уровень. Все выше мною означенные подробности принадлежат ему исключительно, про многие из них не ведал царь. Терпение, коим одарены

[1] Известны многочисленные, сопровождавшиеся большими кровопролитиями восстания военных поселян, жестоко расправлявшихся со своими угнетателями, но усмиряемых всегда с неимоверными жертвами.

русские, у военных поселян иногда лопалось: бывали сильные возмущения, за которыми следовали кровавые усмирения их.

Между происшествиями в мирное время важное место занимает всякая перемена министра, и я долгом считаю их означить здесь.

В то время министерство народного просвещения наскучило богатому и гордому графу Разумовскому, который давно уже вздыхал о московском дворце своем и о подмосковном замке и стал проситься в отставку. Кого было дать ему преемником? Свобода и христианство были паролем и лозунгом того времени: одна должна была умеряема быть другим. Дабы дать юношеству некоторым образом духовное образование, избран был любимец государев, главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий, князь Александр Николаевич [Голицын], который влез тогда по уши в мистицизм. Мне почти нечего сказать после всего, что уже говорил я об нем; могу только прибавить, что даже наших знатных людей прежнего времени, столь образованных для света, превосходил он любезностию и невежеством.

Малое министерство, коим он управлял, оставлено ему было в приданое и в соединении с большим составило министерство духовных дел и народного просвещения, разделенное на два департамента. Директором первого назначен уже управлявший сею частью Александр Тургенев. В этом департаменте положено быть четырем отделениям: 1-е для дел православных, 2-е для римско-католических, 3-е для протестантских, 4-е для магометанских и еврейских [1]. Итак, Голицыну с Тургеневым удалось господствующую веру сравнять не только с другими терпимыми, но даже с нехристианскими; на негодование, на ропот нашего духовенства эти люди не обратили внимания. До получения звания министра Голицын продолжал сохранять должность обер-прокурора святейшего синода; тут на свое место избрал он князя Петра Сергеевича Мещерского, некоторым образом подчинив его департаменту духовных дел. Должности

---

[1] Позднее этим департаментом в министерстве внутренних дел управлял Вигель.

у нас таким образом часто подвергаются возвышению и понижению курса.

В департамент народного просвещения сделан был директором Василий Михайлович Попов, кроткий изувер, смирный, простой человек, которого однако же именем веры можно было подвигнуть на злодеяния[1]. Забавно подумать (если можно только назвать сие забавным), что оба директора чуждались вверенных им частей: Тургенев весь занят был обществом и происками, а Попов помышлял единственно о делах религиозных. Он был слепым орудием «Библейского общества», которое не скрывало своего намерения, разливая свет божественной книги, рассеять тьму нелепостей и суеверий, называемых греко-кафолическим восточным исповеданием. Усердствуя соединению вер, о чем непрестанно молится наша церковь, он, вместе с министром своим, сделался гонителем их и покровителем всех сект. Размножение их последователей, во время управления Голицына, было неимоверное.

В первый раз после пожара, осенью 1816 года, государь посетил Москву, которая из развалин начинала подыматься. Он оказал себя в ней чрезвычайно милостивым и щедрым. Один указ, им подписанный там, всех крайне удивил. В нем было сказано, что, по дошедшим невыгодным слухам о Сперанском и Магницком, они были удалены от должностей, но дабы дать им возможность оправдать себя, назначаются они: первый гражданским губернатором в Пензу, а последний вице-губернатором в Симбирск. Они были не только отставлены, они были сосланы, следовательно, наказаны; за что же, неужели по одним только подозрениям? А это походило на право выслуги, дарованное разжалованным. Вместо того чтоб об'ясниться, это дело стало еще темнее.

О Сперанском совсем почти забыли, а когда вспомнили, то уже начали жалеть о нем. Не знаю, назвать ли это добродушием русских или слабодушием их? Он два года прожил в Перми, никем почти не посещаемый; но человек с высокими думами уединение всегда предпочтет обществу

---

[1] Он замучил родную дочь за то, что она не хотела присутствовать на мистических собраниях и радениях.

необразованных людей. В бездействии, в унынии, он обратился, говорят, к богу, к подателю всех утешений, и занялся переводом «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерия, желания сблизиться вновь с набожным императором. Он не нажил богатства· все имущество его состояло в небольшой деревне близ Новагорода, в которую, по ходатайству соседа-Аракчеева [1], дозволено ему было переселиться. Оттуда, вероятно, пошли переговоры. Изо всех отдаленных губерний мысль о Пензе его менее пугала: она находилась вне больших путевых сообщений; ее уединение, здоровый воздух ему нравились; там же находилось преданное ему семейство Столыпиных.

По известиям из Пензы, Сперанский полюбился там своею кроткою и умеренною обходительностью. Управление ладьею после стопушечного корабля не могло казаться важным опытному моряку: оттого-то он мало входил в дела, подобно предместникам своим предоставляя большую власть Арфалову [2], в котором помещики начинали уже видеть неизбежную судьбину. Губернаторское место почитал Сперанский почетною для себя ссылкой. В этом случае я согласен был с его мнением и находил, что определением его оно более унижено, чем возвышено.

В начале 1814 года молоденький великий князь Николай Павлович, с меньшим братом, проезжая через Берлин, во время отсутствия короля, во дворце его был угощаем его семейством. Тут первый раз в жизни влюбился он в старшую дочь его и умел понравиться сей только из ребячества выходившей принцессе Шарлотте.

В июне месяце [1816 г.] приехала невеста в сопровождении брата своего, принца Вильгельма; 25-го числа, в день рождения жениха, было обручение, миропомазание ее и наречение Александрой Феодоровной, а 1 июля, в день ее рождения, была свадьба.

---

[1] Его униженно просил о том Сперанский после напрасных ходатайств другими путями и непосредственно у царя. Бывший враг Сперанского оказался великодушнее его бывших друзей.

[2] Многолетний правитель канцелярии губернатора в Пензе — вор и взяточник.

Рядом с прусским принцем ехал государь с видом чрезвычайно довольным. За ним следовал Николай Павлович. Русские тогда еще мало знали его; едва вышед из отрочества, два года провел в походах за границей, в третьем проскакал он всю Европу и Россию и, возвратясь, начал командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он был слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах его белого, бледного лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которые в первой молодости облегли чело его, были как будто предвестием всех напастей, которые посетят Россию во дни его правления. Не при нем они накопились, не он навлек их на Россию; но природа и люди при нем ополчились. Ужаснейшие преступные страсти в его время должны были потрясать мир, и гнев божий справедливо карать их. Увы, буря зашумела в то самое мгновение, когда взялся он за кормило, и борьбою с нею должен был он начать свое царственное плавание. Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но многие в неблагосклонных взорах его, как в неясно-писанных страницах, как будто уже читали историю будущих зол. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он совсем не был любим. И даже в этот день ликованья царской семьи я почувствовал в себе непонятное мне самому уныние.

• Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на меня Марья Андреевна Мойер [1]. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же, мимоездом, в продолжение немногих часов влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна; но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неиз'яснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведе-

[1] В Дерпте, где Вигель был с Блудовым проездом за границу.

ниями соединяла она необыкновенные скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал; а находясь с такими, как она, в сердечном умилении все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего. Как не верить воплощению бого-человека, когда смотришь на сии хрупкие и чистые сосуды? В них только могут западать небесные искры. «Как в один день все это мог ты рассмотреть?» — скажут мне. Я выгодным образом был предупрежден насчет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нем не преувеличение, а ослабление истины.

И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неровный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так рассуждал я сам с собой: «Кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее? Впрочем, кто знает, были, вероятно, какие-нибудь препятствия, и тут кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман». Она недолго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их [1].

Судьба наслала мне [в Париже] не товарища, не путеводителя, не собеседника, а, так сказать, согулятеля. В жизни этого человека было довольно превратностей, чтобы вкратце упомянуть о них. Когда, во избежание поединков, Александр офицерам своей гвардии велел носить в Париже фраки, каждый полк, по своему вкусу, выбрал себе портного. На Монмартрском бульваре был один магазин пла-

---

[1] Известный хирург И. Ф. Мойер был человек больших достоинств, но Вигель правильно охарактеризовал его союз с М. А. Протасовой (о ее романе с Жуковским упоминалось выше), как союз кантаты, элегии с холодной диссертацией. О М. А. Мойер есть интересная работа П. Н. Сакулина — «М. А. Протасова-Мойер по ее письмам». Пет. 1907.

тьев, который полюбился Измайловским офицерам. Красивый и веселый мальчик, довольно самолюбивый, из него носил к ним примеривать жилеты и панталоны. Он всем им чрезвычайно понравился, полком его усыновили и хотели увезти с собой в Россию; но в услужение он ни к кому итти не хотел. Как быть? Решились на обман: отыкали где-то неимущего, молодого легитимиста, кавалера св. Людовика, который за двадцать луидоров согласился написать и подписать просительное письмо к Константину Павловичу. В нем об'яснял он, что несчастия революции заставили родного племянника его, древне-благородного происхождения, скорее чем служить хищнику, тирану, приняться за ремесло, но что ныне желает он посвятить его служению избавителя Европы. А этот мнимый племянник был сын гюиссье (род сторожа неважного суда в небольшом городе Оксерре) и назывался Оже [1]. Известно, что цесаревич имел слабость к французам: на основании этого единственного документа молодой человек принят подпрапорщиком в Измайловский полк и с ним на корабле приплыл в Петербург.

Не удивительно, что тайна хорошо сохранилась: все были виновны в подлоге. Ипполит Оже или г. Оже де-Сент-Ипполит, как он себя назвал, содержим был на счет офицерской складчины: «с мира по нитке — голому рубашка», говорит пословица. Подпрапорщики позволяли себе также не носить тогда мундиров, и он введен был кое в какие общества. Я увидел его у двоюродной невестки моей Тухачевской, о галломании коей я уже говорил; она затеяла домашний французский театр, и он играл на нем. Булеварные фарсы в точном смысле не были прежде известны в Петербурге; о Жокрисах, Каде-Русселе знал я только понаслышке; но мне сдавалось, что он должен на них походить. Это был настоящий парижский gamin, малый очень добрый, но вооруженный чудесным бесстыдством; он не краснея говорил о великих своих имуществах во Франции, выдавал за свои стихи, которые, вероятно выкапывал из

---

[1] Это был известный впоследствии французский писатель Ипполит Оже, оставивший интересные воспоминания о своих встречах с Вигелем, Луниным и др.

бесчисленных брошенных и забытых альманахов. После вторичного возвращения государя, все военные оделись опять в мундиры; а он в продолжение этого времени не хотел выучиться ни русской грамоте, ни фронтовой службе, не знал никакой дисциплины, становился дерзок, всем надоел, и его просто вытурили из полка. В это время составилась какая-то французская вольная труппа актеров из оборышей прежней и вербовала всех, кто ей ни попадался. Государь слышать не хотел о принятии ее на казенное содержание, и она играла в манеже князя Юсупова на Обуховском проспекте; мне сказывали, что ничего нельзя было видеть хуже. Не имея никаких средств к существованию, бедный Оже решился показаться тут на сцене и тем довершил падение свое во мнении небольшого круга, которому был известен. Не знаю после того что бы стал он делать, если бы кавалергардский Лунин [М. С.] не вышел в отставку, осенью не поехал бы морем во Францию за новыми либеральными идеями и не взял бы его с собою [1].

Я нечаянно встретил его в Тюльерийском саду, и он мне чрезвычайно обрадовался. Видно, обстоятельства его были не в самом лучшем положении; ибо, несмотря на нероскошное житье мое, он охотно ко мне приписался. Чем он жил, право не знаю; полагать должно, как тысячи других в огромном Париже, падающими крупицами. Около меня много поживиться ему было нечего; правда, почти каждый день, хотя умеренно, но даром он обедал, часто даром ездил гулять и ходил в театр, а для француза, которому забавы потребны столько же, как воздух, это уже очень много. Под конец, однако же, за его услужливость, за всегдашнюю готовность исполнять мои поручения, нечаянно удалось мне и ему оказать услугу. За несколько времени до выезда из Пензы, чтобы чем-нибудь развлечь грусть свою и занять ум, перевел я на французский язык «Марфу Посадницу» Карамзина; не знаю, каким образом

---

[1] М. С. Лунин из этой поездки привез тогда на родину, впервые в Россию, идеи сен-симонизма. См. об этом в моих книгах: «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма, изд. Пушкинского дома. П. 1923» и «Декабрист М. С. Лунин. Общественное движение в России. М. 1926».

рукопись эта была со мною. Оже увидел ее, нашел, что нехудо бы ее напечатать, а я предоставил ее в полное его владение. Кто мог бы ожидать? За нее книгопродавец предложил ему полторы тысячи франков. Либералам полюбилась мысль, что и посреди снегов севера, в варварской России, в отчизне рабов, знали некогда свободу, имели народное правление. Она вышла в свет, как сочинение г. Оже и подражание Карамзину. Даже слогом остались довольны; когда бы знали, что написано русским, были бы взыскательнее: французы чужестранцам неохотно позволяют хорошо писать на их языке. После того корифеи оппозиции, и между прочим сам Бенжамен-Констан, пожелали узнать Оже; он был не безграмотен, стали употреблять его, заставляли писать в журналах, поправляя его статьи, поддерживали его, и он, не думав, не гадав, попал в литераторы. С легкой руки моей пошел он в гору, только поднялся невысоко. Гораздо после случалось мне если не читать, то пробегать его печатные романы, и я находил, что они ничем не хуже многих других краткожизненных своих собратий [1].

Монферран адресовал меня к родительнице своей, мадам Коммарие, по второму мужу. Счастливый случай свел эту женщину, вдову безвестного бедного артиста, с русским богачом Николаем Никитичем Демидовым. Не знаю какого рода услуги с самого начала могла она оказывать ему, только пользовалась полною доверенностью как его самого, так и супруги его, урожденной Строгановой, недавно перед тем преставльшейся. От обоих тайно принимала она незаконнорожденных их детей и потом в'явь воспитывала их; разумеется, не из чести лишь одной делала она такие одолжения. На русские деньги нанимала она, в улице Тетбу, большую и щеголеватую квартиру и в ней нередко принимала гостей, потчивая их вкусным обедом. Ее знакомство было для меня весьма приятно, а для богатых русских могло быть и полезно. Она имела связи

[1] Ипполит Оже оставил интересную характеристику Вигеля; см. ее во вступительной статье к этому изданию. Оже, между прочим, говорит, что он сам перевел «Марфу Посадницу», а Вигель «похвалил» его перевод и только помог ему в обработке последнего.

во всех лучших магазинах Парижа; вместе с нею можно было покупать в них лучшие вещи безубыточно, так что и продавец оставался без наклада, и она была с барышом. Такого рода женщины, когда подымутся до порядочного общества, делаются несносны чопорностию своею и притязаниями на уважение, в котором знают, что всякий в праве отказать им. Разговор г-жи Коммарие остался мил, чрезвычайно жив и смел, однако же, слегка подернут полупрозрачною благопристойностью. Такой животрепещущей старухи мне не случалось еще видеть; сколько раз, гуляя с ней, должен я бывало просить ее убавить ходу, когда в шестьдесят лет, в капоте розè, в соломенной шляпке с розанами, скорее бежала, чем шла она со мною по булевару.

Из русских довольно часто я видел [в Париже] двух не весьма обыкновенных людей, которые, не будучи вовсе знакомы между собою, едва ли знавшие о существовании друг друга, в некотором смысле имели большое сходство и вели одинаковый образ жизни. У обоих ровно ничего не было, а их житью иной достаточный человек мог бы позавидовать. Карты об'ясняют расточительность иных бедных людей, но ни который из них не был игроком: целый век умели они скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпали средства к постоянному поддержанию своей роскоши. Первый Иван Петрович Липранди, служивший тогда подполковником генерального штаба при дивизии Алексеева, часто отлучался из Ретеля и всегда останавливался в отеле, в котором я жил. Незадолго перед тем меньшая сестра его, сиротка, вышла за сына двоюродного брата моего Тухачевского; все вместе сделало для меня знакомство его неизбежным. Откуда был он родом и какого происхождения, мне неизвестно; судя по фамильному имени, надобно было почитать его итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию. Умом и даже рассудком был он от природы достаточно награжден; только в последнем чего-то недоставало. Какими бы средствами человек ни собирал материалы для сооружения фортуны своей, по крайней мере, нельзя отказать ему в предусмотрительности; тут этого вовсе не было: добытые деньги медленнее приходили к нему, чем уходили.

Вечно бы ему пировать! Еще был бы он весельчак, нимало: он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, и он готов был и на одолжения, отчего многие его любили. Доброго Алексеева тайно поджигал он против Воронцова, ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим от того казался он страшен; но были другие, которые уверяли, что когда дело дойдет собственно до него, то ни в ратоборстве, ни в единоборстве он большой твердости духа не покажет [1].

Всякий раз что, немного поднявшись по лестнице, заходил я к нему, находил я изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда, искусственно произрастающего в Фонтенбло под названием шассела. Я не принимал участия в сих лукулловских трапезах: предписанная мне диэта служила мне предлогом к отказу. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры. Раз один из них мне понравился: у него было очень умное лицо, на котором было заметно, что сильные страсти не потухли в нем, а утихли. Он был очень вежлив, сказал, что обожает русских и в особенности мне желал бы на что-нибудь пригодиться; тотчас после того об'яснил, какого рода услуги может он оказать мне. Как султан, властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь.

---

[1] Ив. Петр. Липранди — кишиневский и одесский знакомый Пушкина, человек литературного дарования (оставил интересные воспоминания о Пушкине), в описываемое время заведывал русской тайной полицией за границей; и позднее работал в той же области — в России — выслеживал заговор петрашевцев в 1848 году. После появления Записок Вигеля в печати написал по поводу них свои воспоминания, стараясь выгородить себя. Средства к жизни Липранди, действительно, черпал не из светлых источников. Кишиневский приятель Пушкина, совсем не сплетник и не интриган, Н. С. Алексеев писал ему в октябре 1826 года о кишиневских знакомых: «Липранди тебе кланяется, живет попрежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает откуда берет деньги».

Видя, что я с улыбкою слушаю его, сказал он: «я не скрою от вас моего имени; вас, по крайней мере, не должно оно пугать: я Видок». И, действительно оно не испугало меня, потому что я слышал его в первый раз. Вскоре растолковали мне, что я знаком с главою парижских шпионов, мушаров, как их называли; что этот человек за великие преступления был осужден, несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спине. Нет, от такого человека не захотел бы я и магометова рая! Не помню после того, был ли я у Липранди. Неприятно же было всегда встречать каторжных [1]. И что за охота принимать таких людей? Из любопытства, подумал я: через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа, которые тогда еще не были напечатаны. После я лучше понял причины знакомства с сими людьми: так же как они, Липранди одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны.

Другой промышленник, Николай Александрович Старынкевич, был давнишний мой знакомец. Урожденец из Белоруссии, сын шкловского священника, он хорошо учился в Московском университете под покровительством отца Тургеневых. Из них несколькими годами старее Александра, сохранял он с ним связи, а через него был знакóм и с нами. Пользуясь природными способностями, быстротою понятия, удивительною легкостью в работе, гибкостью характера, стал он шибко подвигаться в чинах по юстицкой части и, в звании начальника отделения канцелярии, сделался любимцем самого министра князя Лопухина. Но он слишком любил житейское, веселые холостые беседы; не имея денежных средств, чтобы вдоволь натешиться, нáчал прибегать к займам; это много повредило ему, и самые невыгодные о нем слухи стали доходить до министра, который просто велел ему оставить службу. Привычка делать долги обратилась у него в страсть; пока он находился в службе, она

[1] Однако, Липранди сообщает, что Вигель охотно воспользовался услугами Видока в темной истории, где имя автора наших Записок было связано с именем одного парижского парикмахерского ученика, заночевавшего у Вигеля и стащившего у него золотые часы.

легко могла быть удовлетворяема: заимодавцы его по бóльшей части были просители, коих дела были ему поручены; они не преследовали его. Но тут на свободе надобно было видеть изворотливость его, когда, не отказывая себе ни в чем, пришлось ему жить одними долгами; надобно было видеть ловкость, искусство, с какими, умножая число кредиторов своих, умел он защищать себя, убегать от них. Такая тревожная жизнь другому была бы мукою, но он находил в ней наслаждение. Наконец, когда угрожаем был тюрьмою, он решился спастись от нее службой и определился правителем канцелярии к герцогу Александру Виртембергскому, которого тогда назначили белорусским генерал-губернатором. Под его именем управлял он краем и, надобно полагать, не нуждался там ни в чем. Он начинал уже не ладить с своим герцогом, когда последовало нашествие галлов; тогда пристал он к ретирующейся нашей армии и с нею более не расставался от Витебска до Москвы и от Москвы до Парижа.

Своею вкрадчивостью, всегда веселым видом, длинными, но искусными рассказами, на половину приправленными красным словцом, сей умный и приятный краснобай пленил всех наших генералов, начиная с Милорадовича и Платова; находился то при том, то при другом, в каком качестве, не знаю, и жил в изобилии, беззаботно, на казенный ли счет или на неприятельский, не ведаю.

Достигнув Парижа, долго не мог он оторваться от него, да и не думал о том: как рыбе в быстрой и широкой реке, было в нем ему раздолье. Он сделался корреспондентом корпусного начальника, графа Воронцова, получал за то содержание из экстраординарных сумм и забавлял его исправно не весьма правдивыми, но всегда любопытными известиями. Тут-то совершенно разладил он с постоянным, почтения достойным трудом, который открыл ему дорогу по службе; мелочной деятельности его представилась тысяча предметов, из коих плел он свои сплетни. Ум и ласковое обхождение всегда привлекают французов, и Старынкевича, в котором вообще было много липкого, полюбили они, хотя и почитали тайным агентом России. Кого не знал он в Париже! Журналистов, адвокатов, депутатов, проникнул даже в Сен-Жерменское предместье. Политических мнений своих

он решительно не об'являл, потому что не имел их, говоря всегда двусмысленно, и каждая партия почитала его своим [1]

Много непонятного, необ'яснимого было тогда в жизни Старынкевича; сам он искусно накидывал на нее таинственность, которая придавала ему некоторую важность. Денег, получаемых от Воронцова, не могло ему быть достаточно; в Париже долги делать легко, но отделываться от них трудно. Там была неумолимая святая Пелагея [тюрьма], не мученица, а мучительница; те, коих заключала она в холодные свои об'ятия, не скоро могли от них освободиться. Чем же он жил? И для чего нанимал он в одно время три квартиры, в разных частях города, отдаленных одна от другой, и прятался в них от посетителей? Меня же всегда предупреждал о том, где могу его найти, и вообще сохранил ко мне прежнюю обязательность [2].

Я не видал Растопчина с той памятной для меня минуты, когда брат водил меня к нему мальчиком с просьбою об определении в службу, и я не без робости вошел в его кабинет [в Париже]. Летá, покойное, тихое положение, в коем он находился, и приветливый вид, который хотел он показать мне, смягчили прежнюю угрюмость лица его.

Растопчин, как все стареющие люди, чтó я знаю по себе, любил рассказывать о былом. Разница только в том, что от иных рассказчиков все бегут, а других не наслушаются. Не уважая и не любя французов, известный их враг в 1812 г. жил безопасно между ними, забавлялся их легкомыслием, прислушивался к народным толкам, все замечал, все записывал и со стороны собирал сведения, в чем много помогал

[1] В своих Замечаниях на «Воспоминания Вигеля» Липранди отмечает преувеличения автора и вольное обращение его с действительными фактами, как напр., относительно трех квартир Старынкевича, оскорбительный намек на источник доходов его и т. п. Эти скверные отзывы о Старынкевиче не помешали Вигелю, быть может, в то самое время, когда он писал свои Записки, вести с ним дружеские беседы. Так, в октябре 1842 г. А. И. Тургенев писал из Москвы П. А. Вяземскому: «Старынкевич давно уехал. Мы провели с ним три ночи и одну, в числе оных, с Вигелем. Да будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо», — намекает Тургенев на известный порок Вигеля.

[2] Длинный роман его жизни оканчивается благополучно: он давно живет в Варшаве и, кажется, не имеет нужды делать долги. Авт.

ему Старынкевич. Наблюдения его и вследствие их суждения о настоящем всегда остроумные, часто справедливые, умножали занимательность его разговора. Жаль только, что, совершенно отказавшись от честолюбия он предавался забавам, неприличным его летам и высокому званию.

Регентство, Людовик XV, необузданность и расточительность Марии Антуанетты, а после них революционный ужас пополам с развратом совершенно превратили Париж в Вавилон новейших времен. Старики еще более молодых испытывают влияние этой нравственной заразы, особенно же те, кои, неохотно оставив бремя государственных дел, чувственными наслаждениями хотят заглушить сожаление о потерянной власти. Совсем несхожий с Растопчиным, другой недовольный, взбешенный Чичагов, сотовариществовал ему в его увеселениях. Не знаю, могут ли парижане гордиться тем, что знаменитые люди в их стенах, как непристойном месте, почитают все себе дозволенным. Раз получил я от Растопчина предложение потешиться с ним забавным зрелищем, приготовленным у одной пожилой маркизы д'Эстенвиль, в пышных ее апартаментах, подле королевской библиотеки, под аркадою Кольбер. Это была настоящая маркиза, не вымышленная; но не только Сен-Жерменское предместье, все честные женщины других состояний давно уже чуждались ее общества. Во время революции, а может быть и прежде, лишилась она большого состояния, но и в бедности сохранила тон важной дамы. Знатные, богатые люди, во мзду ее угодливости, старались окружить ее новою роскошью и дом ее поставить на высокой ноге.

Изо всех тех, кои играли роли во время революции, республики и при Наполеоне, удалось мне видеть только одного. В Тюльерийском саду указали мне на человека, который сидел на одном из плетеных стульев, за которые платится два су; я поспешил занять его. Баррас был человек весьма пожилой, худощавый, бледный, не с распущенными, а на уши приглаженными волосами, еще не седыми, во фраке старого покроя, в шляпе с большими полями, и обеими руками упирался на трость клюкой. Нелегко было войти в разговор с таким соседом, он смотрел так угрюмо; но я прикинулся простачком, новичком, только что приехавшим из России и всему дивящимся, и он охотнее стал

отвечать. Когда я хвалил великолепие Тюльерийского дворца и красоту его сада, он сказал мне, что он не всегда был в этом виде, и что некогда большая аллея его была вся засажена капустой. Мне только и надобно было посмотреть на него из любопытства и услышать его голос: знакомиться с ним было бы трудно, да и не для чего [1].

Последний месяц пребывания моего в Париже я часто бывал и обедал у воротившегося рано с дачи, расслабленного Николая Николаевича Демидова.Соотечественники упрекали его в скупости: человек, который жил с такою роскошью, что французы непременно хотели видеть в нем владетельного князя, называя его принцем Демидовым, а иные Термидором, скорее мог почитаться мотом. Но он был расчетлив и, при всей пышности своей, находил средства умножать состояние свое. Все жизненные наслаждения в Париже сами идут навстречу к тому, кто в состоянии за них платить; они осаждали Демидова, он предавался им, и оттого постигла его рановременная старость. За вкусным, изысканным его обедом он почти ни до чего не касался, кряхтел и что-то часто жаловался мне, говоря его словами, на барометровской елей. Не знаю, как другие, а я нашел в нем великую склонность к одолжениям. Я не просил у него денег, отказывался даже от них, а он под простую расписку навязал мне четыре тысячи франков с тем, чтоб я отдал их в Петербурге управляющему его делами. Когда я об'яснил ему, что не имею никакой в них нужды, он указал мне на употребление, которое могу из них сделать. Совет его был очень полезен, я последовал ему, а между тем, совещусь и поныне не только говорить о том, даже вспоминать. С помощью г-жи Коммарьё, накупил я множество хороших вещей, дешевых во Франции, с рулажем отослал их в корпусную квартиру, откуда в казенных ящиках отправлены были они в Россию, где и проданы с изрядным

---

[1] П. Барра, граф (1755—1829), один из главных деятелей великой французской революции; требовал казни короля безотлагательно; был самый твердый и решительный сторонник диктатуры якобинцев; впоследствии участвовал в низвержении Робеспьера; выдвинул Бонапарта, которому оставался верен все дальнейшее время; усилившись, Наполеон боялся его влияния и выслал его из Франции.

барышом. Конечно, это торговля, но вместе с тем и контрабанда. Находясь тогда в числе тысячи виновных, старался я извинить себя в собственных глазах.

Пробыв не более трех месяцев с половиной как бы в шумном водовороте, где на каждом шагу встречал я предметы удовольствия или отвращения, только налету мог я сделать свои замечания и наблюдения. Характер французов давно мне был известен; природа в каждого из них влила много добра и зла и все это переболтала, так что, если бы можно было химически разложить их, трудно было бы одно отделить от другого. Сколько мог, следил я за их политическими мнениями. С каждым годом они становятся неуловимее и изменчивее; от абсолютизма тысячью оттенками можно неприметно дойти до якобинца. Меня удивило совершенное забвение, которому парижане предали тогда Наполеона: ни порицаний, ни похвал ему не слыхал я. Видел я большое свободомыслие и вместе с ним ужас, который производили одно слово революция и воспоминание о ней. Вообще заметно было безотчетное, основательное презрение, впрочем, без ненависти, к королевской фамилии.

В составе общества [в Пензе, по возвращении в Россию], после пяти лет, также не нашел я никаких перемен. В наших отдаленных губерниях дворянские поколения следуют одно за другим, но названия их остаются почти все прежние. Правда, иные из них проматываются, беднеют от наследственных разделов; зато другие, часто их сыновья или внуки, посредством женитьбы, откупа или каким-либо другим позволенным или непозволенным средством опять наживаются. Таким образом имения, переходя из рук в руки, от одной фамилии к другой, все-таки по большей части остаются собственностью одной касты, освященной временем, составленной из людей, носящих давно известное имя. Они смотрят довольно спесиво на чиновников, насылаемых к ним из столиц; перед одними откупщиками, из какого бы состояния те ни были, готовы они преклонять выю.

Главное влияние на общество в губернских городах имели некогда губернаторы. Мы видели, как легкомысленный Голицын заставлял Пензу наряжаться и плясать даже

во время ужасов Отечественной войны; более для ее пользы он сделать не умел. На его место приехал Сперанский, ненавистный всему русскому дворянству. Он ударился с собою об заклад, что заставит его обожать себя, и заклад выиграл. Этот цвет бюрократии был в Александровской ленте, следственно вельможа по прежним понятиям; недавно управлял он государством. К такому человеку невольное чувствуется уважение; оно ограждало его от скучных, беспрестанных посещений людей, ему вовсе не равных по уму и знанию, хотя двери его были всегда на отперти, хотя всем был он доступен. Так иные государи не имеют нужды в страже, хранимы будучи народною любовью. Действительно, он казался Наполеоном на острове Эльбе. Может быть, к счастью, немногим дано понимать превосходство перед собою необыкновенных людей, постигать их высоту; число их завистников и врагов без того было бы слишком велико. Одни звездочеты могут измерять небеса и с точностью определять расстояние солнца от земли, или, по крайней мере, люди имеющие некоторое понятие об астрономии. Кому в Пензе было оценить великие свойства Сперанского и все его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверх того, подернуто всегда было облаком задумчивости и тем еще более скрывало свой блеск. Его тихий, приветливый голос и печальный взгляд до того обезоружили жителей, что они прощали ему явное невнимание его к их делам. Он брезгал своею должностью, когда бы ему следовало поднять ее до себя; мне кажется, так было бы лучше. Подобно Наполеону, не мог он с своей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему нужно было пять лет, и то через Сибирь, куда в начале этого 1819 г. назначен был он генерал-губернатором, чтобы воротиться в него, только уже не на прежнее могущество.

На его место назначен был также опальный друг его, Федор Петрович Лубяновский, который и прибыл в Пензу месяца за полтора до приезда моего в нее. Он никогда так высоко не поднимался, как Сперанский, был неодинакового с ним характера; только участь их во многом имела сходство. Отец его (протоиерей Петр, говорили) принадлежал к малороссийскому дворянству. Я повторяю вопрос: до Екатерины существовало ли малороссийское дворянство? Были богатые и небогатые владельцы, чиновные и нечиновные, и

наконец, простые казаки. Родственник его (да полно, не родной ли дядя?), Захар Яковлевич Карнеев, весьма умный человек, впоследствии сенатор, открыл ему дорогу по службе. Будучи в тесной связи с мартинистами, он поручил его милостям фельдмаршала Репнина, великого их покровителя. Последний записал его сперва в Измайловский полк, а потом взял к себе ад'ютантом. Сначала, при Павле, князь Репнин был честим, но вскоре потом, как и все другие, попал к нему в немилость и принужден был оставить службу со всеми своими ад'ютантами. Он сохранил, однако же, довольно кредиту, чтобы внуку своему (что́ тогда было весьма трудно) выпросить дозволение ехать за границу; с ним и Лубяновский путешествовал по Германии и Италии. Дабы сколько-нибудь умножить благосостояние свое, он с пользою для себя употребил свободное время, стал переводить довольно изрядным русским языком тогдашних немецких мечтателей, Юнга-Штиллинга, Сведенборга и, между прочим, «Тоску по отчизне». По возвращении, молодой Репнин [1] женился на Разумовской, двоюродной сестре графини Кочубей, жены министра. По всем сим украинским связям Лубяновский, в чине коллежского асессора, попал к последнему в секретари. Должность эта была важная, ибо министры тогда не имели не только директоров, но даже и правителей канцелярии. Тогда Лубяновский познал истинное призвание свое: он не рожден был ни богословом, ни секгатором, ни литератором, а весьма искусным администратором и судьею. Без службы самые прежние произведения его остались бы неизвестны; но как все губернаторы имели до него дело, то всякой из них рад был угодить ему покупкою за дорогую цену сотни экземпляров совсем не распроданных его творений. Сие было слабым началом сделанной им огромной фортуны, по примеру начальника его Кочубея.

Он так быстро поднялся и так много прославился, что уже в 1809 году сам государь избрал его руководителем молодого принца Ольденбургского по правительственной части. Он пожалован статс-секретарем и вместе с тем назна-

---

[1] Это был кн. Н. Г. Волконский — брат известного декабриста, внук Н. В. Репнина по матери. В честь деда, за прекращением рода Репниных, Н. Г. Волконскому присвоена фамилия матери.

чен директором департамента путей сообщения. В Твери с Болотниковым разделили они между собою власть. Один забрал к себе в руки часть придворную, другой начал почитать себя главным директором путей сообщения и генерал-губернатором трех губерний, забывая, что принц только второстепенное тут лицо, и не угадав, что высокоумная великая княгиня долго не потерпит самоуправной власти двух наставников. Болотникова скоро умела она спровадить, умом же Лубяновского уважала и несколько времени выносила его. Но ум имеет разные свойства, и в числе их есть такт, врожденное чувство приличия, которое иногда приобретается и навыком; а этот человек был его вовсе лишен. С каждым днем становясь более дерзким, более повелительным с светлейшим начальником своим, он раз до того забылся, что самой великой княгине сказал что-то такое, чего бы не могла вынести и жена частного человека. Вообще замечена как между многими из коренных жителей Москвы, так и, начиная с архиереев, почти во всех воспитанниках духовных академий и семинарий какая-то беспощадность к чужому самолюбию. Екатерина Павловна не задумалась и в тот же день отправила курьера к государю с просьбою, чтобы Лубяновский был удален от должности, или ей самой дозволено было оставить Тверь. Во удовлетворение ее требования он был отставлен от службы с тем, чтобы, пока она жива, он принят в нее быть не мог. Она скончалась во цвете лет, и через четыре месяца после ее кончины он назначен в Пензу губернатором.

С городскими жителями [в Нижнем-Новгороде, в 1819 году] мы имели мало сношений, исключая одного, именно гражданского губернатора, Александра Семеновича Крюкова [1]. Он был при Екатерине офицером конной гвардии. Тогда была, так же как и ныне, не весьма похвальная мода разоряться на содержание преимущественно какой-нибудь иностранки или актрисы. Часто эти женщины, по приобретении большой части имения своих содержателей, с этим приданым за них же выходили замуж. Я не думаю, чтобы

---

[1] Два его сына были участниками заговора декабристов по Южному обществу. Оба получили хорошее образование.

скромная, прекрасная и бедная англичанка, к которой привязался Крюков, была в числе их; только сожитие их предшествовало их супружеству. Госпожа Бетанкур, также англичанка, в 1818 году посетив Нижний, познакомилась и сблизилась с сею единоземкою, женой вице-губернатора. А как в этом же году вышли большие неприятности у губернатора Быховца с ее мужем, то вследствие их первый был отставлен и, по ходатайству последнего, Крюков назначен был губернатором. Устрашенный примером своего предместника и обязанный новою должностью своею Бетанкуру, г. Крюков, и без того слишком мягконравный, совсем отдал себя ему в кабалу. Он казался чиновником, принадлежащим к его свите, и со всеми нами, особенно со мною, был не только ласков, даже угодлив. А меня это возмущало: я видел в этом совершенный упадок губернаторского звания, которое, вспоминая отца моего, так высоко я ценил.

Мы часто его посещали: дом его вместе с нашим и с домом барона Боде составлял как бы один. За неимением казенного губернаторского дома жил он в собственном весьма изрядном, пестро и довольно изукрашенном. Лучшим украшением оного служила единственная дочь его, очень молодая, но уже замужняя, княгиня Надежда Александровна Черкасская. Она еще более походила на англичанку, чем мать. Пусть заглянут в лучший английский кипсек и выберут прелестнейшее из женских лиц: с ним только можно сравнить красоту ее в восемнадцать лет. Старость или безобразие мужа красивой жены всегда у людей влюбчивых рождают надежды, умножают желания. Князь Черкасской хотя был молод, богат, но при весьма подлой наружности был самая бессловесная тварь. Вот отчего, начиная от шестидесятипятилетнего Бетанкура до четырнадцатилетнего сына его Альфонса, мы все были влюблены в его княгиню. Она же смотрела так невинно и благосклонно вместе, что не любить ее было столь же невозможно, как ревновать или подозревать в чем-нибудь. Я не понимаю, как отец ее не воспользовался сим нежным расположением нашего старика, чтобы держать его в своей зависимости. Напротив, сей последний необычайную его снисходительность, по мнению моему, часто слишком употреблял во зло.

Среди сего малого круга жил я до половины июля. Город был весьма немноголюден; в нем оставались одни только должностные лица; помещики же все раз'ехались по деревням и вместе с толпами иногородных к началу ярманки должны были только приехать; следственно мне никакого почти не было случая с ними познакомиться. С барабанным боем 15 июля ярманка была открыта; но никого почти еще не было, и купцы только-что начинали раскладывать свои товары. Прежде, бывало, оканчивалась она 25-го числа, в день святого Макария, а с перенесением ее в Нижний-Новгород каждый год опаздывают с ее открытием, так что 25 июля едва начинается она, а торг продолжается весь август.

Сделать подробное описание этой знаменитой ярманки считаю здесь ненужным, да и невозможным; ибо из бумаг о сем предмете, бывших у меня в руках, не сохранил я ни одной.

Маленький город, с маленьким дворцом, с храмами православным и иноверными, в котором полтора месяца кишит до двух сот тысяч приезжих и пришедших, не удалось мне видеть, а только возвышение грунта для его построения. Что же касается до временной ярманки, я находил, что, в самом большом размере, она походит на пензенскую. Также из досок сколоченные ряды, только в некотором от них расстоянии прочные строения, театр, трактиры, бани. Там только во всякое время дозволено было разводить огонь. Не знаю почему один купец Колесов серед ярманки пользовался тою же привилегией. У него, говорили, была молодая жена, которую он ко всем ревновал, с которою не хотел разлучаться и для того, за большие деньги, выпросил себе право построить хотя временное, но прочное помещение. Он был царем китайской у нас торговли, через его руки проходил весь чай, который распивается в России, и одних пошлин, говорили, платил он более ста тысяч рублей ассигнациями. Такому человеку снисходительность оказать можно было. Невидимая часть ярманки была самая важнейшая: оптовая продажа и вообще все большие торговые сделки, которые, за неимением биржи, совершались на домах.

Я упомянул о временном ярманочном театре; был еще в городе другой, деревянный, постоянный. Надобно знать, что

в царствование Екатерины, когда русские бегом бежали навстречу к просвещению, они воспринимали преимущественно, как народ молодой, все новые забавы, которые представлял им Запад: оттого-то так много расплодилось домашних оркестров и трупп. В каждом губернском городе был обыкновенно один помещик-забавник или, лучше сказать, забавитель публики. В одной Пензе, как видели, было их некогда трое. Сего мало: почти в каждой губернии был еще один помещик-тиран, обыкновенно человек богатый, а иногда знатный и чиновный. Безответные крестьяне и дворня не имели никаких причин на них жаловаться: зато горе соседям, не только мелкопоместным, даже зажиточным дворянам, когда они отказывались исполнять их прихоти. Первых они дарили, последних часто угощали у себя грубо-роскошною трапезой. Но коль скоро произойдут какие-нибудь несогласия, возбудится в них досада, они не удовольствуются одними обыкновенными неприятностями: потравой полей, порубкой леса: они посягали на их личность, с ватагой врывались в их селения с тем, чтоб иногда предавать их телесному наказанию. Непонятно, как такое жестокое самоуправие могло быть терпимо. Для такой нравственной силы, однако, богатства было бы недостаточно: нужны были смелость и великая твердость воли. Зато эти люди всем располагали на выборах: исправники трепетали пред ними, и сами губернаторы старались обходиться с ними осторожнее.

Учредителем нижегородского театра был меньшой брат богатого в Москве князя Бориса Григорьевича Шаховского, бедный князь Николай Григорьевич. Оба одержимы были сильно сценоманией, но старший имел актеров для своей забавы, меньшой для прибыли. Странно видеть человека, когда он берется совсем не за свое дело: этот Шаховской не имел никакого понятия ни о музыке, ни о драматическом искусстве, а между тем ужасным образом законодательствовал в своем закулисном царстве. Все, чтó ему казалось несколько неприличным или двусмысленным, он беспощадно выкидывал из пьес; в труппе своей вводил монастырскую дисциплину, требовал величайшей благопристойности на сцене, так чтобы актер во время игры никогда не мог коснуться актрисы, находился бы всегда от нее не менее, как

на аршин, и когда она должна была падать в обморок, только примерно поддерживал ее. После того можно себе представить, как движения их были свободны и ловки. Я не имел довольно пристрастия к Пензе, чтобы актеров ее предпочесть нижегородским, однако ж и этим перед теми преимущества дать не могу; вообще, трудно мне решить, которые из них были хуже. Вот еще одна странность Шаховского: он находил (вероятно, из экономических видов), что сцена производит гораздо более эффекта, когда она одна только освещена, а все другие части театра погружены во тьму. Оттого-то в партере можно было в жмурки играть, а в ложах, чтобы рассмотреть друг друга в лицо, всякой привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы. И этот друг Талии и Момуса был молчаливый, мрачный и невзрачный старичок. У него была жена гораздо моложе его, отменно добрая, но без всякого образования, да три подрастающих дочери, которых после, не знаю, кому он роздал.

Сверх того, в самом городе была еще зала, не весьма огромная и не весьма красивая, в которой собирались дворяне выбирать друг друга в должности, а зимой играть в карты и танцовать. Я видел ее еще до ярманки, когда дворянство Бетанкуру давало бал. Постоянным старшиной этого собрания был тот же самый печальный Шаховской, следственно, — источником всех городских увеселений.

Я представил веселую, забавную (хотя не слишком) сторону тогдашнего нижегородского житья, а затем вот и ужасная. Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович. Я уже означил вкратце деяния его, когда говорил о подобных ему, коих число, впрочем, не было велико и из коих один только рязанский Лев Дмитриевич Измайлов мог равняться с ним в необузданности. Не знаю, первые ли шаги его ознаменованы были насилиями, или он постепенно достиг до власти, ни на каких законах не основанной?

Царского происхождения, с полуденною кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Ма-

карьева. Все приезжие, покупатели и торгующие, находя в Лыскове гораздо более удобств и простора, нанимали тут квартиры во время ярманки, и это время для Грузинского было самое блистательное и прибыльное в году, так что с каждым годом, казалось, сила его умножается. Переведение этого огромного торжища в Нижний-Новгород нанесло первый, но решительный удар его могуществу. Я не нашел его столь страшным, хотя показалось мне, что глаза его выражают еще утихающую бурю. Видно, к приезжим был он милостивее; ибо я не могу нахвалиться его приемом, когда у него обедал. Он был в это время вдов: жена его, урожденная Бахметьева, скончалась во цвете лет, замученная столько же частыми из'явлениями его бешеной любви, как и порывами его неукротимого гнева, и оставила ему сына и дочь. Сын, офицер гвардии, умер еще в молодости; а единственная, прелестная тогда дочь его убегала общества и, вопреки обычаям других красавиц, столь же тщательно скрывала красоту свою, как те ее любят показывать. Впоследствии она была замужем за одним весьма мне знакомым графом Толстым [1]. Не знаю, как ныне, а прежде в некоторых губернских городах существовала еще одна особенная должность, не показанная в высочайше утвержденных штатах, а не менее того полуофициальная, должность не жены, а подруги губернатора. В Нижнем исправляла ее тогда одна госпожа Жданова, дочь почтмейстера Руднева. Ей было лет за тридцать, а она была еще женщина свежая, красивая, видная. Лет восемнадцати вступила она в нее; с тех пор пе-

---

[1] Ее набожность, ее уединенная жизнь до высочайшей степени возбуждали любопытство праздных провинциалов; от того множество догадок, выдумок. Пострижение в монахи одного юноши, воспитанного в доме отца ее, подало мысль о целом романе. Утверждали, что когда влюбленные признались князю во взаимной страсти, он об'явил им, что брак их дело невозможное, ибо молодой человек его побочный сын и на сестре жениться не может; тогда оба дали обет посвятить себя монашеству. Одна путешественница, английская леди, бывшая в Москве, посетила и Троицкую лавру, где отец Антоний, мнимый любовник, был тогда наместником. Ей рассказали о поэтическом начале его жизни, она составила из этого трогательную повесть и напечатала ее в одном великолепном кипсеке. А я полагаю, что, наследуя упрямство отца, девица просто отказывалась от света, потому что он желал ее видеть в нем и того требовал. Авт.

ременились три или четыре губернатора: она оставалась верна не человеку, а месту. Всякий новый начальник губернии спешил утвердить ее в избранном ею звании. Должно полагать в ней, так же как в польках и еврейках, чрезмерную любовь ко власти. Впрочем, хотя всюду была она принята, но везде с холодностью. Снисходительного супруга, всегда жившего с нею в согласии, мне не случилось видеть или, лучше сказать, заметить. Желая ничего примечательного не пропустить в посещенном мною городе, упомянул я и о ней.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

К началу 1820 года вновь созрели плоды, посеянные еще в пятнадцатом столетии сперва богословами, потом философами. От века до века жатва их делается обильнее. Во все времена бывали восстания против злоупотреблений власти первосвященников и царей; но с этой поры люди, внимая гласу возмутителей, стали ополчаться для совершенного истребления этой власти. В шестнадцатом столетии пол-Германии и весь север Европы отвергли постановления вселенских соборов; в семнадцатом Англия первая подала пример законного или скорее судебного цареубийства; в восемнадцатом Франция последовала сему примеру. Освободясь от опеки и вступая таким образом в совершеннолетие, человеческий ум стал действительно преуспевать и расширяться. Он все вопросил, все подвергнул рассмотрению, исследованию: и догматы веры и права, освященные временем. Свет наук стал быстрее распространяться; но по мере как новые изобретения с каждым днем создавали для человека новые удобства, новые наслаждения в жизни, законы нравственности все более теряли свою силу. Все для ума, для тела; ничего для души, которой и в существовании скоро стали отказывать. Не вдруг, но, наконец, та же участь постигла художества и поэзию. Во дни молодости своей Европа без числа производила гениальные творения резца, кисти и пера. В эти только дни могла породить она Тасса, Рафаэля и Микель-Анджело и все эти блестящие фаланги, которые под названием школ украшали собою между прочим Гишпанию и Фландрию. Источник всего прекрасного стал, наконец, иссякать, воображение юных народов гасло и уступало место мрачным и преступным думам зрелого возраста. Итак, в Германии

произошла религиозная революция, которая направляла человечество к политической; сия последняя совершилась во Франции; согласно с духом сего народа началась она шутками и кончилась ужасами. Кажется, непременно нас поведет она к общественной или социальной, то есть к ниспровержению целого общественного здания. Тогда-то человечество уподобит себя божеству, сокрушая то, что создавало.

И где же показалось первое зарево нового пожара? В стране верноподданничества, среди народа, который шесть лет сражался с сильнейшим врагом, ничего не щадил, всем жертвовал, чтобы избавить от плена законного короля своего. В самый день нового 1820 года, 1 января нового стиля, вспыхнуло возмущение в Кадиксе и вскоре распространилось по всей Гишпании. К удивлению целого мира, встретились в этой стране конституция с инквизицией, демократические постановления с грандессой и либерализм с иезуитами; первые, разумеется, изгнали последних. Но как могла совершиться такая быстрая, неимоверная перемена в повериях и навыках народа совсем нелегкомысленного? Во время продолжительного союза с Францией гишпанцы если не приняли еще республиканских идей, то ознакомились уже с ними. Когда же их народному самолюбию нанесена была жесточайшая обида; когда чужеземный владыка, без их ведома, даже без права завоевания; стал располагать их престолом, они вступились более за честь свою, чем за отсутствующего короля. Шесть лет потом, не видя его посреди себя, начали они отвыкать от его власти. Кортесы управляли ими, а великодушная Великобритания, великая их помощница, предписывала законы свои на всем полуострове и, внушая им свободомыслие, потрясала в них и самую веру.

Непонятно, как так долго бесчеловечная политическая система Англии оставалась неразгаданной? Она одна безнаказанно, безопасно умеет пользоваться свободой, народу своему всегда мастерски выставляя ее призрак. Правительство всегда умеет обуздывать его безрассудные порывы, опираясь на древние учреждения свои, как на столпы готических своих храмов, и карая его силою законов, которые успело в глазах его сделать оно священными. Англия

не что иное, как торговый дом в самом гигантском размере; Англия и компания, то есть правительство и камеры; они связаны общими огромными выгодами; все спорят, иногда ссорятся, но до разрыва никогда дойти не могут. И вся эта меркантильность покрыта блеском короны, роскошью и славою знаменитых имен. Ничего столь чудовищно-чудесного, ничего подобного Англии в мире не бывало, и смело можно сказать — никогда не будет. А она примером своим ищет ослепить другие народы, зная, что мятежи сокрушат у них государственные силы, убьют промышленность и таким образом предадут их в ее руки.

С одной только Францией у нее вековая наследственная вражда. Но стала ли бы она так ополчаться на ее революцию, если бы безумные, от крови опьяневшие демагоги, французские правители, сами не полезли на драку? Правда, когда получено известие о падении личного врага ее, Людовика XVI, посланнику Шовелену воспрещен был приезд ко двору; но это была одна только благопристойность. К тому же война с Францией, на которую вооружала она всю Европу, представляла ей тысячу выгод. Истребляя или захватывая все слабые ее флоты, она уничтожала всякое соперничество на море и облегчала тем себе завоевания ее колоний и островов. С Наполеоном, восстановителем порядка, лишившим ее торговли целой Европы, еще менее могла она мириться. Во время же борьбы с ним должна была она казаться защитницей монархических прав.

Только в гишпанских делах обнаружилась вся ее недобросовестность. Ей приятно было видеть, как сердца гишпанцев остыли к поддержанному ею до конца союзнику Фердинанду VII, когда возвратился он из плена. Он был упрям, сердит, слаб умом, к сожалению, слаб и характером там, где необходимо показать твердость. Он защищал права свои, кои почитал священными, и был строг в наказаниях с теми, кои восставали против них. Английские журналы сделали из него величайшего злодея. Правление короля французского было постоянной критикой правления гишпанского короля, и столица, где царствовала старшая линия Бурбонов, была верным убежищем для спасшихся бегством врагом младшей, оттуда могли они смело и свободно составлять против нее заговоры. Как ни кричали

тогда, участь Фердинанда мне всегда казалась достойною сожаления.

Любопытно было видеть, как Англия в это время постановила правилом невмешательство в дела чужих народов, она, которая так недавно назначала своего Веллингтона тюремщиком Франции, и он три года сохранял сию должность. Это значило, что всякое государство имеет право тайно возбуждать народы против правительства ему неприязненного, но ни одно не должно осмелиться усмирять первых; одним словом, это значило, что государи, в случае восстания подданных, лишаются всякой надежды на помощь соседей. Известие о происшествии в Кадиксе принято было в Лондоне правительством, как все последующие затем известия о возмущениях, с притворно-равнодушным одобрением. Общество же, журнализм и все состояния приветствовали его с непритворно-радостными похвалами. Сколь счастливыми должны были почитать себя гишпанцы, имея столь добрых союзников! Но вскоре потом отечество их лишилось лучшего достояния своего — всех заокеанских владений: Перу, Хили, Мексика отторгнулись от них и составили из себя новые республики. Англия первая признала их независимость и поспешила войти с ними в дипломатические и торговые сношения. Такое бесстыдство изумило бы и в частном человеке, хотя бы он был признан от'явленным мошенником.

Не знаю, до какой степени гишпанская революция огорчила Людовика XVIII; только, вероятно, любимый министр его, либерал Деказ, старался в глазах его уменьшить ее важность. Но не прошло шести недель после ее взрыва, как убиение племянника его, герцога Беррийского, открыло ему весь ужас истины. Старик показал некоторую энергию, и решительные меры, им принятые, не допустили тогда профессоров революции, французов, последовать примеру учеников своих гишпанцев.

На нас мятеж, в стране от нас столь отдаленной, первоначально не сделал никакого впечатления. Исключая одного человека, и при дворе немногие им занялись. Скоро увидели, что дело идет не на шутку: на всем протяжении Европы послышался какой-то гул; везде как бы глухие отклики на страшный призыв. Как во время пожара сильным

вихрем далеко иногда заносятся воспламененные отломки и зажигают здания, повидимому, вне опасности находившиеся, так и тогда внезапно там и сям показывалось пламя мятежа. Вспыхнули Португалия, Неаполь, Сардиния, а в следующем году и Греция. Еще скорее сие пагубное действие можно было сравнить с электрическим проводником, который в минуту пожирает великое пространство; ибо порывы бури, возникшей на берегах Таго, к концу года (хотя весьма слабо) отозвались и на берегу Невы.

Молодая Германия, новое поколение, возросшее среди унижения своего отечества, воспитанное в университетах, вскормленное ненавистью к насилиям Наполеона, возгордившееся своим освобождением, себе одному его приписывая, и жаждущее совершенной свободы, ему обещанной, смотрело с радостию на происшествия сего года, не решаясь однако же принять в них большого участия. Немцы не то что французы: глупостям, которые они делают, всегда должны предшествовать продолжительные и глубокие размышления.

Но что должен был восчувствовать император Александр, увидев, что основанное им так непрочно? Священный союз, для блага народов им поставленный, спешили они с бешеным усилием разорвать. У великих душ всегда и высокая цель; общему благу часто жертвуют они самолюбием и когда увидят ошибки свои, спешат их поправить. Одни слабые умы хотят, чтобы их почитали непогрешимыми. Совершенную перемену в образе мыслей государя своего увидели русские из его действий. К сожалению, первое, которое обнаружило то, можно было почитать несправедливостию.

Три года прошло, как семнадцатилетний Александр Пушкин был выпущен из лицея и числился в иностранной коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения. Кому было остановить, остеречь его? Слабому ли отцу его, который и умел только что восхищаться им? Молодым ли приятелям, по большей части военным, упоенным прелестями его ума и воображения и которые, в свою очередь, старались упаивать его фимиамом похвал и шампанским вином? Театральным ли богиням, с коими про-

водил он большую часть своего времени? Его спасали от заблуждений и бед собственный сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся, чувство чести, которым весь был он полон, и частые посещения дома Карамзина, в то время столь же привлекательного, как и благочестивого.

Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый, остроумный мальчик не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен: наука, которая ныне с каждым годом более забывается.

Молодежь, охотно повторяя затверженные либеральные фразы, ничего не понимала в политике, даже самые корифеи, из которых я иных знал; а он, если можно, еще менее, чем кто. Как истый поэт, на весне дней своих, подобно соловью, он только любил и пел. Как опыт, написал он уже чудесную свою поэму «Руслан и Людмила», а между тем как цветами беспрестанно посыпал первоначальное свое поэтическое поприще прелестными мелкими стихотворениями.

Из людей, которые были его старее, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского зáмка, что ныне Инженерный, и к ним, то-есть к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые волнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостию членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны; слегка похвалив свободу, доказывал он, что будто она одна правителей народных может спасать от ножа убийцы; потом с омерзением и ужасом говорил в них о совершивших злодеяния в зáмке, который имел перед глазами. Окончив, показал стихи и не знаю почему назвали их «Одой на свободу». Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много

ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда [1].

Заметя в государе наклонность карáть то, чтó он недавно поощрял, граф Милорадович, русский Баярд, чтобы более приобрести его доверенность, сам собою и из самого себя сочинил нечто в виде министра тайной полиции. Сия часть, с упразднением министерства сего имени, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан и который неохотно ею занимался. Для нее был нужен человек государственный, хотя бы не весьма совестливый, как у Наполеона Фуше, который бы понапрасну не прибегал к строгим мерам и старался более давать направление общему мнению. Отнюдь не должно было поручать ее невежественным и пустоголовым ветреникам, коих усердие скорее вредило, чем было полезно их государям, каковыми были, например, Милорадович и другой, которого здесь еще не время называть [А. Х. Бенкендорф].

Кто-то из употребляемых Милорадовичем, чтобы подслужиться ему, донес, что есть в рукописи ужасное якобинское сочинение под названием «Свобода» недавно прославившегося поэта Пушкина и что он с великим трудом мог достать его. Сие последнее могло быть справедливо, ибо ни автор, ни приятели его не имели намерения его распускать. Милорадович, не прочитав даже рукописи, поспешил доложить о том государю, который приказал ему, призвав виновного, допросить его. Пушкин рассказал ему все дело с величайшим чистосердечием; не знаю, как представил он его императору, только Пушкина велено... сослать в Сибирь. Трудно было заставить Александра отменить приговор; к счастию, два мужа твердых, благородных, им уважаемых, Каподистрия и Карамзин, дерзнули доказать ему всю жестокость наказания и умолить о смягчении его. Наш поэт причислен к канцелярии попечителя колоний южного края генерала Инзова и отправлен к нему в Екатеринослав,

---

[1] Имеется в виду ода «Вольность», написанная в 1819 году. Автограф ее сохранился в бумагах А. И. Тургенева; остальные подробности у Вигеля расходятся с фактами, установленными позднейшими изысканиями о творчестве Пушкина.

не столько под начальство, как под стражу. Это было в мае месяце.

Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен: надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедывал. Он был в отношении к свободе то же, чтó иные христиане к религии своей, которые не оспаривают ее истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном ее имени. И внезапно ни за чтó, ни про чтó, в самой первой молодости оторвать человека ото всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей! Мне кажется, у меня сердце облилось бы желчью и навсегда в ней потонуло. Если бы Пушкин был постарее, его могла бы утешить мысль, что ссылка его, сделавшись большим происшествием, об'явлением войны вольнодумству, придаст ему новую знаменитость, как и случилось.

Если император Александр имел намерение поразить ужасом вольнодумцев, за безделицу не пощадив любимца друзей русской литературы, то цель его была достигнута. Куда девался либерализм? Он исчез, как будто ушел в землю; все умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен. Люди, которые как попугаи твердили ему похвалы, скоро забыли о нем, как о брошенной моде. Небольшое же число убежденных или злонамеренных нашли, что пришло время от слов перейти к действиям, и под спудом начали распространять его. И тогда начали составляться тайные общества, коих только пять лет спустя открылось существование [1].

Вольнолюбивые мнимые друзья Пушкина даже возрадовались его несчастию; они полагали, что досада обратит его, наконец, в сильное и их намерениям полезное орудие.

---

[1] Тайные общества, из которых вырос заговор декабристов, возникли еще в 1817 году.

Как они ошибались! В большом свете, где не читали русского, где едва тогда знали Пушкина, без всякого разбора его обвиняли, как развратника, как возмутителя. Грустили немногие, молча преданные правительству и знавшие цену не одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Они за него опасались; они думали, что отчаяние может довести его до каких-нибудь безрассудных поступков или до неблагородных привычек и что вдали от нас угаснет сей яркий луч нашей литературной славы. К счастию, и они ошиблись.

О делах политики говорю я всегда по необходимости и тогда только, когда они находятся в связи с внутренними делами нашего государства. Внутри его, даже во дни Наполеона, мало или совсем почти о них не думали; в одном только Петербурге беспрестанно занимались ею, то-есть политикой, или лучше сказать им, то-есть Наполеоном: другой тогда быть не могло. Смотря по сомнительным или решительным успехам его, говорили то со страхом, то с надеждой, то с унынием. После падения его в провинциях, да я думаю, даже и в Москве, заграничное стали забывать полагая, что там все покойно, и, получая и политические журналы, внимательны были к одному модному. То же самое было бы и в Петербурге, если бы не вошло в обычай в образованном свете хоть что-нибудь да сказать о конституциях, дабы казаться сведущим. Некоторая часть, и самая малая, нового возмужавшего поколения толковала все о теории представительных правлений. Не имея никаких основательных познаний, эти господа (исключая разве одного Николая Тургенева) совсем не понимали этого предмета и сами не знали, чего хотят. Во всем этом было чрезвычайно много детского.

Так застал нас 1820 год. Так как он богат был происшествиями, а служба моя обильна досугами, то внимание мое вновь устремилось на Европу. Нет ничего ни веселого, ни приятного в этих воспоминаниях; но дабы кончить рассказ и не прерывать нить его, в одной этой главе хочу поместить все примечательное из тогдашних событий.

Александр, как известно, любил лично находиться на конгрессах. Триумвираты священного союза согласились для того осенью с'ехаться в Троппау. Но наперед отправился

государь в Варшаву для открытия сейма. Поляки (то-есть, магнаты-паны, ибо в Польше народ всегда шел ни по чем), почуя распространяющийся в Европе революционный дух, были вне себя. Заседания сейма делались шумны, речи дерзки до того, что, для обуздания их, конституционный король должен был призвать на помощь русское самодержавие свое. И какое счастие это было для России! Не раз доказывал я, сколь часто враги ее обращались в орудия ее спасения, успехов или славы. С самого начала Александр не скрывал намерения отнять у России силою ее оружия возвращенные ею отторгнутые от нее западные ее области (Подолию, Волынь, Минск и Литву) и усилить ими Польшу. Нетерпеливое безумие этих сорванцов на неопределенное время отдалило тогда исполнение сего намерения, пагубного для обеих наций.

С каким стыдом, с каким раскаянием благонамеренный Александр должен был внутренно сознаться в ошибках своих! Он взялся врачевать человечество и увидел, сколь вредна метода лечения его. Впрочем, не знаю, можно ли обвинять и поляков. Чтó сделали они? Пользовались дарованными им правами, смело выражали свои мысли. По большей части люди, даже опытные и пожилые, остаются вечно старыми детьми. Зачем же ребятам давать сласти и требовать, чтобы они их не ели? И можно ли с народом обходиться, как с любимой собакой: держать над ним лакомый кусок и твердить: tout beau? В Троппау новая печаль постигнула государя; но дабы говорить об ней, нужно об'яснить прошедшее.

Любимым полком императора, коего при отце еще был он шефом, Семеновским полком командовал генерал-ад'ютант Яков Алексеевич Потемкин, отлично храбрый офицер, но раздушенный франтик, который туалетом своим едва ли не более занимался, чем службой. Офицеры любили его без памяти, и было за чтó. В обхождении с ними был он дружественно вежлив и несколько менее взыскателен перед фронтом, чем другие полковые командиры. Дисциплина от того нимало не страдала. При поведении совершенно неукоризненном, общество офицеров этого полка почитало себя образцовым для всей гвардии. Оно составлено было из благовоспитанных молодых людей, принадлежащих к луч-

шим, известнейшим дворянским фамилиям. Строго соблюдая законы чести, в товарище не потерпели бы они ни малейшего пятна на ней. Сего мало: они не курили табаку, даже между собою не позволяли себе тех отвратительных, непристойных слов, которые сделались принадлежностию военного языка. Если которого из них увидят в Шустерклубе, на балах Крестовского острова или в каком-нибудь другом подозрительном месте, из полку общим приговором был он изринут. Они составляли из себя какой-то рыцарский орден, и все это в подражание венчанному своему шефу. Они видели в себе частицы его самого, мелкую его монету с его изображением, и самое их свободолюбие проистекало из желания ему сколько-нибудь уподобиться. Их пример подействовал и на нижние чины: и простые рядовые возымели высокое мнение о звании телохранителей государевых. Семеновец в обращении с знакомыми между простонародья был несколько надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро сделались ненужны: изъявление неудовольствия, строгий взгляд, сердитое слово были достаточными исправительными мерами. Все было облагорожено так, что, право, со стороны любо-дорого было смотреть.

В этом отборном полку примечательны были два брата Муравьевы. Отец их Иван Матвеевич, любезник и красавец времен Екатерины, был двоюродным братом не раз упомянутому Михаилу Никитичу и по жене или по матери вместе с имением принял фамильное имя предка ее, гетмана Даниила Апостола. Великая была в нем способность к изучению языков: он прекрасно, безошибочно говорил на всех европейских и очень хорошо писал по-русски. Умный, но легкомысленный человек, он, кажется, убеждений, собственных мыслей не имел. Таких людей, как он, ныне много, и их можно назвать либеральствующими аристократами. Сперва занимал он должность посланника в Мадрите, а потом, чем-то недовольный, жил долго за границей без службы и в Париже воспитывал двух старших мальчиков своих.

Там набрались они идей, которые так благосклонно были принимаемы в их отечестве, когда они начали ему служить. Старший, Матвей, казался угрюм и, верно, любезность свою берег про приятелей, ибо они одни его без ме-

ры восхваляли. Другой, Сергий, был гораздо живее, блистательнее, приманчивее. Оба были идолами полку своего. Воспитанные во Франции, они могли если не основательнее, по крайней мере толковитее говорить о предмете, о коем однополчане их рассуждали, ничего о нем не понимая, и оттого были они оракулами их. Муравьевы-Апостолы, равно как и другие семеновские офицеры, охотно посещали хорошее общество, где были отлично приняты. Понятия, которые имели в большом свете о любезности молодых людей, в последнее время несколько изменились. Быть неутомимым танцовщиком, в разговорах с дамами всегда находить что-нибудь для них приятное, в гостиных при них находиться неотлучно: все это перестало быть необходимостью. Требовалось более ума, знаний; маленькое ораторство начинало заступать место комплиментов. Исполняя часть сих условий, семеновские офицеры продолжали быть развязны, ловки, учтивы и не совсем чуждались танцев. И вот это-то было вовсе не по вкусу их нового бригадного начальника.

Три последние поколения царствующего дома, как всем известно, имели... как бы сказать, слабость, страсть или манию к фронтовой службе. Может быть, это самое дало русскому войску всеми признанное превосходство перед другими европейскими армиями. Я не берусь о том судить; только требуемая лишняя исправность совсем была не в русском духе. В первые деятельные годы царствования Александра у него на все доставало́ времени; к тому же, в деле устройства гвардии и армии имел он славного помощника, брата своего Константина Павловича. Когда же судьбою поставлен был он на страже, дабы блюсти спокойствие Европы, и все помышления его были устремлены на сей предмет, то уже невозможно было ему входить во все подробности, мелочи обмундировки и маршировки; брат же его цесаревич переселился уже в Варшаву. Но подросли и мужали меньшие два брата его, из коих особенно младший, Михаил Павлович, как будто для этого дела был рожден.

Все старания благочестивой, просвещенной матери, для России вечно памятной императрицы Марии Федоровны, которая часть времени своего посвящала воспитанию младших детей своих, остались тщетны. Ничего ни письменного, ни

печатного он с малолетства не любил. Но при достаточном уме с живым воображением любил он играть в слова и в солдатики: каламбуры его известны всей России. От гражданской службы имел совершенное отвращение, пренебрегал ею и полагал, что военный порядок достаточен для государственного управления. Самое высокое понятие имел он о военной иерархии, так что звание начальника полка, бригады, а кольми паче корпуса или армии, гораздо более льстило его самолюбию, чем великокняжеский сан его. И он дивился, как сами министры с гражданским чином не вытягивались перед последним генералом.

Он создал себе идеал совершенства строевой службы и не мог понять, как все подчиненные его не стремятся к тому. Перед фронтом был он беспощаден, а в частной жизни был добросердечен, сострадателен, щедр, особенно же к жертвам своим, офицерам и солдатам.

Сделавшись начальником бригады, в которой находился Семеновский полк, он с крайним неудовольствием смотрел на щеголеватые формы офицеров сего полка. По приглашениям они ездили на все большие званые балы. Как можно заниматься удовольствиями света людям, которых единственным помышлением, жизнью их, должны быть полковые учения, караулы, выправка солдат? По чрезвычайной молодости своей не позволял он еще себе быть слишком строгим с полком, усыновленным самим государем, хотя и сам он, особенно же по усердию его к делам службы, был им любим, как сын родной.

Видя, какое действие произвели на Александра европейские происшествия, он воспользовался тем, чтобы представить ему, сколь вреден всем известный образ мыслей будто бы целого полка, чтó доказывалось будто бы пренебрежением его к фронту. Для исправления его предложил он встреченного им во время путешествия по России чудесного фронтовика, который, беспрестанно содержа семеновцев в труде и поте, выбьет из них дурь. К сожалению, государь согласился и в самый светлый праздник командира Екатеринославского гренадерского полка, полковника Шварца, назначил командиром Семеновского вместо генерала Потемкина, которому оставлена была гвардейская дивизия.

Этот Шварц был из числа тех немцев низкого состояния, которые, родившись внутри России, не знают даже природного языка своего. С черствыми чувствами немецкого происхождения своего соединял он всю грубость русской солдатчины. Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом. Не давая никакого отдыха, делал он всякий день учения и за малейшую ошибку осыпал офицеров обидными словами, рядовых — палочными ударами; все страдало нравственно и физически. Не говоря уже о Семеновском полку, другие смотрели на то с ужасом и рассуждали между собою, что если так поступают с любимцами, какая же участь их ожидает?

Конечно, до 1812 года дворянство было недовольно Александром и роптало на него; но войско всегда равно оставалось ему преданным; после же взятия Парижа никто без восторга не произносил его имени. Но то, чего не могли военные поселения и Аракчеев, удалось Михаилу Павловичу со Шварцом, и то в одном Петербурге и только между военными. Явной хулы никто еще не позволял себе, но при его имени все хранили угрюмое молчание. Я видел, как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени переходить в кроваво-красный, каким он ныне на Западе. Раз случилось мне быть в одном холостом, довольно веселом обществе, где было много и офицеров. Рассуждая между собою в особом углу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни: Veillons au salut de l'Empire [1] богомерзкие слова ее, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу. Я их не затверживал, ни записывал; но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас.

[1] Пойдем спасать империю.

У меня волосы встали дыбом. Заметив мое смущение, некоторые подошли ко мне и сказали, что это была одна шутка и что мысли их вовсе не согласны с содержанием этой песни. Я спешил поверить им и самого себя успокоить.

В первой половине ноября, шедши пешком по Гороховой улице, встретил я Сергея Муравьева с каким-то однополчанином. «Чтó с вами? — спросил я его; — мне кажется, вы нездоровы». — «Нет, здоров, — отвечал он, — только не весел: радоваться нечему». — «И полноте, — сказал я: — скоро царь придет; он не даст детей своих в обиду; потерпите, надейтесь». Грустно взглянув на меня, промолвил он: «Vivere in sperando, morire in cacando» [1], — поклонился и пошел далее. Боюсь, сказал я сам себе: он что-то недоброе замышляет!

Неделю спустя после того, в один из ноябрьских [октябрьских], более осенних, чем зимних дней, 18-го числа, погода была ужасная, так что на свет не хотелось бы смотреть. Холодный мрак покрывал небо и землю; густой туман, рассеявшись, превратился в дождик со снегом, и зловонное тесто коричневого цвета лежало на мостовой. Я продолжал жить близ Семеновского моста и все это утро оставался дома, как слуга мой, вошед в некотором замешательстве, сказал мне, что слышал в лавочке, будто бы взбунтовался весь Семеновский полк. «Быть не может, — сказал я. — Впрочем, отсюда близко, сбегай и разузнай». Возвратясь скоро, он донес мне, что действительно вся площадь перед гошпиталем наполнена солдатами, неподвижно стоящими в шинелях и без ружей; но зачем и почему они тут, этого не мог дознаться.

Известно сделалось в продолжение дня, что на рассвете все нижние чины, в один час и минуту, как бы по данному сигналу, высыпали из казарм, собрались и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что, исключая того, готовы исполнять все, чтó им прикажут. Тщетно старались обратить их к порядку корпусный начальник, почтенный Ларион Васильевич Васильчиков, другие генералы и сам великий

---

[1] Жить в надежде — умереть в навозе.

князь; они остались непреклонны. Сия мирная демонстрация не менее того сильно встревожила жителей Петербурга, особенно же высшее общество; может быть, в иных людях других сословий и возродила она преступные надежды. На другой день все успокоились, узнав, что три тысячи человек, внимая единому повелительному слову, признали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.

Все были уверены, что все было ими сделано по научению офицеров; но такова была твердость сих русских воинов, такое доброе согласие между ними и такая преданность к начальникам своим, что при допросах они ни на которого не показали. Последних же похвалить нельзя; в их поступке видны легкомыслие и некоторая робость: выставляя орудия, они надеялись скрыть руку [1].

Любопытно было знать, как примет это государь, который находился тогда в Троппау на конгрессе. Рассказывали после, что на какой-то утренней конференции князь Меттерних сказал ему: «Государь, да полно, у вас все ли покойно? По частным сведениям, вчера вечером полученным, один из ваших гвардейских полков взбунтовался, и именно Семеновский». — «Не верьте», отвечал будто Александр: «это сущая ложь; это мой любимый полк». В тот же вечер, в каком-то собрании, Меттерних подтвердил ему то же самое, ибо с этим известием в самый полдень получил курьера от австрийского посла в Петербурге. Можно посудить о беспокойстве государя и о гневе его, когда только в продолжение следующего дня прибыл ад'ютант Васильчикова с донесением о сем происшествии.

Приостановимся. Посланный Васильчикова, этот недобрый вестник, заслуживает быть представленным миру. И хотя он имя свое почитает бессмертным, сомнительно, однако же, чтобы без употребляемого мною способа, впрочем, весьма неверного, оно могло дойти когда-либо до потомства.

---

[1] Восстание Семеновского полка в 1820 году было самым ярким проявлением брожения, охватившего почти всю русскую армию в конце царствования Александра I. Об этом движении, о связи его с деятельностью тайных обществ, из которых возникло восстание 1825 года, о роли офицеров-семеновцев, будущих декабристов, в этом движении см. «С. Я. Штрайх — Брожение в армии при Александре I. К столетию восстания декабристов. П. 1922».

Петр Яковлевич Чаадаев был красивый мальчик, круглый сирота, с малолетства воспитанный родною теткой, старою княжною Анною Михайловною, дочерью историка Щербатова. Она ничего не щадила для его образования; но женщине, и в тогдашнее время, нельзя было помышлять о том, чтобы дать ему основательные познания. Мальчик, как и все русские, а может быть, еще более чем кто из них, имел способность выучиваться иностранным языкам: по-французски и по-английски говорил он бегло, чисто и безошибочно; а к тому же, как он был нрава серьезного, то в семействе и в обществе своем с ребячества признан и об'явлен маленьким чудом.

Уверенный в своем совершенстве, во время Отечественной войны вступил он в военную службу и при взятии Парижа находился в Семеновском полку. По возвращении из похода перешел он в лейб-гусарский. В мундире этого полка всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, румяного, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, но ставил их гораздо ниже других преимуществ, коими гордился и коих вовсе в нем не было: высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить насмешки или досаду; но он не был заносчив, а старался быть скромно-величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно предоставляли ему звание молодого мудреца, редко посещающего свет и не предающегося никаким порокам.

Он был первый из юношей, которые тогда полезли в гении. На беду, стоя с полком в Царском Селе, познакомился он и сблизился с лицейским воспитанником Пушкиным. Все поэты немного льстецы с теми, коих любят; Пушкин польстил ему стихами, а Карамзин по добродушию своему ласкал его. Это совершенно вскружило ему голову. Никто не замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они же между собою называли его настоящим розаном, а он был Нарцисс, смертельно влюбленный в самого себя. Чтобы дать понятие

о чудовищном его самодовольствии, расскажу следующее, тогда мною слышанное. В наемной квартире своей принимал он посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, с левой Байрона, а напротив его собственный. в виде скованного гения, с надписью:

Он в Риме был бы Брут,
В Афинах Демосфен,
А здесь лишь офицер гусарской[1].

И так не с большим двадцатилетний молодой человек, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил, ни к какому роду службы не был годен и который всю ученость свою почерпал из новых французских брошюр, почитал себя одним из светил, озаривших начало девятнадцатого века. Какой бы он был находкой для насмешника-мистификатора; но такового не оказалось, и он не поступил еще тогда, а разве только после, в нарядные шуты.

Крайне дивился он, что, удостоив службу вступлением в нее, он не быстро в ней возносится, а, как обыкновенные смертные, производится по старшинству. В ожидании скорых успехов принял он чье-то предложение доставить ему место ад'ютанта при Васильчикове и в этом уповании отправился он в Троппау. Он был уверен, что, узнав его короче, Александр, плененный его наружностью, пораженный его гением, приблизит его к своей особе и на первый случай сделает флигель-ад'ютантом. Надо еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками.

Приемом разгневанного государя как громовым ударом в одно мгновение были разрушены воображением его созданные замки. Всегда умеренный, Александр бывал ужасен в редкие минуты, когда переставал владеть собою. Разобиженный Чаадаев на другой день был обратно отправлен в

[1] Из стихотворения Пушкина, посвященного Чаадаеву.

Петербург и, дабы наказать царя, отнял у него себя, в ту же зиму вышед в отставку [1].

В присутствии государя семеновской вспышки не могло бы быть: его тихо-повелительный взгляд все усмирял вокруг себя. Даже издали ощутительно было его могущество. Гвардия с трепетом ожидала его решения. Оно получено: приказом, в коем дышит негодование вместе с милостью, полк велено уничтожить, кассировать, нижние чины разослать по линейным полкам; офицеры же, коих винность не доказана, но на коих падало сильное подозрение, переведены также в армию, только с повышением двумя чинами; Шварц отставлен от службы [2]. Тем же приказом велено набрать новый Семеновский полк из лучших офицеров и рядовых гренадерского корпуса.

Ожидали более. И что же? Мне случилось слышать тех же самых офицеров, которые прежде восхваляли смелость семеновцев, читающих не только с одобрением, даже с восторгом грозный приказ царя. Надобно подумать, что в этом человеке было действительно нечто волшебное.

Это происшествие, которое причинило Петербургу только кратковременный испуг, имело однако же важные последствия. Рассеянные по армии, недовольные офицеры встречали других недовольных и вместе с ними, распространяя мнения свои, приготовили другие восстания, которые через пять лет унять было труднее.

Московская жизнь в эту зиму [1820 г.] напоминала прежнюю ее, старинную, беззаботную, шумную веселость. Как в начале двенадцатого года, она мало заботилась о том, что́ происходит в Европе, и на этот раз я нахожу, что поступала благоразумно. Летом, говорили, можно еще было видеть кой-где следы разрушения; но тут старуха предстала мне в праздничном виде: она как будто набелилась; снег

---

[1] О взаимоотношениях Чаадаева и Вигеля см. во вступительной статье к этому изданию.

[2] Несколько офицеров, в числе их И. Д. Щербатов, двоюродный брат Чаадаева, приговорены к смертной казни, замененной разжалованием в солдаты и ссылкой. Об этом в упомянутом выше (стр. 161) очерке о брожении в армии.

покрывал и изглаживал морщины ее и рубцы, нанесенные ей неприятельским вторжением. За год перед тем скончался военный губернатор граф Тормасов; на его место назначен был барич, вельможа, князь Димитрий Владимирович Голицын, преблагороднейший и предобрейший человек, который успел поселить к себе уважение и любовь. Знатность нового градоначальника умножала еще радость и веселие чванных москвичей.

Я встретил несколько старых знакомых, новых же знакомств сделал мало. Тут находилась Прасковья Юрьевна Кологривова с своим вечным смехом; у нее не было друга Финмуша, а все тот же шпиц, и тот же муж [1]. Ее приехала навестить дочь ее, княгиня Вяземская, из Варшавы, где оставила супруга своего на службе. По ее предложению, сопровождал я ее и меньшую сестру ее Любовь, с мужем, генералом Полуектовым, на единственный бал, который я тут видел. Его давал Алексей Михайлович Пушкин, с которым в 1814 году я мимоездом познакомился. Между многими хорошенькими лицами поразила меня тут необыкновенная красота двух княжен Урусовых, из коих одна вышла после за графа Пушкина, а другая за князя Радзивилла. Тут также я мог полюбоваться танцовальными и волокитными подвигами племянника моего Алексеева.

После того г. Пушкин пригласил меня к себе обедать. С его умом, ему нельзя было не заметить, что дух века совсем переменился; однако же он продолжал кощунствовать и богохульничать, я думаю, более по старой привычке. Супруга его, Елена Григорьевна, урожденная Воейкова, как заметил один веселый человек, любила гнать спирт или, как говорят французы, делать ум и чувствительность; первое было ей из чего, а последнего в ней вовсе не было. К тому же она чрезвычайно либеральничала и жестоко нападала на правительство и царя. Чета эта находилась в постоянном возмущении против властей небесной и земной, и, как мне казалось, более для тона. Все это мне весьма не полюбилось, и я уже к ним более не возвращался.

У Прасковьи Юрьевны познакомился я также с графиней де-Броглио, урожденною Левашевой, бывшею ее не-

---

[1] Стихи Пушкина, в «Евгении Онегине». Авт.

весткою, бывшею в первом замужестве за братом ее, князем Трубецким. Эта женщина, под именем княгини Анны Петровны, была долго слишком известна целой Москве. В ней примечательны были не красота ее, совсем не изумительная, ни даже кокетство, а нечто более: она изменяла первому мужу, бросила второго и осталась верна одному только другу. Смешон бы я был, если б, чрез меру держась строгой нравственности, отказался от знакомства с старой греховодницей, не раскаявшейся, но унявшейся. Это знакомство повело меня к другому, приятнейшему и любопытнейшему.

У нее в доме распоряжался, хозяйничал один иностранец, впрочем у нее не живущий, и о котором московское общество и поныне вспоминает с сожалением. Я не назвал г. Кристина французом, хотя любезнее его, приятнее в обхождении, занимательнее в разговорах я ни одного француза прежнего времени не знавал. Это потому я сделал, что он родом был швейцарец, из города Ивердюна, на прежней французской границе. История его заслуживает быть рассказанною хотя вкратце; увы, и подробности ее сделались бы известны без варварства той женщины, у которой мы с ним обедали и познакомились.

Ребячество свое провел он во Франции и в молодых еще летах попал в секретари к известному министру Калонну, видел начало революции и вместе с покровителем своим бежал от нее. После того в Кобленце, по его рекомендации, употреблен он был принцами, братьями короля. Особенно полюбился он графу д'Артуа (Карлу X). От него с тайными поручениями, переодетый, неоднократно ездил он в Париж и тайком, с опасением для жизни, проникал во внутренность Тюльерийского дворца, представлял письма, подавал утешения пленному королю. Этикета уже тут не могло быть; он запросто разговаривал с ним, с королевой, с принцессой Елисаветой и ласкал малютку, несчастного дофина. Когда злодеяние свершилось, когда пали головы царских невинных жертв, граф д'Артуа взял его с собою в Петербург. Известно, какой блестящий прием сделала ему Екатерина; он уехал, а Кристин остался в России. Не управляя иностранной коллегией, граф Марков был, однако же, главною ее пружиной. Он жил тогда с французскою траги-

ческою актрисой Гюс и через нее познакомился, можно сказать, сдружился с Кристином.

Вдруг сей последний взбесился, уехал в Швецию и там стал явно поносить Россию и русских. Тогдашний регент, герцог Зюдерманландский, после Карла XIII, до конца жизни нас ненавидел и оттого человека почти без имени начал принимать, ласкать и даже звать на придворные балы. На одном из них, как ветреный француз, он, как будто разбежавшись, наткнулся на стоящего у камина несовершеннолетнего, молоденького короля Густава IV; низко кланяясь и как будто в смущении извиняясь, понизив голос, промолвил он ему: «Ваше величество, вас обманывают, хотят женить на уроде; позвольте с вами об'ясниться». Едва внятным голосом тот отвечал ему: «У меня математический учитель ваш земляк, шевалье такой-то: напишите мне через него». В записке своей Кристин изобразил все прелести великой княжны Александры Павловны и всю пользу от родственного союза с Екатериной. В это время через месяц ожидали невесту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король вдруг заупрямился, об'явил, что сему браку не бывать, и, как ни старались убедить его, он поставил на своем. Никто не мог понять причины такой внезапной перемены; но король ли проговорился, шевалье ли проболтался, или сами догадались, гроза висела над главою тайного агента. Кто-то по секрету пришел ему сказать, что на другой же день хотят его взять и отправить в рудники Далекарлийские. Будучи хорошо знакóм со всеми дипломатами, он побежал к английскому посланнику и об'яснил ему весь ужас своего положения. У того были бланки, и он задним числом причислил его к своей миссии; когда пришли его брать, он показал предписание отправиться курьером в Берлин. Оттуда только через несколько месяцев воротился он в Россию и приехал в самое то время, когда в Петербурге[1] находился король шведский с дядей, и шло уже сва-

---

[1] С ним случился тогда презабавный анекдот. Екатерина приняла его у себя в кабинете, осыпала ласками и велела ему быть при представлении в Эрмитажном театре, только в закрытой ложе. Он в ней соскучился, пошел бродить за кулисы и забрался на самый верх. Уставши, присел он на какое-то седалище, которое вдруг стало опускаться; он закричал, его успели приподнять

товство. Разумеется, в то время нигде нельзя было ему показаться. Хотя предполагаемый брак и не состоялся, императрица щедро наградила его, велела определить в иностранную коллегию прямо надворным советником и пожаловала ему 400 душ близ Летичева, в Подольской губернии.

При Павле пришла невзгода на графа Маркóва: он был отставлен и сослан в Летичев, ему принадлежащий. Кристин, которого именьице было подле, всегда верный дружбе и несчастью, также вышел в отставку и четыре года добровольно разделял изгнание своего мецената.

При Александре Маркóв был вызван и отправлен в Париж; с ним поехал и Кристин, уже вычеркнутый из списка эмигрантов. Деятельность возвратилась к нему; он еще не унимался. Войдя в знакомство с семейством Бонапарте, с сестрами его, приблизившись к Жозефине и Гортензии, неизменный роялист, он тайно переписывался с графом д'Артуа, который находился в Англии. О том проведали, исхитили его из русского посольства, послали в Лион и посадили в крепость Пьер-ан-Сиз. Это была одна из причин дерзостей, сделанных Маркóвым первому консулу. Верный слуга доставил узнику средство бежать из крепости, и он скрылся в Коппé, у госпожи Сталь. Не знаю, как оттуда пробрался он в Москву, где и простился навсегда с романическою жизнию.

Он жил у Маркóва на дружеской ноге и занимал часть дома его; продал свое имение и, пользуясь частью процентов с вырученного капитала, помаленьку умножал его. Большие вельможи нередко посещали его. Надобно было видеть обхождение их с ним: как оно было непринужденно и как вежливо! Может быть, сперва и был он любовником графини де-Броглио (не всегда же она походила на старого мужика, дурно выучившегося по-французски); только когда я их видел вместе, то и тени нежности между ими не было. Всех удивляло продолжение этой связи; надобно было полагать, что они были соединены взаимными денежными интересами. Мы скоро с ним сошлись; с такими людьми, как он,

---

и видны были одни только его ноги. Это было облако, на котором был должен спускаться Меркурий. Что, если б он показался двору и приезжим гостям? Екатерина очень смеялась, когда ей рассказали об этом апропо. Авт.

был я нескромно вопросителен, а он снисходительно ответлив: вот отчего узнал я главные обстоятельства его жизни. Он признался мне, что записывает все случившееся с ним, и первый подал мысль о составлении сих Записок, — намерение, коего исполнение последовало гораздо позже. Умирая, отказал он все имущество смелой злодейке, которая в старости своей овладела его старостью. Какие рукописные сокровища достались, какие перлы рассыпались перед этою... Переписка со множеством исторических лиц (чего стбили одни читанные мне письма Сталь), самый роман его жизни, все это, как ненужное, рукою невежества предано огню [1].

С самой кончины Павла не случилось мне так близко разглядеть Москву, то есть общество ее и разные состояния; тогда, выходя из малолетства, смотрел я на все неопытным, отнюдь не наблюдательным оком; после того нередко проезжал я через нее, по большей части летом, и останавливался дня на два, на три, иногда на пять или на шесть, и она оставалась для меня terra ignota [неведомая страна]. Тут сколько-нибудь мог я изучить этот чудный город, ни на какой другой в мире непохожий. Все было в нем для меня занимательною новостью; сколько странностей нашел я, сколько добра и зла! Здесь не место делать тому описание; достаточно будет сказать, что я от души полюбил Москву, как женщину старую, добрую, умную, веселую, хотя с большими капризами, и что желание спокойно кончить в ней век сделалось постоянною моею мечтой.

Как в истекшем 1820 году, так и в наступившем 1821 и в последующем 1822 положение мое не менялось. Оно было не приятно, но покойно. В семействе моем также никаких важных перемен не последовало. Итак, мне придется вкратце говорить о том лишь, чтó у нас в это время происходило в России, едва касаясь Европы. Тем лучше, может быть, скажет читатель.

Из Троппау, дабы быть ближе к театру происшествий в Италии, конгресс зимой перенесен был в Лайбах. Там на

[1] Его интересная переписка с княжной В. И. Туркестановой сохранилась и опубликована значительно позднее.

царском с'езде положено австрийские войска направить к Неаполю и к Пиемонту, для усмирения бунтующих. А на всякий случай, для поддержания их, велено первой нашей армии, под начальством Сакена, двинуться за границу.

Вместе с тем и гвардия в апреле месяце получила приказание выступить в поход к Литве. Государь был ею недоволен, узнав о сожалении и участии, оказанных ее полками товарищам своим семеновцам. Он хотел ее проветрить, надеясь, что трудности переходов разгонят чад дурных помышлений, которых, право, вовсе не было. Во из'явление гнева своего государь генерала Васильчикова перед самым выступлением удалил от начальствования гвардейским корпусом, поручив его любимому генерал-ад'ютанту своему, Федору Петровичу Уварову. Это еще было милостиво: ибо Ларион Васильевич сделан был членом государственного совета. Начальникам же гвардейских дивизий, генерал-ад'ютанту Потемкину и барону Григорию Владимировичу Розену, взамен их, даны простые пехотные дивизии.

После девятимесячного отсутствия, в половине мая, государь возвратился в Петербург, на пути не удостоив гвардию свою отеческо-монаршим взглядом своим. Еще более чем в протекшем году обнаруживал он твердое намерение противодействовать направлению, которое так неосторожно сам он дал общественным мнениям.

Прежде всего по религиозным делам заметили в нем уклонение от прежних идей. По сей части доверенную его особу, жалкого князя Голицына, все более втягивали в мистицизм. Он посещал богослужение различных раскольничьих сект, находившихся в Петербурге, и одной из них умел выпросить помещение в императорском дворце. Тут должен я остановиться, чтобы рассказать об одном случае, коего отчасти был я свидетелем и который покажет, до какого нелепого изуверства был доведен этот человек.

По возвращении из Нижнего-Новгорода, в один воскресный день, раз посетил я доброе семейство Лабат-де-Виванс, чрезвычайно уменьшившееся, с которым я никогда не прерывал давнишних связей моих. Оно состояло из старых девок, ревностных, чтобы не сказать бешеных католичек, которым, по милости государя, за службу отца дана была квартира в верхнем этаже Михайловского зáмка. За

дружеским разговором последовало минутное молчание, во время которого послышалось мне странное пение. «Чтó это значит?» — спросил я. — «Ah, c'est le sabbat», воскликнули они, заливаясь слезами. Окна их выходили на Фонтанку, рядом с округленным выступом, во внутрь которого из них сбоку вниз можно было смотреть. Там находилась зала, отведенная секте для ее духовных упражнений. Я полюбопытствовал взглянуть и мог только рассмотреть фигуры, как бы в саваны наряженные, с остроконечными белыми колпаками, которые, с неимоверною быстротою кружась молниеобразно, появлялись и исчезали. Девицы Лабат после того предложили мне войти в темный коридор и в открытую трубу прислушаться к их пению; на голос: «За долами, за горами» мог я разобрать только слова: «Бог нам дал и дева».

Эти люди были род квакеров, называемых в Англии шекерами. Один очевидец, допущенный зрителем к их проказливым таинствам, рассказывал мне после следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татаринова, урожденная Буксгевден, посреди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от нее знака. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена, сперва тихо и плавно, а потом все громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении, в исступлении тем и другим начинало что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на чтó не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинить себе святейший синод. Первенствующими членами общества были директор департамента просвещения Попов и некто Мартын Пилецкий, прозванный Мартыном Задегом, племянник бывшего пензенского губернатора Крыжановского. Татаринова, Пилецкий и некоторые другие жительствовали даже во дворце [1].

---

[1] Ек. Фил. Татаринова, урожд. Буксгевден (1783—1856), перешедшая в 1817 г. из лютеранства в православие, основала «духовный союз», по своему ритуалу близкий к хлыстовству и скопче-

Столкновение двух фанатизмов было ужасное. Мои бедные, набожные Лабатки вообразили себе, что между ими водворился сам диявол и что подле них бывают сходбища ведьм. К несчастью они должны были ходить по одной лестнице с ненавистными им существами; встречаясь с ними, они с ужасом отворачивались, невольно произнося несколько неприятных слов; сверх того самое соседство представляло поводы к частым ссорам. Я старался внушить им умеренность и благоразумие и, говоря их языком, доказывал, что они должны с покорностью нести крест, господом им посланный. Впрочем, все ограничивалось более жалобами на такое положение, приносимыми посещающим их. И чем же кончилось? Бедняжки были изгнаны из дворца гораздо прежде, чем он отдан в инженерное ведомство и переименован был Инженерным замком.

Совершенно невежественный в богословских науках Голицын принадлежал ко всем сектам и ни к одной. Странно было видеть смирного человека, сделавшегося жестоким гонителем за вопросы, которых он не умел ни об'яснять, ни даже понимать. А между тем знаменитейшие жертвы падали под ударами его.

Возвратясь в Петербург, неизвестно по чьему внушению, говорят, по совету Аракчеева, преемником Михаилу [митрополиту] избрал государь московского митрополита Серафима, умного старика, и хитрого и стойкого вместе. Его назначение можно почитать началом постепенного падения Голицына, Библейского общества и мистицизма.

ству, от которых секта Татариновой переняла свои радения. К «союзу» ее были очень близки А. Н. Голицын, А. Ф. Лабзин, директор департамента духовных дел В. С. Попов и др. Сам Александр одно время с интересом беседовал с Татариновой и покровительствовал ее «союзу». Императрица Елизавета Алексеевна любила ее. Одному из главных деятелей этой секты, Никитушке (музыкант кадетского корпуса Н. Федоров), своего рода Распутину той эпохи, Александр дал чин 14-го класса и беседовал с ним. Впавший в это время в мистицизм царь писал, что сердце его «пламенеет любовью к спасителю», когда он читает о собраниях «союза» Татариновой. При Николае I секта Татариновой пользовалась некоторой свободой, хотя и лишена была покровительства царя. Лишь в 1837 году существовавшая за городом колония Татариновой была закрыта, а участники ее были разосланы по монастырям.

В следующем году высочайшим рескриптом на имя графа Кочубея велено закрыть все масонские ложи и тайные общества и всех служащих, равно как и вступающих в службу, обязать подпискою не посещать их и к ним не принадлежать. Эта мера была бы весьма полезна за несколько лет перед тем, когда мода и любопытство привлекали в них множество разного звания людей. Тогда злонамеренные старались вербовать туда неопытных юношей. Я давно перестал ходить в ложи и только понаслышке знаю, что они были брошены большею половиною прежних посетителей и продолжали существовать без цели и значения.

Один огромный памятник обращал в это время на себя особое внимание государя — вечно строящийся Исакиевский собор. В конце 1817 года утвердил он новый чертеж и план сего здания и для перестройки его учредил комиссию под председательством обер-шенка графа Николая Николаевича Головина. Генерал Бетанкур назначен членом сей комиссии по искусственной части, то-есть настоящим строителем; именем же строителя почтен Монферран, архитектор невзначай.

Найдено, и весьма справедливо, что величина угловатого, неправильного пространного поля, которое под именем площади окружало прежний собор, повредит колоссальности возводимого нового храма, и для того, по воле царя, сделан новый план площади; кусок в виде треугольника отрезан от нее для постройки на нем частного строения, которое могло бы служить частию красивой рамы великолепной картине.

Я не видел начала исполнения сего предприятия: к нему приступлено после от'езда моего за границу, весною 1818 года.

Когда я возвратился, нашел я подле собора в одно лето выросший огромный дом, который по форме своей походил на фортепиано и принадлежал родному племяннику министра юстиции, князю Лобанову-Ростовскому. Сей последний разбогател от женитьбы на графине Безбородко, племяннице и одной из наследниц князя Безбородки. Что же касается до самого собора, то кирпичный купол, построенный при Павле, был уже с него снят, и небольшая часть его к Почто-

вой улице сломана. Других перемен я не нашел, и в последующие годы видел малю.

А между тем полтора миллиона рублей ассигнациями ежегодно отпускаемо было для строения. На что̀ употреблялись они? На постройку существующего и поныне деревянного забора и спрятанного за ним деревянного городка для помещения рабочего народа и смотрителей за работами, на сооружение гранитного фундамента под новое, к Почтовой улице вытягивающееся строение, более же всего на заготовление драгоценных материалов. Ими изобиловали в Финляндии Рускиальские каменоломни, и один простой русский промышленник, Яковлев, в кафтане и бороде, нашел удобное и легкое средство добывать огромнейшие их массы без помощи инженеров и механиков и доставлять их водою в Петербург. Тут узнал я все недоброжелательство и несправедливость западных иностранцев к русским; немногие говорили об этом человеке с некоторым одобрением, только двое или трое дивились его изобретательности. Зато русские осыпали его похвалами, когда летом 1822 года на Исакиевскую площадь с Невы вывалил он чудовищный монолит, первый из тех, кои поддерживают ныне фронтоны собора. Нерукотворная гора под стопами Медного Всадника, воспетая Рубаном, вблизи его казалась карлицей подле великана. Нужен был и в Бетанкуре гений механики, чтобы поднять такую тяжесть и как простую палку воткнуть перед зданием. Выдуманные им машины служили великою помощию Монферрану, а после смерти его сделались его наследством. Все споспешествовало этому человеку: искусство и Бетанкура, и Яковлева, и, наконец, каменного дела мастера Квадри, который прочно умел строить, лучше всякого архитектора. Ему оставалось только рисовать да пока учиться строительной части.

За забором нельзя было видеть, как фундамент нового строения подымается из земли; только все видели, как каждый год что-нибудь отламывалось от старого, так что, наконец, осталась одна самая малая часть его и, можно сказать, украшала все еще новый Петербург, ибо была в нем единственною великолепною руиной.

Чтобы, между тем, чем-нибудь потешить царя, Монферран, с одобрения Бетанкура, затеял сделать деревянный модель новой церкви. Более года отделывался он в надворном

строении того дома, где мы жили с Монферраном, и стоил более восьмидесяти тысяч рублей ассигнациями. Когда он был окончен, его перенесли и поставили в большой комнате, которую он всю наполнил собою. Она была рядом с моей квартирой, и я мог досыта налюбоваться этой щеголеватою и великолепною игрушкой. Купол как жар был вызолочен; лакированное дерево можно было принять за гранит и мрамор: до того оно им уподоблялось. Посредством рукоятки модель раздвигался надвое и давал вход во внутренность храма: там все было, и штучный пол, и раззолоченный иконостас, и миниатюрные иконы, его украшающие, и все чудесно было отделано. В комнате, через которую надобно было проходить, для противоположности нарочно поставлен был довольно грубой работы небольшой модель старой церкви, от времени попортившийся и который дотоле хранился в Академии художеств. Разница должна была броситься в глаза, хотя одно было плодом воображения пресловутого Растрелли, а в сочинении другого, как в иных французских водевилях, участвовали три автора. Может быть, ныне посмотрели бы снисходительнее и беспристрастнее, но тогда строго держались чисто-греческого стиля, соединяющего простоту с величием, не хотели слышать о ренессансе, о моенаже, и слово рококо было вовсе неизвестно.

Государю угодно было модель сей удостоить своим воззрением. По соседству мне захотелось быть свидетелем сего посещения. Не предупредив Бетанкура, а только условясь с Монферраном, явился я тут в каком качестве? право, сам не знаю, ремесленника ли, или помощника архитектора. Это было в мае 1820 года. Нас было всего трое, ожидавших с некоторым волнением, четвертый — прибывший государь. Вот первый и единственный раз, что̀ вдали от толпы, на столь небольшом пространстве и так продолжительно мог я видеть и слышать его. Сперва жался я к двери, но скоро любопытство победило во мне почтительный страх (к счастию, он ничего не спросил обо мне). С величайшим вниманием он все рассматривал, обо всем расспрашивал, делал свои замечания и несколько раз низко нагибался, чтобы посудить об эффекте, который произведет внутренность храма. Как он был еще хорош слишком в сорок лет и с обнаженным челом и при умножающейся тучности как был он еще строен!

Не меня дарил он улыбками, не ко мне обращал он милостивое слово, а я весь был очарован. Удаляясь и взглянув на оба моделя, на пестрый и потускневший и на тот, который блистал белизной, обратился он к Бетанкуру и сказал ему: «Вы знаете, насчет нашего предприятия как много в городе сплетен и пересудов; эти модели будут лучшим на них ответом». И действительно, все художники роптали. Как можно для векового здания не сделать конкурса? — говорили они. Архитекторы ненавидели Бетанкура за Монферрана, инженеры — за Ранда, все знатные завидовали его кредиту; другие состояния видели в нем иностранца, презирающего их отчизну, и все восстало на доброго человека, только ослепленного успехами. Европейцы и до сих пор не постигли нас; они полагают, что в России нет другой России, кроме царя. Одни немцы хорошо нас поняли и оттого, если бог попустит, долго будут они у нас первенствовать.

Из двух проектированных замечательных зданий одно в это время было построено, хотя еще не отделано: это новый Михайловский дворец. Покойный император Павел, при рождении младшего сына Михаила Павловича, велел ежегодно откладывать, не помню по скольку сотен тысяч рублей, дабы сей Вениамин, коему не суждено было царствовать, достигнув совершеннолетия, по крайней мере, мог жить по-царски. Говорят, что накопилось до девяти миллионов, коих употребление молодой человек предоставил старшему брату государю. На них-то, под наблюдением Росси и по плану его, выстроен дворец, для которого образцом, хотя не совсем удачно, архитектор взял Лувр.

К исполнению другого проекта при мне еще не было приступлено; оно последовало немедленно после моего от'езда. На дворцовой площади с правой стороны находился закругленный так называемый Ланской дом, а с левой — целый ряд частных домов, образующий какой-то топорок, что̀ ей давало вид совсем неблагообразный. Дабы сделать ее более регулярною, положено скупить все дома, сломать их и на их месте, в виде неправильного полукружия, построить те бесконечные здания, в коих помещаются ныне главный штаб и два министерства — иностранных дел и финансов.

К этому времени принадлежит и перестройка Большого каменного театра, сгоревшего 1 января 1811 года, хотя она

произведена гораздо ранее. Француз Модюи принял на себя этот труд так, от нечего делать, говорил он, и дабы доказать русским, что и в безделице может выказаться гений. Этот первый опыт его в Петербурге был и последний. Не совсем его вина, если наружность здания так некрасива, если над театром возвышается другое строение, не соответствующее его фасаду. Тогдашний директор, князь Тюфякин, для умножения прибыли требовал, чтобы его как можно более возвысили. Когда перестройка была кончена, в начале 1818 года, двор находился в Москве, а государь на несколько дней приезжал в Петербург. Он осмотрел театр, остался доволен, но при открытии его быть не хотел. Щедро наградил он Модюи и деньгами и чином коллежского асессора; а тому более хотелось крестика.

Упоминая о театре, кстати приходится мне здесь говорить и о театральных представлениях. В русской труппе больших перемен произойти не могло. Целое новое поколение молодых актеров — Сосницкий, Рамазанов, Климовский — показалось в пятнадцатом году; в столь короткое время они не могли состариться, а, напротив, возмужали и усовершенствовались.

Опера шла тихим шагом с своим прежним Самойловым и с меньшою Семеновою. Комедий новых было мало, а новых трагедий и вовсе не было. Но в старых, и особенно в драмах, явился маленький феномен, молодой Каратыгин. Как законный наследник престола, заступил он место отошедшего в вечность Яковлева, всеми почитаемого отцом его. Хотя в голосе двух трагических артистов было большое сходство, зато в прочем совершенная разница. Рослый и величавый Каратыгин, с благородною осанкой и красивым станом, умел пользоваться своими дарами природы; скоро учением и терпением приобрел он и искусство. Он женился на дочери танцовщицы Колосовой, девочке благовоспитанной, которая с ним явилась на сцене и которой вредил только недостаток в произношении. Он с нею ездил в Париж, там пример Тальмы и советы умной жены не только развили, даже породили талант, которого от природы, как утверждают, он не имел. Как бы то ни было, после Дмитревского, которого, еле живого, видел я в глубокой старости, выше актера в этом роде мы не имели.

По каким-то несогласиям с Тюфякиным Шаховской оставил служение в театральной дирекции, но сохранил на нее большое влияние, ибо актеров и актрис, воспитанников и воспитанниц один учил декламировать и для них один почти писал пиесы. В это время сделался он неистощимее, плодовитее, чем когда-либо, только в легком роде: по большей части писал он хорошенькие водевили, которые трудно бы мне было здесь припомнить и исчислить. Для этого рода образовал он еще двух миленьких актрис, с французским прозванием, Монруа и Дюрову; они были хороши собой, особливо последняя. В водевилях был также весьма забавен Шаховским же образованный шут Величкин.

Недочеты, передержки наделали князю Тюфякину много неприятностей, которые и его понудили оставить главную дирекцию.

Для поправления финансового состояния театра, управление его, с сохранением должности генерал-губернатора, поручено графу Милорадовичу, у которого, кроме неоплатных долгов, ничего уже не было. Он давно добивался этого места и получил его как одну из наград за его великие подвиги. Карикатурный Баярд в одном только был схож с подлинником, которого передразнивал: он был столько же храбр, как и тот. Не в целомудрии подражал он этому рыцарю, когда театральную школу превратил в свой гарем. И так сильны в нас привычки, так влечет нас опять к покинутой власти, что бедный Шаховской, по настоянию Ежовой, согласился быть его Кизляр-агой. Сего ему было мало; он захотел иметь свой Парк-о-сер [1] и давно брошенный Екатерингофский лесок избрал местом своих увеселительных занятий. На украшение его вытребовал он у города более миллиона рублей, для молодых актрис и воспитанниц кругом велел нанять дачки, и в выстроенном зале, под именем воксала, начал (разумеется, не на свой счет) давать балы, на которых плясали перед ним одалиски, баядерки и алмѐ, и он по прихоти бросал им свой платок. Не знаю, при таком начальнике усовершенствовалось ли драматическое искусство? Только после трехлетнего управления его открылся ужас-

---

[1] Олений парк в Версале, где французские короли устраивали свои гаремы.

ный дефицит как в городских, так и в театральных суммах. Он без счету бросал некогда собственные деньги; когда их не стало, принялся за чужие и, зная, что ему нечем будет заплатить, где только можно, особенно у подчиненных, везде занимал. Спрашивается, можно ли назвать это кражей [1]?

Долго не могли склонить государя вновь завести французскую труппу, тщетно представляя ему, что дипломатический корпус, тысячи иностранцев и лучшее общество умирают без нее со скуки. Наконец, согласился он, не принимая их на придворное ведомство, дозволить прибывшим актерам явиться на Малом театре, где обыкновенно играли немцы. Там увидел я их по возвращении из-за границы, в конце 1818 года, и даже после Парижа нашел, что они недурны.

Играли все почти одни небольшие комические оперы: к ним приучила Филис петербургскую публику. Первою певицей была довольно молодая, полная и красивая мадам Данжевиль Вандерберг, которая пением напоминала, но не заменяла Филис. Первым или, лучше сказать, сперва единственным тенором был толстый Брис; жена его, худощавая, почти высохшая, но живая француженка, игрой, фигурой и манерами несколько напоминала Филис, но отнюдь не пением. Сию чету называли у нас картофелем со спаржей. Еще привезли они с собой одного несносного поляка Валдовского, выросшего, а может быть, и родившегося во Франции и оттого переименовавшего себя в Валдоски. Им на подмогу играли прежние оставшиеся здесь актеры: Монготье, Андрѐ и братья Мезиеры. Вскоре приехал и другой тенор, Женѐ,

[1] Один случай покажет всю бесчувственность этого бессовестного человека; мне его рассказывали очевидцы. Когда он начальствовал в Бухаресте, занял он у одного провиантского чиновника до десяти тысяч казенных денег. Вскоре другой чиновник приехал первому на смену и стал требовать сдачи. Тот убедительно умолял должника о заплате, представляя, что он рискует попасть под суд и быть разжалован. «Подожди, помилуй, неужели ты мне не веришь?» — всегда был ответ; последний же был — приглашение к себе на бал. Несчастный явился и в промежутке танцев стал посреди залы и воскликнул: «Знаете ли, господа, мы у кого? У злодея, у вора». С тем вместе вынул он пистолет и тут же застрелился. «Мой бог (известная поговорка Милорадовича), — закричал он, — что это значит? Велите скорей вынести этого сумасброда». А после того, как бы ни в чем не бывало, принялся за мазурку. *Авт.*

красавец собой и довольно изрядный певец, которого на сцене я видел в Париже.

В следующем году позволено им играть на Большом и Малом театрах, а потом вскоре и совсем поступили они на казенное содержание. Для удовлетворения желания молодых великих князей, которых в Париже так потешал Потье, выписан Сен-Феликс, верная с него копия, и несколько других забавников и забавниц, которые ввели к нам пиесы с театра Де-Вариете. Наконец, стали показываться комедии и, вместе с фарсами, мало-по-малу вытеснять французскую оперу, которая пришлась уже не по вкусу нового поколения.

Зато опять стали мы знакомиться с итальянским пением. Только о целой опере в это время и думать было невозможно: стали только появляться залетные птицы для концертов. Первая из них, Сесси, куда нехороша была собою; по-моему, и пела она неприятным образом; сила и чистота были в ее голосе, но ничего выразительного. Знатоки велели дивиться ей, им повиновались и, зевая, восхищались и платили деньги.

Почти то же, что̀ о Сесси, можно сказать о прибывшей через год после нее одной европейской знаменитости. У г-жи Каталани в горле были все ноты, от тонкого сопрано до густого баса, и сим натуральным инструментом владела она превосходно: вот все, что̀ могу сказать о ней. Англичане, которые, как известно, не имеют врожденного вкуса к музыке, а из тщеславия сыплют гинеями на прославленных артистов, дивились ее голосу, как игре природы, и из Альбиона, войною тогда отрезанного от Европы, несколько лет гремели ей хвалы. На такой высоте увидела она соперника в Наполеоне и об'явила ему войну. За Бурбонами последовала она в Париж, где двор и легитимисты старались прославить и поддержать ее. Лондон и Париж владеют правом раздавать дипломы на артистическую славу; вооруженная ими, предшествуемая молвой, заметив, что число ее слушателей безмерно уменьшается, Каталани пустилась по белу свету собирать дань с других народов.

Все столицы посетила она потом, но имела осторожность более двух, много трех или четырех концертов нигде не давать; сего было достаточно, чтоб истощить восторги, произведенные ее пением; дело шло для нее более об умножении

капитала. Я уже сказал в предыдущей части, что в Аахене, сквозь окно или два окна, через улицу или переулок, слышал я громогласие ее и совсем не был обворожен; в Петербурге, послушав ее ближе, я надеялся лучше о том посудить. Плата за вход была не огромная, в сравнении с нынешними чудовищными ценами, по 25 рублей ассигнациями; два раза ходил я слушать ее, издержал пятьдесят рублей и, право, на пятьдесят копеек не имел удовольствия. С аристократическими затеями установила она для себя особый церемониал: публика с нетерпением наполняла филармоническую залу; лядащий оркестр, ею привезенный с собою, состоявший из двух или трех музыкантов, стоял уже на эстраде, а об ней еще помину не было. Кто-нибудь из знатных дожидался ее у под'езда, вынимал из кареты, подавал руку, подымался с нею по лестнице, провожал сквозь толпу и возводил на возвышение, откуда она милостиво взирала на жаждущих слышать ее. Концерты ее ограничивались одною ее особой, и это было ей нетрудно: как у цыганок, было у нее десять или двенадцать годами затверженных арий, между коими вечная la placida campania.

Такие почести, признаюсь, меня возмущали, а это было только вступлением в нынешнее безумное время, когда жители на себе возят артисток в колесницах. Когда Рим властвовал над миром, когда было для него время великих мужей и великих деяний, одни победители, триумфаторы восходили в Капитолий; под папским владением, чести, которой не имели ни Виргилий, ни Гораций, удостоивались посредственные поэты, венчанные, названные лауретами. Италия, униженная, несколько веков порабощенная немцами, никак не может забыть своей прежней славы и из сынов своих уделяет ее кому попало. Замечено, что когда высокие чувства гаснут в душе, когда мелеют народные характеры, тогда люди боготворят одни только свои наслаждения. Неужели так и у нас? Нет, все, что̀ творится у меня перед глазами — действие нашей подражательности. Нам несвойствен фурор южных народов; одно истинное, великое должно возбуждать в нас восторги.

Показавшись раз пять, чудо европейское от нас скрылось и не оставило не только сожаления, едва ли воспоминания между людьми, которые считали обязанностию пленяться

ее голосом. Сию обязанность гораздо легче было выполнить, когда через года полтора приехала к нам Боргондио. Вот это уж была певица: если б она и не очаровала нас своим пением, то поразила бы новостью его рода. В Италии прекратился, наконец, жестокий обычай младенцев лишать пола; ибо сии несчастные, как бы хорошо ни пели, в слушателях производили некоторое отвращение. Взамен их начали искать контральто между женщинами, и Боргондио была в числе сих счастливых обретений. Мы не слыхали ее в концертах, а несколько раз в одной лишь опере, в которой на подмогу дана ей была немецкая труппа. В ней явилась она Танкредом, а целую четверть столетия блиставшая перед немцами примадонна их г-жа Брюкль Линденштейн — Аменаидой; стареющему тенору Шварцу весьма кстати пришлась роль Аржира. Тут в первый раз услышал я усладительную музыку божественного Россини, и Боргондио, для которой написал он эту оперу, достойна была ознакомить его с петербургской публикой. Судить о музыке я не умею, хотя дело весьма нетрудное (стоит только внимательнее прислушаться к толкам знатоков), зато чувствовать ее так сильно, как я, не всякому дано.

Говоря о французах, об итальянках, я было совсем упустил из виду вообще состояние русского театра, ничего не сказал о драматических авторах. Их было трое: Загоскин, Хмельницкий, Грибоедов, которые тогда состязались с Шаховским если не в плодовитости, то в искусстве. Загоскин поставил на сцену «Богатонова», «Роман на большой дороге», «Благородный театр», Хмельницкий — «Воздушные замки», и хотя Грибоедов написал уже известную комедию свою «Горе от ума», она ходила только по рукам в рукописи, а печатать ее и играть, не знаю почему, не было дозволено.

Милорадович, который столько тешился всем театральным и так презирал его, с правителя канцелярии своей Хмельницкого взял клятвенное обещание не писать более комедий; лучше запретил бы он ему воровать. Когда уличенный в лихоимстве Хмельницкий был с бесчестием отставлен, то нарушил клятву и снова принялся авторствовать.

В эти годы я почти совершенно охладел к театру и литературе. Оттого-то с прежнею отчетливостью и не могу го-

ворить о первом из сих предметов; может быть, еще менее о последнем. Однако же, сколько могу, слабые воспоминания мои о том постараюсь сообщить читателю.

«Беседы» и «Арзамаса» давно уже не стало: первая, кажется, погибла под ударами последнего, последний почил на лаврах. И кому было поддержать «Беседу»? Державин отошел в вечность, оставив по себе вечную память, Шишков совершенно устарел, Шаховской унялся, прочие члены рассеялись, как овцы без пастырей. Почти то же можно сказать и об арзамасцах: Блудов продолжал в Лондоне, Дашков назначен был советником посольства в Константинополь, чувствительному Батюшкову было пагубно пламенное небо Неаполя, под которым рассудок его начинал расстраиваться; Жуковский неоднократно по нескольку месяцев проживал в Германии, сопровождая порфирородную чету, при коей находился. Без них совершенно ослабли узы, вязавшие прежде наше веселое общество. Многие другие члены также находились в отлучке: Вяземский служил в Варшаве, Михаил Орлов командовал дивизией в южной армии, Пушкин был сослан, Жихарев женился и поселился в Москве. Из наличных членов Александр Тургенев помышлял единственно об удовольствиях света и о приобретении больших выгод по службе; брат его Николай с Никитою Муравьевым помышляли совсем не о литературе.

Положение Карамзина сделалось самое возвышенное, от всех отдельное, недосягаемое для интриг и критики. Он пользовался совершенно доверенностью царя, который, на лето помещая его у себя в Царском Селе, нередко посещал его. Там спокойно продолжал он огромный и полезный труд свой, по временам издавая новые томы русской истории своей; но уже болезни посетили его совсем еще неглубокую старость.

На литературном горизонте в это время показалось великое множество новых писателей, мирными годами порожденных.

Но как назвать их или как различить человеку, к появлению их тогда столь равнодушному? Я сравню их со звездами, в белую массу слитыми на млечном пути, или со дву тму бесплотных в глубине иных картин, образующих светлые облака, и надеюсь, что сим сравнением они не оби-

дятся. От этого fond (дном сего у нас назвать нельзя, а как же иначе?) одна фигура, впрочем, совсем не серафическая, отделяясь, выступала на первом плане, так что и мне удавалось видеть ее простыми глазами.

Это был Фаддей Венедиктович Булгарин, литовский дворянин, весьма хорошей фамилии, кажется, русского происхождения, воспитанный в русском первом кадетском корпусе, выпущенный из него в армию уланским офицером и сражавшийся с французами, потом под французскими знаменами бывший в Гишпании и, наконец, по приобретении небольшого имения близ Дерпта, сделавшийся эстляндским помещиком.

Кому приличнее мог быть космополитизм, как не человеку, прошедшему сквозь огонь и воду, и которого, употребляя простое русское выражение, можно было назвать тертым калачом? Он сперва сделался известен одними журнальными статьями, что и сблизило его с Николаем Ивановичем Гречем, постоянным издателем «Сына отечества». В обоих было много веселости и злоязычия; но в Грече, при некотором добродушии, более остроты, а в Булгарине одна только язвительность. Они слегка придерживались Оленинского общества, которое в умеренности своей стояло неподвижно, пока, подобрав дружину (чтобы не сказать шайку) молодых, смелых пероносцев, с умножившимися силами они не сделались совершенно независимыми. Дерзость и осторожность были их девизом. Первые нападения их были на обезглавленную «Беседу», к которой Греч сам некогда принадлежал. «Беседа» и «Арзамас» тягались за честь, за вкус; тут сражались за одни барыши. Во дни преобладания Англии, по ее примеру, и в литературе должны были явиться ратоборствующие торговцы.

При беспрестанно возрастающем числе и смешении новых идей философических, политических, религиозных, трудно честному человеку мимо их итти прямым путем. Они — как подводные камни, возникающие среди бурного моря. Одни искусные люди умеют лавировать между ними: вот что делал Булгарин. Не бескорыстно, как утверждали, преданный правительству, которое приметным образом преследовало либерализм, он в то же время явно подавал руку, не выдавая их, людям, которые составляли особое литератур-

ное общество, распространяющее тайно самые свободные мысли [1].

Ад'ютант начальника моего, гвардии поручик Александр Александрович Бестужев, о коем случалось мне упоминать, был вместе с известным после Рылеевым одним из главных членов этого общества. Этот оригинальный писатель повестей мне чрезвычайно нравился своим умом и приятным обхождением. Служба сознакомила нас, но коротких сношений у нас не было, всего раза два-три, не более, посетил он меня. Мне и в голову тогда притти не могло, чтоб у него были вредные умыслы, ибо насчет мнений своих был он всегда очень скромен. Он говорил мне о Булгарине с участием и уважением и даже хвалился тесными связями с ним. После падения Бетанкура герцог Виртембергский взял его к себе в ад'ютанты. Участь его, как всем известно, была потом весьма печальная, но под конец, под псевдонимом Марлинского, и довольно блистательная.

Вот все, что имею сказать я о словесниках этой эпохи. Вскоре потом другой образ жизни, другие занятия на время совершенно изгнали литературу из головы моей.

Более тринадцати лет горделивый граф Гурьев оставался министром финансов и в денежный век почитал себя первым министром. Никто не ожидал его увольнения; на страстной неделе при докладе как-то проговорился он о своих немочах, о потребности отдохновения, а государь придрался к тому, чтобы с видом сожаления снять с него тяжкое бремя, на нем лежащее, из него оставив ему самую легкую часть — кабинет и уделы. Преемник ему давно уже приготовлен был Аракчеевым.

Генерал-интендант первой армии, Егор Францович Канкрин, не ей одной известен был умом, едва ли не через меру деятельным, и обширными познаниями во всех частях. Наука была наследственное имущество в его семействе. Дед его, раввин Канкринус, принявший не во святом, а в реформат-

---

[1] Булгарин состоял на службе в тайной полиции, но декабристов-писателей, среди которых он особенно был близок с Рылеевым и Бестужевым, он, действительно, не выдавал.

ском крещении имя Людовика, весьма известен был не целому, а только всему немецкому ученому миру. Сын его Франц Людовикович был также, как утверждают, хороший писатель; он прибыл в Россию и, не так как иные чужеземцы, был ей отменно полезен; он умер действительным статским советником и управляющим Старорусскими соляными заведениями. Наконец, сын последнего, Егор Францович, должен был далеко превзойти предков своих.

Он сперва долго находился в гражданской службе. Я помню в 1809 году его длинную фигуру, когда в чине статского советника посещал он соляное отделение департамента государственного хозяйства, к коему был он причислен и в коем я временно занимался; он ни над кем не начальствовал, а служащие из'являли ему особенное уважение. Военный министр, после главнокомандующий, Барклай открыл его великие способности, перевел в военное министерство и взял с собою в армию, где поручил ему продовольственную часть. Четыре года сряду в России, в Германии, во Франции войско наше, благодаря его попечениям, ни в чем не нуждалось. Находясь все между военными, захотелось ему надеть их платье, и генеральские эполеты были одною из наград за труды его.

Когда его назначили на место вольможи нового издания, Гурьева, казалось, что министерство финансов с ним упадет. Нимало: человек с необыкновенным умом всегда будет равен месту своему, как бы высоко оно ни было. При великой учености, хотя он любил выдавать себя за немца и отчасти был им, не показывал он ни малейшего педантства; живость другого происхождения проявлялась не в действиях, не в поступи его, а в речах: он был чрезвычайно остер. Самолюбие было в нем чрезмерное, но спеси вовсе не было: со всеми обходился просто, хорошо, хотя слегка и давал чувствовать высокое мнение о себе. Сей порок, если сие так назвать можно, был в нем источник благороднейшего чувства — великодушия: он до того презирал врагов своих, что даже, когда мог, никогда им не хотел мстить. Его занимали не одни дела и науки: он изрядно играл на скрипке и любил говорить о музыке; но еще лучше судил он об архитектуре и написал книжку под названием: «Ueber das Schöne in der Baukunst» [О красоте в архитектуре]. И хотя сие не входило в прямые его обязанности, он умел украсить Петербург

и его окрестности общественными полезными построениями, отличающимися и прочностью и вкусом.

Я воображаю себе, что должны были почувствовать директоры департаментов, когда после важного, тупоголового Гурьева они начали заниматься с человеком, у которого была такая ясность в мыслях, такая быстрота в понятиях. Мне два раза в жизни случилось говорить с ним: один раз просителем, не за себя; другой раз даже беседовать с ним около часу. Я с большим почтением подошел к министру и не с меньшим удовольствием долго слушал разумника [1].

Он женился в Могилеве на Катерине Захаровне, дочери Захара Матвеевича Муравьева, брата Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. По матери-немке была она двоюродною племянницей жене фельдмаршала Барклая и жила у тетки. Сия последняя главную квартиру армии находила весьма удобным местом для сбыта племянниц. Кажется, с окончательным «ин», женившись на русской, чего бы стоило Егору Францовичу сделаться совершенно русским? Нет, звание немца льстило его самолюбию, а звание русского, в его мнении, унизило бы его. Кто же виноват, если не мы сами, когда без всякого спора так постоянно уступаем у себя иностранцам первенство перед собою? И оно так останется, пока не явится другой Петр и не подымет из унижения, в которое ввергнул нас первый Петр.

Узнав об увольнении Гурьева, многие, встречаясь, произносили: «Христос воскрес» еще радостнее обыкновенного.

В этот же день последовала другая важная перемена, но о которой мало говорили, вероятно, потому, что она не была окончательною. Когда в конце 1818 года возвращался я из Мобёжа в Петербург с доктором Пикулиным, дорогой мы мало ли кой о чем переговорили; между прочим, многое узнал я от него о князе Петре Михайловиче Волконском... Свойства таких людей более открыты бывают их врачам и камердинеру, чем духовнику их. В качестве мелкого медика приписанный к свите государя Пикулин находился во всех первых

[1] Е. Ф. Канкрин был выдающимся министром финансов своего времени и много сделал для поднятия русской валюты; был человек исключительной честности. Жена его — сестра декабриста Арт. Муравьева. Канкрин старался облегчить положение последнего в Сибири.

его походах и путешествиях, и Волконский неоднократно прибегал к его помощи, требуя скорых, хотя бы сильных, средств к исцелению. Тщетно Пикулин об'яснял ему, что одно радикальное лечение может ему помочь, а что таким образом зло придавленное впоследствии жестоким образом может обнаружиться. «Вы увидите, что рано или поздно (точные слова Пикулина) все это ему отрыгнется». Предсказания Пикулина сбылись... Видно, в этом году стало ему не в мочь; без того неужели бы он решился разлучиться с царем под опасением, что отвычка и забвение могут уменьшить милости его к нему? Как бы ни было, он сам стал проситься в отпуск за границу к минеральных водам, а недруг его, Аракчеев, подготовил уже на его место одного из подручников своих, начальника штаба первой армии, барона Дибича. Через шесть месяцев, возвратясь к должности, он уже в нее не вступал, ибо заступающий его место утвержден в звании начальника главного штаба. Во время оно, когда посещал я дом госпожи Танеевой, видел я у нее все аракчеевское общество и раза два его самого. На балах, на вечеринках, встречал я семейства Апрелевых, Дибичей, Клейнмихелей и других и никак не мог предвидеть будущего их величия. Судьба Аракчеева сходствует с участию Наполеона, когда тот и другой гасли в заточении: люди ими взысканные, ими созданные, удерживались, а некоторые и возрастали в могуществе. Но никто из них так скоро и так высоко не поднялся и так быстро не исчез, как Дибич.

Отец его, так же как и он, Иван Иванович, был престарелый прусский полковник, родом из Силезии, как славянское прозвание его показывает. По призову ли Павла или сам собою прибыл он в Россию, по доброй ли воле, или нет оставил Пруссию, не знаю; если поневоле, то тем более ему делает чести. Он слыл великим тактиком, только не на практике. Скоро произвели его у нас генерал-майором, дали большое содержание и поместили в Михайловском замке; и хотя потом всеми признана была его бесполезность, дарованное ему оставлено. Двух сыновей его, из коих меньшой так прославился, определили в русскую службу.

Семеновские офицеры, как уже говорил я, старались в обществе отличаться любезностью, ловкостью и щегольством. Между ними молодой Дибич примечателен был неуклю-

жеством и невзрачностью. Товарищи однако же не могли пренебрегать юношей, одаренным великою твердостью и благоразумием, напротив, в своих недоумениях, несогласиях, всегда прибегали к его советам и подчиняли себя его суду. В нем ничего не оставалось славянского, одно только германское во всем было видно. Всегда степенный, рассудительный, хладнокровный в делах обыкновенной жизни, как бы равнодушный к окружающему, он исполнен был огня; не сердце кипело у него, а горела голова́ и, как у всех немцев новейшего времени, полна была фантазий. Во время первых двух французских кампаний, не оставляя гвардии, был он откомандирован в армию и не в больших еще чинах умел показать храбрость и искусство. Когда прусская королева с супругом посетили Петербург, несколько гвардейских офицеров-молодцов назначены были для бессменного при них дежурства во время их пребывания. Как-то в число их попал и Дибич; кто-то из высших вычеркнул его имя, промолвив: «Как можно? Такую гнусную фигуру!» Он узнал о том, обиделся и вышел в генеральный штаб.

Двенадцатый год открыл ему славное поприще, на котором он славно был остановлен Парижским миром. Находясь в Могилеве первым лицом после фельдмаршала, привыкал он уже там к главному начальствованию. Так же как Канкрин, женился он на племяннице госпожи Барклай, баронессе фон Тронау. Сам Барклай любил его с нежностью отца, однако же не был ослеплен насчет его недостатков. Я повторяю здесь слова его, переданные мне одним из приближенных: «Нельзя лучше Дибича найти начальника штаба; но горе ему и армии, если он будет главнокомандующим». Не того ли же мнения был Наполеон о Бертье? Многие полагали, что по привычке трудно будет Александру без Волконского; они не знали немцев: из них самый суровый на вид лучше всякого русского умеет быть гибок и угодителен там, где его польза.

В это время и помину еще не было о намерении графа Кочубея оставить должность; через четыре месяца спустя, узнал я уже в провинции об увольнении его. Надобно полагать, что он надеялся созданное им министерство внутренних дел возвысить до прежнего значения и самому вновь приобрести доверенность царя; его ожидания не сбылись, и он видел приближение минуты, в которую предложат ему

успокоиться; он не хотел дождаться ее. Была еще и другая причина, законная, естественная: тринадцатилетняя дочь его, без ног, страдала всем телом до того, что не могла вынести движение кареты, а доктора советовали отправить ее в южный край. Тогда Кочубей едва ли не первый проложил путь, которому и теперь мало следуют, хотя посредством пароходов мог бы он быть удобен. На водах, на которых сопровождал я Бетанкура, поплыл он до Нижнего Новгорода, оттуда вниз по Волге поехал он в Саратов и Дубовку, откуда, по краткости вòлока, дочь его перенесли на руках до Качалинской станицы на Дону. По этой реке спустился он в Азовское и Черное моря и к осени на зиму приплыл в Феодосию.

Управляющим министерством на его место назначен был государственный контролер и, можно сказать, государственный муж барон Кампенгаузен. Опять немец! Но когда знатные чада России любят себя гораздо более, чем ее, почему не употреблять наемников? Кампенгаузен не успел оглядеться, как один несчастный случай прекратил его дни: карета, в которой сидел он, упала, а как человек был он тощий, точно хрустальный, то и должен был расшибиться вдребезги.

На первый случай, чтобы заместить его, взялись за устаревшего Василия Сергеевича Ланского, а потом, забывшись, остался он на этом месте. Он был некогда лихим гусарским полковником Сумского полка и страстным обожателем прекрасных. Видно, было в нем что-нибудь еще другое, ибо Екатерина избрала его губернатором в Саратов, и там он был совсем не лихим, а деятельным и искусным правителем вверенной ему страны. По его желанию, при Александре в том же звании он переведен в Гродну и там, кажется, оставался до 1812 года. Супруг и отец семейства, он в прелестях полек находил извинение частым своим неверностям. По занятии русскими Варшавы, находился он долго членом временного там правительства, пока не сделали его членом государственного совета. В двух Капуях, Гродне и Варшаве, труды и наслаждения изнурили умственные силы этого старца еще более, чем телесные. Он хорошо понял, что слепому случаю обязан он министерством, и совершенно предался ему, мало заботясь о делах, никогда не имея докладов у государя и все почитая себя накануне увольнения.

Мы видели, как пошатнулся кредит князя Александра Николаевича Голицына; недоброжелатели его не упустили тем воспользоваться. Один умный и смелый изувер, архимандрит Новгородского Юрьева монастыря Фотий, с грубым чистосердечием соединяя большую дальновидность, сильный дружбой Аракчеева, преданностию и золотом графини Орловой-Чесменской, дерзнул быть душею заговора против него. Тайно поддержанный и митрополитом Серафимом, он следил за преподаваемым в учебных заведениях и вопил против неправославного, даже нехристианского направления, которое оно принимает. Три человека, находившиеся под начальством Голицына и им облагодетельствованные, Магницкий, Рунич и Кавелин, имели также связи с противниками его и втайне строили ему ковы. О двух из поименованных случалось мне говорить и, может быть, еще случится; о Руниче не стоит того.

Когда все было готово, когда все назрело, одною книжкой, изданною Библейским обществом и пропущенною цензурой, как уверяли меня, нанесен решительный удар Голицыну. В ней, между прочим, сказано было, будто спаситель наш, прежде земли, воплощался уже в других мирах, и что у богоматери, исключая его, были другие дети от Иосифа. Александр сильно вознегодовал: цензоры полетели на гауптвахту; оба директора департаментов, Попов и Тургенев, были отставлены, а Голицын уволен только от управления министерством духовных дел и народного просвещения. Для препровождения времени оставлен ему почтовый департамент под именем главного управления или министерства. Это один из примеров, что у нас не людей избирают для министерств, а министерства создают для людей.

Чтобы посадить на его место, вырыли из забвения полумертвого Шишкова. Триумвиры, выше названные мною, взяли его к себе в опеку и из видов корысти, личного мщения (а один, Магницкий, по врожденной злости), именем его стали преследовать зло, но, противодействуя ему, творили ужасные несправедливости. С назначением Шишкова православная часть отошла от департамента духовных дел и, в виде особой канцелярии, перешла к синодальному обер-прокурору; доклады же святейшего синода государю представлялись через Аракчеева. Из четырех министров троим (воен-

ному, юстиции и внутренних дел) было за семьдесят лет, а четвертому, министру просвещения, около осьмидесяти. Сия геронтократия должна была нравиться Аракчееву своим бессилием и покорностию. Впрочем, спасибо ему за трех полезных немцев.

Трудно изобразить состояние, в котором находился Петербург весною 1823 года. Он был подернут каким-то нравственным туманом; мрачные взоры Александра, более печальные, чем суровые, отражались на его жителях, и это влияние проникало даже до людей, подобно мне, малозначительных. Говорили многие: «Чего ему надобно? Он стоит на высоте могущества». Всякий об'яснял по своему причину его неутешной грусти. Человеку, который должен был жить в веках, прославленному другу свободы, по необходимости сделавшемуся ее стеснителем, тяжко было думать, что он должен отказаться от любви современников и от похвал потомства.

Мне кажется, что пример Наполеона возбудил в нем сильное честолюбие; но для удовлетворения его думал он употребить не насилия, а совсем иные средства. Он пленялся Западом и хотел пленить его; вот что об'ясняет непонятное пристрастие его к Польше: она была преддверием Германии, и, подобно Наполеону, надеялся он со временем быть ее главою. Мятежный дух, поднявшийся в этой стране, показал ему, что ожидания его не сбудутся. Многие другие обстоятельства и некоторые семейные тяготили его душу.

Напрасно человеку даны воля и рассудок. Судьба часто располагает нами по прихоти своей или скорее по воле того, кто ею правит. Со мною, по крайней мере, в жизни все хорошее и дурное приключалось внезапно, неожиданно. Таким же образом в этом году вдруг судьба моя переменилась, как читатель увидит ниже. Но прежде того должен я напомнить ему двух юношей-отроков, бывших моими товарищами в московском архиве иностранных дел, особенно об одном, коего имя в сих Записках было раз упомянуто, но никогда не повторено.

То был Константин Яковлевич Булгаков, который вскоре после коронации Александра, по протекции отца (некогда посланника в Константинополе), получил место в многочисленной венской миссии. Работы ему там было мало, да, я

думаю, и вовсе не было: зато в сем материальном городе нашел он бездну наслаждений. Он был красив лицом, крепок телом, любил без памяти женщин и умел им нравиться. Успехи его по сей части были вседневные, бесконечные; уверяли, что вся австрийская аристократия перебывала в его об'ятиях. Он бы век прожил в Вене, если бы смерть отца не заставила его воротиться в Россию. Покойный Яков Иванович, выпросив двум незаконнорожденным сыновьям фамильное имя свое, полагал, что с ним вместе связаны права законных детей, и не заботился о духовной. Племянницы, после смерти его, стали оспаривать наследство у сыновей; тяжба длилась, и положение Булгаковых было совсем незавидное. Тогда Константин задумал отправиться в молдавскую армию, в надежде, что там золото сыплется дипломатическим чиновникам.

Надобно отдать ему справедливость: не одним красивым женщинам, но и сильным людям умел он нравиться, с теми и с другими быв смел без дерзости и угодителен без унижения, вообще стараясь приноравливаться ко нраву каждого. И поочередно был он любимцем Каменского, Кутузова и Чичагова; с сим последним достигнув Березины, встретился он опять с Кутузовым, другом отца своего, который оставил его при себе. После того постоянно находился он в большой армии или, лучше сказать, в свите государя до самого Парижа; был также и на венском конгрессе. Тут много перенес он трудов, переписывая депеши и снимая копии с трактатов. Для редакции его употребить никак нельзя было. Он сам хорошо это знал и, возвратясь в Петербург, стал приискивать место, которое бы представляло приятную деятельность без больших трудов. Он сделан почт-директором сперва в Москву, а потом в Петербург.

Это место, с коим сопряжено было до восьмидесяти тысяч доходу, было место завидное, однако же не столько уважаемое. Оно находилось в зависимости от почтового департамента и почиталось ниже директора оного. Занимавшие его были люди тихие, образованные, жившие в небольшом кругу знакомых, благословляя судьбу свою и откладывая ежегодно суммы для обогащения детей своих или родственников. Булгаков умел поставить его на высокую ногу,

придать ему какую-то важность министерскую [1]. Греческую хитрость свою прикрывая дипломатическою умеренною учтивостию и видом военной откровенности, которую принял он во время своих походов, составил он связи с лучшими генералами и особенно с приближенными из них к царю. То же самое было и с высшими гражданскими чиновниками; но со всеми весьма искусно умел он поставить себя на ногу почти совершенного равенства. В пребольших комнатах почтового дома, ярко на казенный счет освещенных, два раза в неделю принимал он гостей. Вечера эти были новостию для Петербурга; соединяя лучшее общество с нелучшим, они привлекали совершенною свободой и равенством, которые на них царствовали. Сам хозяин являлся в сюртуке и с трубкою во рту, а курительный табак был к услугам всех гостей. Дамы, разумеется, тут не показывались, и это можно было бы назвать холостою компанией, если бы в гостиной не сидела хозяйка, жена Булгакова, дочь валахского бояра Варлама, которая, впрочем, все хохотала, обходилась свободно и нимало не стесняла веселья общества. Смело ручаюсь, что усерднее монархиста, чем Булгаков, не могло быть; но судьба влечет людей, и, освобождая себя и других от уз приличия, сие поведет, может быть, к разрыву других уз, более священных.

Что ни говори, это был клуб или трактир такого рода, в котором самим министрам не зазорно было показываться, и вход в него ничего не стоил. Еще скорее залу или биллиардную Булгакова можно было назвать биржей для не торговых, а гражданских оборотов. Тут можно было встретить статс-секретарей, сенаторов, обер-прокуроров, директоров департаментов, которых сперва зазывали и которые после сами напрашивались. Между ними были сделки, условия, взаимные

---

[1] К. Я. Булгаков, как и брат его, московский почт-директор А. Я., сумел сделать свою должность «важною» еще тем, что перекрестно сообщал содержание частной переписки лицам, занимавшим высшие должности в государстве. Такое использование своего служебного положения не мешало братьям Булгаковым быть в дружеских отношениях с Жуковским, Вяземским, Крыловым, А. Тургеневым, Пушкиным и другими писателями. Опубликованная собственная переписка братьев Булгаковых, не боявшихся перлюстрации, представляет большой интерес для истории той эпохи.

соглашения об определении чиновника на места. Булгаков играл тут роль главного посредника; о ком бы ни замолвили ему слово, о человеке, которого он никогда не видал, которого вовсе не знал ни честности, ни способностей (об этом он мало заботился), спешил он ходатайствовать за него. Отказы получал он нередко и не сердился за то: вообще покровительство было у него не страстию, а расчетом. Все прославляли его гостеприимство, которое ему ничего не стоило, и благодеяния его, которые стоили ему несколько рассеянно сказанных слов. Что касается до тяжб, то просьбы его бывали упорнее, настойчивее; он также не брал труда читать бумаги, входить в существо дела,а просто делался защитником одного из просителей... Удовольствие было целию его жизни... И никто еще из смертных не наслаждался столько житейскими благами! С самой первой молодости я не чувствовал к нему симпатии; после того, не имея никакой нужды ни в особе, ни в обществе моем, он едва замечал меня, а я едва ему кланялся.

Другой человек более всех других известен читателю. Блудов возвратился из Лондона и возвращается в сии Записки. Он находился в иностранном министерстве без должности, но не без дела. С высочайшего соизволения, по докладу графа Каподистрии, поручено ему было создать русский дипломатический язык, то-есть под его наблюдением должны были заниматься молодые чиновники переводом всех актов венского конгресса. Переводы были дурны, и переправка их ему стоила более труда, нежели если б он переводом сам занялся, но дело сие окончено с желаемым успехом. Вскоре потом возложено на него другое важное поручение.

Когда, в конце 1815 года, государь вторично воротился из Парижа, вспомнил он о сделанном им в эти шумные годы небольшом завоевании, на которое дотоле он не обращал внимания. Бессарабия была сперва управляема, по гражданской части, престарелым молдавским бояром, русским действительным статским советником, Скарлатом Дмитриевичем Стурдзою, по военной генерал-майором Иваном Марковичем Гартингом. Первый скоро умер, и обе власти соединились в руках последнего. Неустройствам там не было конца, самоуправление было чрезмерное. Сын умершего Стурдзы,

столь известный Александр Скарлатович, находился тогда при уважаемом государем статс-секретаре Каподистрии, был его другом и сотрудником. Исполненный тогдашних идей и зная склонность Александра отделять от России сделанные ею завоевания, он затеял из частицы своего отечества сделать маленькое образцовое государство с представительным правлением. Через Каподистрию он успел в том: подольский военный губернатор, Алексей Николаевич Бахметев назначен полномочным наместником в Бессарабскую область, и она сделана независимою от власти Сената и наших министров. Еще хотелось ему, чтобы, по примеру Польши и Финляндии, назначен был для нее особый министр-статс-секретарь, и это желание отчасти исполнилось. Граф Каподистрия согласился докладывать государю по делам нового края, а Стурдза, заправляя ими, приготавливать доклады, и некоторым образом сделался статс-секретарем по сей части.

Таким образом продолжалось до 1821 года, до возвращения государя из Лайбаха. Когда греки восстали на турок, положение России в отношении к сему делу было самое затруднительное. Возмущение сие совпадало с другими совершившимися на Западе, казалось, в тайной связи с ними и как бы продолжением мятежной цепи от Тага до Босфора. Стараясь усмирять одних, как можно было явно помогать другим против султана, законного владыки, в нарушение святости трактатов! Католический мир, французское правительство и особенно Австрия открыто держали сторону турок; Англия, по обыкновению, смотрела спокойно на резню народов. Нам же, с другой стороны, без всякого участия внимать воплям наших братий, наших единоверцев, наших первых наставников и учителей во святой нашей вере, было невозможно. Все народы европейские, вся Россия взывали к государю; а Турция, тайно подстрекаемая, вероятно, самими же либералами, своими дерзкими поступками сама вызывала нас на бой. Демократический дух этого возмущения один уже должен был нас от того удерживать. Целому свету известна тут умеренность Александра; по моему мнению, никогда не поступал он столь осторожно, столь благоразумно и, смею прибавить, столь справедливо. Греку Каподистрии, которого турки подозревали, обвиняли и который явно показывал республиканские наклонности, оставаться при нем долее

было бы трудно. Он оставил и нашу службу и Россию; за ним последовал и Стурдза, вышел в отставку и поселился в южном крае.

Но как оставить без призрения любезную Бессарабию? Кому завещать ее? Упросили графа Кочубея, при других его больших занятиях, заменить в этом случае графа Каподистрию, а Блудова — принять в свое заведывание дела, находившиеся у Струдзы. Он уже приучил себя к трудам, а при Нессельроде не мог он ожидать никакого важного значения. Да и в Лондоне бывал он занят только во время отсутствия посла графа Ливена, когда он на его месте оставался поверенным в делах. Супруга сего последнего, графиня Дарья Христофоровна, сестра двух Бенкендорфов, Александра и Константина, при нем исправляла должность и посла и советника посольства, ежедневно присутствовала при прениях парламента и сочиняла депеши. Сия женщина, умная, сластолюбивая, честолюбивая, всю деятельную жизнь свою проводила в любовных, общественных и политических интригах. Веллингтон, Каннинг и весь лондонский фашион [высший свет] были у ног ее. Куды какую честь эта женщина приносила России, ей чуждой по чувствам и по рождению! Я не одобрял согласия Блудова: мне казалось, что, в превосходительном его чине, доклады по одной малой области суть дело мелочное. Я не знал, что это делает его известным самому царю.

И вот два человека, совсем различных свойств, которые нечаянным образом в это время имели влияние на переворот в судьбе моей.

Совсем собрался я если не на вечный, то на долгий покой. Не более пяти или шести раз случилось мне в Петербурге посетить немецкий театр; не понимаю, как мне вздумалось вдруг еще раз взглянуть на него; я думаю, оттого, что на нем играли любимую оперу мою — «Деревенские певицы» Фиоравенти. В креслах увидал я Булгакова с постоянным наперсником его Маничаровым: они тут ухаживали за какими-то актрисами. Последний во время междудействия подошел ко мне и сперва начал было говорить с сожалением о нашем бывшем начальнике и о моем положении. Но, несмотря на свой сериозный вид, он до печальных речей был не охотник, любил одни веселые. Вдруг сказал он мне:

— Знаете ли, что? Вам предстоит случай приятным образом продолжать службу. Граф Воронцов назначен Новороссийским генерал-губернатором.

Не желая об'яснить ему мнения, которое об этом человеке составил я себе в Мобёже, я отвечал, что за меня некому его просить.

— Как некому? А Булгаков-то на что? Ведь они с ним страшные друзья.

— Нет, Булгакова я утруждать не буду; да и он сам меня не очень жалует, — отвечал я.

— Как вы ошибаетесь на его счет! Он на всякие одолжения готов.

Тем и кончился разговор наш.

Дня через три заехал ко мне Блудов, к удивлению моему, с упреками: как можно искать покровительства человека, которого я не люблю и не уважаю, не предупредив о том приятеля, который в исполнении моего желания гораздо лучше мог бы мне способствовать? Я ничего не понимал. Еще в Лондоне хорошо был он знаком с Воронцовым, а тут, когда назначили того вместе и полномочным наместником Бессарабской области, то и по делам должен был он войти с ним в ближайшие сношения. Я ничего про то не знал, да и мало о том заботился. Он приехал ко мне прямо от Воронцова, который, между прочим, спросил у него, знает ли он меня.

— Мне рекомендует его Булгаков, — сказал он, — но вы знаете, какой он добрый, за всех хлопочет: ему трудно поверить.

Увлеченный приязненным чувством, Блудов вероятно не побранил меня.

— О, если оно так, то не худо бы поскорее с ним сознакомиться! Да почему бы не завтра часов в двенадцать? Я буду его дожидаться.

Я вспомнил театральную встречу мою с добрым Маничаровым, рассказал ее и прибавил, что ни намерения, ни желания служить при Воронцове не имею.

— Все равно, — сказал Блудов, — надобно все-таки сходить к нему и найти средство учтивым образом отказаться.

Последнего я никак не умел сделать. Кто не знает ныне Воронцова? Кто не знает, как увлекателен бывает его прием

тем, коих он желает при себе иметь? Разве один Александр бывал очаровательнее, когда хотел нравиться. Он имел какую-то щеголеватую неловкость, следствие английского воспитания, какую-то мужественную застенчивость и голос, который, не переставая быть твердым, бывал отменно нежен. Более получаса разговаривал он со мною наедине о разных предметах, преимущественно же о крае, коим собирался управлять. Я, с своей стороны, ничего не упоминал о себе, не из'являл никаких надежд, не указывал ни на какое место. Прощаясь со мной, просил он меня понаведаться к нему, дабы пообстоятельнее поговорить о наших делах. На этот раз нашел я его в каких-то хлопотах; он успел сказать со мною несколько слов, еще приголубить меня и пригласить дня через два к себе обедать. Потом опять присылал он меня звать к себе, потом... потом не знаю, как это сделалось, я признал себя в совершенном его распоряжении. Он обошел меня, да и я, кажется, не совсем ему был противен. Даже граф Кочубей расхваливал меня ему. Я некогда служил под его начальством, но как было ему знать меня? Не принимал ли он меня за отца моего? По соглашению с Кочубеем и Блудовым, условлено по прибытии на место сделать меня правителем особой канцелярии бессарабского наместника.

Я, виноват, не пошел благодарить Булгакова: мне не хотелось в этом деле признавать его участия. Итак, едва оставив службу, не думав, не гадав, я опять готов был поступить в нее.

Мне оставалось только отправиться надолго и в долгий путь, ибо непременно надобно мне было заехать в Пензу, где меня ожидали и куда заблаговременно, не предвидя, что со мной случится, отправил я свои пожитки и всю накопленную мною маловажную движимость.

Зрелищем совершенно для меня новым в Пензе были войска, в ней и вокруг нее расположенные. С незапамятных времен, кроме ополчения 1812 года да внутренней стражи, других воинов в ней не видали. Дивизией начальствовал генерал-лейтенант Иван Федорович Эмме, семидесятилетний старец, совсем не маститый. Чудесно-крепкого сложения, он еще бегал в саду у брата моего, при мне перепрыгивал через

довольно широкий ров, в четвертый раз был женат (у немцев это дозволено), жене своей, лет сорок его моложе, начинал изменять и собирался развестись с нею. Хотя он и смотрел молодцом, о военных подвигах его что-то мало знали. Получив изрядное образование, он в обществе бывал довольно приятен и весел. Мне все это в его лета не нравилось, и он мне все казался старым мекленбургским жеребцом, еще годным под седло.

Как в Рим, так и в Одессу все пути ведут из Киева. Мне сказали, что их несколько; как мне было выбирать из них? У меня было письмо от матери к графине Браницкой, и потому сперва поехал я в Белую Церковь, в ночь с 20 на 21 июля.

Ночи в это время бывают еще коротки, да и путь был мне не длинен; я совершил его до рассвета. В Белой Церкви живала графиня только по зимам; летом же — в трех верстах оттуда, в своей любезной Александрии, собственными ее стараниями возращенный огромный парк. Туда я прямо проехал и остановился в довольно чистой корчме. Выспавшись, часу в одиннадцатом я принарядился и пошел являться.

Проходя садом или парком, я подивился его красоте; строения, которые нашел я на конце его, меня удивить не могли. Над каменным двухэтажным домом, которому предназначено было вмещать в себе гостиницу, большими буквами выставлено было слово Аустериа, и в нем-то помещалась владетельница замка. Я нашел ее после чая или завтрака одну с дочерью, в большой комнате нижнего этажа, служащей ей и гостиной и кабинетом, в черном тавтяном, довольно поношенном копоте, в белом, довольно заношенном чепце. Она не расточительна была на ласки и приветствия; зато простое, доброжелательное обхождение ее вселяло уважение и доверенность. Поговорив со мной о матери моей, она сказала, что я непременно сколько-нибудь должен у нее погостить, а потом, позвонив, велела мне во флигиле отвести две или три весьма чистые комнаты.

В этой женщине было так много оригинального, что распространиться немного об ней считаю вовсе не излишним. При необ'ятном ее богатстве, все говорили, что она чрезмерно скупа, и я имел тут случай убедиться в том; зато на доброе дело случалось ей бросать по сту и по двести тысяч

рублей [1]. В этой русской барыне, совершенно старинной помещице, было так много ума, важности и приличия, что ни один поляк, даже по заочности, не дерзал попрекать ее варварством. Царствование Екатерины было на ней напечатано.

За обедом, исключая хозяйки и меня, сидели четыре женщины и один мужчина, и вот кто они были.

Младшая дочь, графиня Елисавета Ксаверьевна Воронцова, жена моего будущего начальника. Ей было уже за тридцать лет, а она имела все право казаться еще самою моloденькою. Долго, когда другим мог надоесть бы свет, она жила девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностию. В ней не было того, что̀ называют красотою; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи. Сие изображение служит доказательством моему беспристрастию, ибо впоследствии была она ко мне чересчур немилосерда, хотя на этот раз старалась быть отменно любезна.

Как контраст, сидела подле нее дочь генерала Раевского, Елена Николаевна, дева еще не старая, но мрачная и больная. Все семейство ее страдало полножелчием, и, смотря по сложению каждого из членов его, желчь более или менее разливалась в их речах и действиях. Графиня Браницкая приходилась двоюродною теткой Николаю Николаевичу и оттого покровительствовала и поддерживала его семейство, за что̀ не весьма хорошо отблагодарило оно ее [2].

---

[1] Одним из таких проявлений «щедрости» Браницкой было крупное ассигнование на усмирение восстания в южной армии в 1825 году, когда С. И. Муравьев-Апостол со своим Черниговским полком едва не занял Белой Церкви.

[2] Известный герой войны 1812 года, сын одной из племянниц Потемкина. Сыновья его, Александр и Николай, друзья Пушкина, прикосновенны были к заговору декабристов, но отделались легко благодаря заслугам отца. Другая дочь его — М. Н. Волконская, которую Пушкин воспел в «Евгении Онегине» и которой посвятил «Полтаву», поехала за мужем-декабристом в Сибирь.

Третья особа была старая знакомка моя, Наталья Николаевна Ергольская, дочь киевского советника Николая Ивановича, о коем говорил я в начале сих Записок. Об имени четвертой женщины, какой-то шляхтянки, паньи-экономки, я не только не спросил, но даже хорошенько не поглядел ей в лицо, хотя она сидела рядом со мною.

Предметом общего, особого внимания гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов, как соотечественнику, поручил наблюдение за здравием жены и малолетней дочери: перед ним только одним стояла бутылка красного вина.

Порядочно отдохнув после обеда, графиня предложила мне показать сама свое прекрасное создание. Она не повезла и не повела меня с собою. С ослабевшими и опухшими ногами, она ходить не могла; два казака повезли ее в креслах на колесах, а я сопутствовал ей пешком. «Посмотри, батюшка, сказала она мне, — двадцать пять лет тому назад здесь было голое поле, прутика не видать было, а теперь мы гуляем в густом лесу». Быстрая речка Рось, в ином месте удержанная, в другом вьющаяся по воле, протекает весь этот длинный сад. От палящего зноя этим летом вся трава пожелтела; близ речки сохраняла она только свою свежесть, и большие голубые цветы на высоких стеблях, по берегам ее насаженные, казались бесконечною сапфировою цепью. Всех прелестей этого очаровательного места я описывать не буду: их было слишком много. Графиня Браницкая сроднилась с природой; деревья сделались ее обществом и друзьями. Проезжая мимо иных, проговаривала она: «голубчик, красавец ты мой!» С досадой отворачиваясь от других, говорила мне: «я этих терпеть не могу», — однако же не лишала их жизни, не велела рубить. Сперва я не чувствовал усталости, но, наконец, готов был в ней признаться моей вельможной путеводительнице, когда закат солнца заставил нас воротиться.

Следующий день провел я почти таким же образом. Делаясь доверчивее и смелее с графиней, я заговорил ей про

Единоутробный брат ген. Раевского-отца В. Л. Давыдов был одним из главарей Южного тайного общества. Другой зять ген. Раевского, М. Ф. Орлов — один из главных деятелей тайных обществ. О нем — выше.

толки, которые идут о ее капиталах, и находил, что, по моему мнению, счет им должен быть преувеличен. «Не знаю, право, батюшка, наверное не могу сказать, а кажется, у меня двадцать восемь миллионов», — отвечала она. Потом прибавила: «Меня все бранят за то, что я не строю дворца. Я люблю садить, а не строиться; одно потруднее другого и требует гораздо более времени. После меня, если сыну моему вздумается взгромоздить хотя мраморные палаты, будет ему из чего».

Из Белой Церкви чем свет выехал я 23 числа по тракту, мне там указанному. Первый городок, который увидел я, был ледащий Таращ, а после большое местечко Ольшаны, принадлежащее Василью Васильевичу Энгельгардту, племяннику Потемкина и брату Браницкой. Тут мог я немного своротить с дороги, чтобы взглянуть на Казацкое, где провел я год моего отрочества, и мне до смерти того хотелось, но время становилось дорого и, околесив большую часть России, дорога начинала мне надоедать. От Ольшаны и Казацкого вплоть до Херсонской губернии идут именья, купленные Потемкиным у князя Любомирского; из них могло бы составиться княжество Потемкинское, пространнее и богаче иного немецкого герцогства. После его смерти разделены они между потомками трех сестер, и каждому из наследников досталось более пяти тысяч душ. В тот же вечер проехал я Шполу, доставшуюся Дарье Николаевне Лопухиной, внуке сестры его; рано утром — Золотополье, принадлежащее Николаю Петровичу Высоцкому, сыну той же сестры. Тотчас после сего местечка вступаешь в Новороссийский край.

Насилу в десять часов вечера 26 июля приехал я в Одессу.

Среди ночной темноты все показалось мне громадно. Я остановился в известнейшем отеле Рено̀, близ театра, перед которым горела блестящая иллюминация. Она была по случаю приезда графа Воронцова и должна была продолжаться три дня. Подмостки были сделаны, шкалики куплены, и хотя в это самое утро отправился он в Бессарабию, ее все-таки зажгли. Следовательно, как будто праздновали его **отбытие**.

Никогда еще столь богатых материалов не имел я для разработки; никогда столь длинной галлереи замечательных портретов не представлялось мне для списывания, как там, куда в первый раз приехал я: новый край, молодой еще, но высоко поднявшийся город, с разнородным населением, можно сказать, в малом виде рождающийся целый мир; наконец, настоящий двор, сборное, беспрестанно меняющееся общество. И когда пришлось мне все это описывать? Когда воображение гаснет, память тупеет, охота пропадает. Если бы я был так счастлив, чтобы в читателе возбудить какое-нибудь участие собственно к судьбе моей, то проложение простого рассказа о похождениях моих достаточно бы было для удовлетворения его любопытства.

Рядом со мной, об стену, жил Пушкин, изгнанник-поэт. Из первых частей видно, что чрезмерной симпатии мы друг к другу не чувствовали; тут как-то сошлись.

В Одессе, где он только-что поселился, не успел еще он обрести веселых собеседников; в Бессарабии звуки лиры его раздавались в безмолвной, а тут только что в шумной пустыне: никто с достаточным участием не в состоянии был внимать им. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если б у него и не было с ним общего знакомства, и он собою не напоминал бы ему Петербурга. Верно почитали меня человеком благоразумным, когда перед от'ездом Жуковский и Блудов наказывали мне стараться войти в его доверенность, дабы по возможности отклонять его от неосторожных поступков [1]. Это было не легко: его самолюбие возмутилось бы, если б он заметил, что кто-нибудь хочет давать направление его действиям. Простое доброжелательство мое ему полюбилось, и с каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Как не верить силе магнетизма, когда видишь действие одного человека на другого? Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние на-

---

[1] О взаимоотношениях Пушкина и Вигеля см. во вступительном очерке в I томе настоящего издания, где помещена и переписка их.

ших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. С своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацепив, мог бы я заставить заиграть этот чудный инструмент, и мне удалось.

Чрезвычайно много неизданных стихов было у него написано и, между прочим, первые главы «Евгения Онегина»; и я могу сказать, что я насладился примёрами (на русском языке нет такого слова) его новых произведений. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил он мне о шалунах-товарищах его в петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в лицее. Мало-помалу открыл я весь зарытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма. Вот почему все заблуждения его молодости, впоследствии, от света разума его исчезли как дым.

В первую седмицу пребывания моего в Кишиневе [в должности члена Верховного совета Бессарабии] воздержусь от описания лиц и мест, мне представившихся, а буду вести простой дневник случавшемуся со мною.

Радич повез меня 19 числа [сентября] в трактир к какой-то немке; обед был опрятный и сытный, и я удостоверился, что не везде тут скверно едят. Следующие дни беспрестанно получал я приглашения на обеды. В продолжение 20-го наехала вся свита и канцелярия графа [Воронцова], Казначеев, Марини, Брунов, Лекс и другие, а к ночи и сам он прибыл.

Для него, в год за двенадцать тысяч левов, нанят был не весьма большой и низкий дом Варфоломея, прозванный Пестрым[1]. Он едва мог вместить толпы пришедших утром поклонников, посетителей и просителей. Я отправился в Верховный совет и был немного смущен при первом взгляде

[1] Пушкин упоминает этот дом в послании к Вигелю о Кишиневе (1823 г.), как упоминает в своих стихотворениях и письмах того периода всех называемых здесь Вигелем лиц.

на состав его: наружностию и величиной сие высшее судилище походило на сборную избу. Кто-то ссудил меня мундиром, и я в первый раз прицепил свой владимирский крест. Сам наместник председательствовал и приводил меня к присяге.

Он уехал 23 числа, свита его — 24, а я 25 переехал в Пестрый дом Варфоломея, что̀ в глазах жителей придало мне великую важность.

У Радича спал я на соломе; тут нашел я атласные, бархатные диваны, мебели всех времен и фасонов, в азиатском и европейском вкусе, некоторые предметы роскоши, странные, стародавние, перемешанные с самыми новомодными, стены, расписанные всевозможными цветами. Хозяин этого дома был Варфоломей, недобросовестный, запутавшийся в делах откупщик, которому помогли за высокую цену отдать его со всем убранством внаймы для казны.

При от'езде из Петербурга, дав Блудову слово в частных письмах изображать ему состояние края, сверх того, имея от Воронцова поручение сообщать ему о всем любопытном в нем происходящем, расчел я, что гораздо лучше будет составить из всего одну общую записку, в которой представить им картину во всех ее подробностях. Мне нужны были сведения о лицах и делах; собирать их было нетрудно; во взаимных обвинениях служащих, конечно, было много клеветы, и я старался из рассказов их отделять одно вероподобное. Главный же источник, из коего черпал я, хотя с осторожностию, был Липранди, парижский мой знакомый, который находился тут в отставке и в бедности. Я с усердием принялся за сей труд, совершенно новый для меня в своем роде, и я смело могу похвалиться, что из всего касающегося до образа управления, до порядка, до особых узаконений края и до исполнителей их ничто тут не пропущено.

Я писал тогда в самом дурном расположении духа, под влиянием мрачной погоды и окружающей меня скуки и беспрестанно внимая мерзостям, мне сообщаемым. За истину мною писанного я могу ручаться, но истина, может быть, и преувеличена. Доходя до причин, надобно с некоторою снисходительностию смотреть на шалости ребят, на своенравие стариков и на излишнюю запальчивость юношей, а во мне сей снисходительности не было. Главная же ошибка моя со-

стоит в том, что на людей и на их нравы в этом новом краю смотрел я с самой фальшивой точки зрения [1].

Несколько лет спустя, под управлением русского генерала [П. Д.] Киселева, знаменитого мужа девятнадцатого столетия, довершено начатое [2]. С помощью двух-трех, по мнению его, просвещенных людей состряпал он для княжеств Молдавии и Валахии нечто в роде конституции. В молодости, когда он ничего не писал и не читал, наслышался он о свободе и представительных правлениях; в совершенно зрелых летах захотел он узнать, что̀ это такое, и принялся за дело. Со врожденным, необыкновенным, чисто русским умом увидел он, что почти все один обман, но обман, который может быть полезен. Он из числа тех людей, которые дружатся со свободой, обнимают ее с намерением после оковать ее в свою пользу, чего они, однако же, никогда не дождутся: явятся люди побойчее их, которые будут уметь для себя собрать плоды их преступного посева. А между тем он был причиною, что в нравственном смысле молдаване и волохи решительно отделились от России, в которой до него все еще видели они избавительницу. Юношество толпами поспешило в Париж, к источнику знаний и всех земных наслаждений; сколько мне известно, сими последними только пресытились они. И что̀ будет из сих несчастных, полных страстей и бедных рассудком? Не будут ли они со временем пагубой своего отечества?

Со времени присоединения области постоянно играл в ней важную роль Крупенский [М. Е.], принадлежащий к боярской фамилии. Он был тщеславен, как все молдаване, роскошен, но более их знаком с европейским житьем. У него в руках всегда находилась казна, и, следуя обычаю, принятому в Яссах, он полагал, что он может брать из нее все для него потребное. Особенно же в звании вице-губернатора при двух наместниках, Бахметеве и Инзове, он делал что̀ хотел,

[1] Эта записка Вигеля о Бессарабии, как позже записка его о Керчи, представляет собой набор пасквилей, клеветы и ругани по адресу местных жителей и вызвала, так же как и записка о Керчи, ненависть к автору, которого пришлось убрать с обеих должностей.

[2] Т. е. «развращение» края предоставлением ему некоторой самостоятельности.

не думая о дне отчетов и ответственности. Сей день настал для него с прибытием Воронцова; он скоро должен был оставить службу и поплатиться почти всем наследственным имением за неосторожно сделанные казенные займы.

На его место прибыл херсонский вице-губернатор Василий Васильевич Петрулин, добродушнейший и честнейший человек в мире, бывший долго ад'ютантом при дюке де-Ришельё. Едва успел он приехать, как, с наставления графа, меня, ему прежде неизвестного, поспешил посетить он в дорожном платье. Мы оба были залетные птицы в незнакомой стороне, оба должны были действовать с оглядкой, что̀ нас скоро чрезвычайно и сблизило. Его ужасала бездна беспорядков, которые надлежало ему исправить. Деятельность его изумляла всех, его утомляла, а меня заставляла бояться за жизнь его; ибо здоровье у него было самое плохое.

Председатель уголовного суда Курик совсем не был так страшен, так опасен и так могущ, каким я вообразил себе его и каким представил в Записке о Бессарабии. Он был украинец, ополячившийся во время служения в Варшаве и пристрастный к евреям; что же могло оставаться русского в этом провинциальном ораторе? В совете, в котором видел он какой-то парламент, надоедал он мне своими умствованиями, бесплодною плодовитостию речей. В ласковых его со мною разговорах не мог я поймать выражения ни единого чувства, согласного с моими. Все вместе породило во мне преувеличенную антипатию к нему, и оттого, может быть, и сказал я об нем что-нибудь лишнее.

О депутате от дворянства Иване Константиновиче Прункуле говорил я тоже не с весьма выгодной стороны, и теперь не буду ставить его примером добродетели. Но в нем было много примечательного; он казался выродком из тяжеловесных молдаван. Его чудный ум, быстрота, с какою обнимал он дела, и способность об'яснять их на русском языке, которому выучился он уже не в молодых летах, мне нравились так же, как и выразительный его взгляд и проворство телодвижений. По поставкам на армию, во время последней турецкой войны, имел он расчеты с казною. Такого рода дела предпринимаются не из усердия, а из барышей, и всякому хочется получать их более. Если требования его были неумеренны, не надобно было удовлетворять их. Из дела, в кото-

ром обращались миллионы, извлек он небольшое состояние в Бессарабии, и это ему ставили в вину. Не только ничего ему не уплачивали, но тянули и тянут еще разорительный для него процесс и его же еще преследовали. Вообще надлежит быть справедливее и таких людей беречь для будущего, дабы их примером не напугать их соотечественников и не охладить их к России. Сами земляки необыкновенный ум его называли плутовством; везде горе от ума!

Прежде всего следовало бы говорить о гражданском губернаторе [К. А.] Катакази; но из главных лиц он оставался так мало замечателен, что, бывало, всегда между ними его последнего разглядишь. Молоденьким гречонком из Константинополя в Молдавию вывез его господарь Ипсиланти, потом женил на одной из дочерей своих и по незрелости тогда ума его (и с тех пор мало созревшего) дал ему только звание каминара, как бы сказать — титулярного советника. После побега из Ясс привез он его с собою в Петербург. В награду за преданность Ипсиланти и за понесенные им потери, по его просьбе, два зятя его, Негри и Катакази, приняты в русскую службу с чином действительного статского советника, будто бы соответствующего их молдавскому званию.

Нечто в роде представительного правления введено было в Бессарабию под названием «Образования». С помощию наставлений, насылаемых из Петербурга, его составлял Криницкий, который, как всякий поляк, искренно или притворно любил вольность. Поляки, коими многие места наполнил он в области, воскликнули: республика! а недовольные молдаване возмечтали, что могут делать все, чѐ хотят. В 1820 году сделалась настоящая республика, только с осторожным президентом, Инзовым, которому помогали прикрываться постановлениями и законами. Вдруг узнают, что известный либерал, англичанин в душе, назначен наместником; вот тут-то пришло время совершенной свободы. Многие, вероятно, мечтали уже и о безначалии с Катакази, тем более, что место областного управления должно было перенестись в Одессу. Спросили бы они в великобританских колониях, как либеральничают там англичане. Спокойная твердость Воронцова всех поразила: в нем, более чем наместника, увидели наперсника царского. Как бы то ни было, с самой пер-

вой минуты, во все время многолетнего управления своего, не встретил он и тени сопротивления.

Вместо безначалия в делах показалось гораздо более порядка, и деятельность необходимая, дабы оживить сих неподвижных. Анархию нашел я только в общежительности; в городе, наполненном помещиками, служащими и эмигрантами из Молдавии и Греции, все жили порознь, нигде не было точки соединения. Старый холостяк, Иван Никитич Инзов, который никогда не приближался к женщинам и до конца жизни сохранил целомудрие, жил по-солдатски; оставшись в Кишиневе по званию попечителя колоний южного края, он ничего не переменил в образе жизни своей. Катакази получал большое содержание серебром, и хотя не справлял, как говорится, царских торжественных дней, проживал его сполна, да еще делал долги. Он ежедневно принимал у себя и кормил одних греков, и они-то об'едали его, сердечного.

Из моих соотечественников короче всех сошелся я с одним молодым человеком, так же как я, учившимся в форсевилевом пансионе, только несколько годов позже. Николай Степанович Алексеев родился в Москве, воспитывался в ней, вырос, возмужал и сражался за нее на Бородинском поле.

В 1819 году властвовал еще Бахметев или, скорее, супруга его Виктория Станиславовна, разводная жена графа Шоазеля-Гуфье, урожденная графиня Потоцкая. Как всякая полька, любила она власть и оттого любила начальствовавшего мужа, безногого, пожилого и хворого. Как полька, любила она деньги и оттого любила дикую еще Бессарабию, в которой видела для себя золотой рудник. Как полька, любила она роскошную жизнь, всякий вечер принимала у себя гостей и часто делала балы. Она жила во вновь построенном каменном доме о двух этажах, в нижней части города. Общество при ней процветало, тешилось, а земля платила за его увеселения: ведь нельзя же забавлять людей все даром. Министром финансов ее был армянский архиепископ Григорий, столь же любезный, как глубоко и откровенно безнравственный человек; я бы его возненавидел, если б он принадлежал к православному духовенству, но до чуждой мне веры какое мне дело? и мы всегда жили с ним по-приятельски. Сей весельчак в архиерейском доме давал иногда и балы, присут-

ствовал при танцах, но сам не принимал в них участия. Собирателями не совсем добровольных приношений были вызванные ею из Подольской губернии евреи.

Итак, Алексеев с лощеных паркетов, на коих вальсировал в Москве, шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Бо̀льших рекомендаций ему было не нужно; его степенный, благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева. Тогдашнее малочиние его заставляло других канцелярских чиновников смотреть на него с завистию и досадою; но он всегда спокойно оставался вне сферы их.

Великая потеря, которую сделал он с отбытием Бахметева, скоро заменена была прибытием дивизионного начальника, Михаила Феодоровича Орлова, который, как известно читателю, был опасной красой нашего «Арзамаса». Сей благодушный мечтатель более чем когда бредил в'явь конституциями. Его жена, Катерина Николаевна, старшая дочь Николая Николаевича Раевского, была тогда очень молода и даже, говорят, исполнена доброты, которой через несколько лет и следов я не нашел. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Домашний приятель, бригадный генерал Павел Сергеевич Пущин не имел никакого мнения, а приставал всегда к господствующему. Два демагога, два изувера, ад'ютант Охотников [К. А.] и майор [В. Ф.] Раевский (совсем не родня г-же Орловой) с жаром витийствовали [1]. Тут был и Липранди, о котором много говорил я прежде и о котором много должен буду говорить после. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий, воспитанников московской муравьевской школы [2], которые находились тут для снятия

[1] Оба были члены тайных обществ.

[2] Школа, основанная ген. Н. Н. Муравьевым. Из нее вышли многие будущие декабристы. Сыновья его А. Н. и М. Н. были основателями первых тайных обществ в 1817 году. Об

планов по всей области, с чадолюбием были восприяты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти, шурин губернатора, когда «на брега Дуная великодушный грек свободу вызывал»[1]. Перед нашим Алексеевым, тайно исполненным дворянских предрассудков и монархических поверий, не иначе раскрылись двери, как посредством легонького московского оппозиционного духа. Для него, по крайней мере, знакомство сие было полезно, ибо оно сблизило его с Пушкиным, который и писал к нему известные послания в стихах.

Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии. Корпусный начальник, Иван Васильевич Сабанееев, офицер суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола и России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Пущину подать в отставку, Охотников кстати умер, а Раевский заключен в тираспольскую крепость; тем все и кончилось [2]. Это, кажется, было за несколько месяцев до нашего приезда, и без пастыря нашел уже я безгласных и не блеющих более овец.

Назначение графа Воронцова, который любил выводить своих подчиненных, особенно тех, кои находились при лице его, представляло Алексееву много успехов и более приятное житье в Одессе: напрасно он выпросил себе какое-то постоянное поручение в Кишиневе. Страстно влюбленный, сча-

---

А. Н. Муравьеве интересные сведения, с его неизданными письмами, — см.: С. Я. Штрайх — «Кающийся декабрист», журн. «Красная новь» 1925 г. № 10, и С. Я. Штрайх — «Провокация среди декабристов» М. 1925. М. Н. Муравьев позднее заслужил прозвище Муравьева-Вешателя — за деятельность в Литве в 1863 г.

[1] Стих Пушкина из послания «К Овидию».

[2] Во время процесса декабристов Николай вспомнил и В. Ф. Раевского, который был сослан в Сибирь. Он оставил недурно написанные стихотворения. О нем — исследование П. Е. Щеголева «Первый декабрист — В. Ф. Раевский».

стливый и верный, он являл в себе неслыханное чудо. Он был в связи с женою одного горного чиновника Эйхфельда, милой дочерью боярина Мило [М. Е.]; а для милой чем не пожертвуешь! Я, по крайней мере, должен благодарить ее: она мне сохранила Алексеева и утешительные для меня беседы его.

Совсем иначе поступал Липранди. Вскоре по возвращении в Россию, из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу. Все это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны. Не зная, куда деваться, он остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету. Граф Воронцов везде любил встречать мобёжских своих подчиненных; Липранди явился к нему, разжалобил его и на первый случай получил вспомоществование, кажется, из собственного его кармана. Не смея еще представить об определении его в службу, граф частным образом поручил ему наблюдение за сокращением и устройством новых дорог в области, чему много способствовало недавнее обмежевание ее. Тогда на раз'езды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно было давать отчеты. Очень искусно потом умел он выдать себя за первого любимца графа и всем, у коих занимал деньги, обещал свое покровительство. Вдруг откуда чтò взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство. И чудо! Вместе с долгами возрастал и кредит его.

Мое скудное житье в двух каморках служило совершенным контрастом его роскоши, и когда он везде без счету забирал деньги, старался я по возможности уплачивать сделанный мною на путешествие небольшой долг. Столь возвышенное над моим положение его дало ему, впрочем, всегда ко мне благосклонному, возможность об'явить себя моим защитником и покровителем, чтò мне показалось очень забавным.

Мне бы не следовало много жаловаться на положение свое. Дела у меня было еще не слишком много, жизнь была чрезвычайно дешевая; новость предметов и разнородность

общества и жителей, которые были у меня перед глазами, должны были привлекать мое любопытство, и все это посреди одних только доброжелателей. Меня мучило отсутствие не удовольствий Петербурга, а удобств его.

Это продолжалось недолго. Декабрь проходил, я неотступно просил графа прислать мне бумагу, коею для об'яснений потребовал бы он меня в Одессу, и получил ее. В самый сочельник, 24 декабря 1823 г. рано поутру оставил я Кишинев.

Было очень поздно, когда приехал я в Дольник, где последняя перемена лошадей до Одессы. Как мне было не возблагодарить себя, отчасти за лень свою, которая заставила меня накануне остановиться в Дольнике, когда днем только что проехал я тираспольскую заставу! Ночью был изрядный мороз, и меня повезли так называемым греческим базаром, как местом, где дорога глаже. Взрытая и остывшая грязь представляла вид окаменевших морских волн. Для проезда по одесским улицам мне нужно было столько же времени, как на сделание последней станции. Измученный приехал я в обычную уже мне гостиницу Ренô.

Надобно однако об'яснить причины этой, для невидавших ее, баснословной грязи. Когда строился город, то, по приказанию Ришелье, с обеих сторон улиц вырыты были глубокие и широкие канавы. Вынутый из них чернозем высоко поднялся на середине улицы. Сия рыхлая земля, вязкого свойства, не была еще большим неудобством при малом народонаселении; когда же оно увеличилось, то проезд через эту клейкую землю по временам делался невозможным даже для легоньких дрожек тройкой. Все отпечатывалось на этом липком веществе, ступни людей и скотов, и уверяли, что кто-то, упав в него прямо носом, надолго оставил на нем свою маску. Сообщения делались невозможны; дабы посетить друг друга, все должны были итти пешком между канав и домов, а для перехода через улицы надевать длинные сапоги выше колен сверх других сапогов и панталон. В таком бедственном положении нашел я Одессу [1].

---

[1] Пушкин описал все это в отрывках из путешествия Онегина.

Много еще было в ней провинциального, и скоро все узнавалось. По случаю великого праздника, рождества Христова, в этот день у графа обедал весь многочисленный его штат. Там уже знали о приезде моем. Через кого-то из бывших тут граф велел сказать мне, что ожидает меня к себе на другой день поутру. Многие с этого обеда, в длинных сапогах, прибежали навестить меня. В том числе, разумеется, был и Пушкин.

Я обозначил все главные лица многочисленной свиты графа. Изображать остальных — дело невозможное; но некоторых из сих, по-моему, нижних чинов пропустить в молчании как-то совестно; а дабы не позабыть их, что̀ весьма легко может случиться, здесь же спешу их назвать.

Два молодых человека, приехавших из Петербурга, которые были почти ровесниками Пушкина и почти в одних с ним чинах, оттого почитали себя совершенно ему равными. Один, по крайней мере, имел на то как будто некоторое право: он пописывал стихи. Но какие? Преплохие. Стихи не есть еще поэзия; а ни малейшей искры ее не было в душе Василия Ивановича, принадлежащего к известному в Малороссии по надменности своей роду Туманских. Самодовольствие его, хотя учтивое, делало общество его не весьма приятным; ему нельзя было совсем отказать в уме; но, подобно фамильному имени его, он светился сквозь какой-то туман. Всегда бывал он пристоен, хладнокровен; иногда же, когда вздумается ему казаться веселым и он захочет сказать или рассказать что-нибудь смешное, никого как-то он не смешил. Его кое-куда посылали, ему кое-что поручали, он что-то писал и казался не совсем праздным.

Не знаю, зачем выбрал он себе под пару другого юношу, который сотнею сажен стоял его ниже. Меня судьба водила по всем этажам петербургских домов и по всем разрядам петербургских обществ; даже те, коих хозяевами были довольно чиновные люди, а некоторые из гостей в звездах, не могли еще почитаться второстепенными; в них мог я насмотреться на тон их франтов. Излишняя смелость нынешних молодых людей в знатных салонах была ничто в сравнении с их наглостию. Пожилые люди и женщины, вероятно, смотрели на то, как на неизбежное последствие распространившегося образования. Мне случалось слышать, как с нежным,

трепетным изумлением, смотря на ухарство которого-либо из них, девицы говорили: что за пострел! Мне случилось видеть, как один из них стал посреди дамского круга и воскликнул: «Кто хочет со мною танцовать? Никто, ну так я сам возьму!»

Не знаю, из которого из сих обществ попал в Одессу Никита Степанович Завалиевский, сын отставного петербургского вице-губернатора и сам отставной офицер гвардии саперного баталиона. Всем показался он очень оригинален; меня не мог он удивить: тип таких молодцов мне был знаком, и я тотчас увидел в нем выходца из Коломны или с Песков.

Таких людей ничто не останавливает; они ничего не разбирают, ничем не уважают. Например, когда я спросил у него, зачем он оставил военную службу? Завалиевский отвечал мне: мне нельзя было оставаться, мы беспрестанно ссорились с Николаем. А этот Николай был великий князь, брат императора. Росту был он небольшого, но хорошо сложен, имел очень ловко выточенную фигурку, одевался лихим франтом по последней моде и прекрасно танцовал; к тому же невежественные его глупости были чрезвычайно забавны: сколько достоинств! Раз в гостиной у графа спросил он, кто бы таков был г. Ниагара, изобретатель модных тогда галстухов, носящих его имя и коих концы ниспадали каскадой? Все засмеялись и сказали, что он никому неизвестен. Более всего состоял он под покровительством Казначеева, который для сего безграмотного создал место экзекутора канцелярии. Для нее было куплено сто сажен дров, и он письменным рапортом для хранения их требовал разрешения купить замок во сто сажен дров: уж это был бы целый зáмок! Пушкин, который чрезвычайно любил общество молодых людей, забавлялся им более, чем кто, и оттого дозволял ему всякие с собою фамильярности, а Завалиевский, всегда гораздо лучше его одетый, почитал сие знакомство более лестным для Пушкина [1].

---

[1] Следующим летом веселил он всю Одессу. Ему вздумалось прикинуться влюбленным в единственную дочь князя Петра Михайловича Волконского, которая находилась тут с матерью. Ни той, ни другой не был он представлен, а первую преследовал он на бульваре с апельсинами и конфектами. И хотя они не были

Если наместник между определяемыми к себе гражданскими чиновниками искал ум и способности, то, конечно, не руководствовался он сим желанием при выборе новонабранных им четырех ад'ютантов. Как природа бывает изобретательна в своих причудах и какое разнообразие было в умственных недостатках сих господ!

Первый из них, князь Валентин Михайлович Шаховской, был добрейший, благороднейший малый, весьма красивый собою; жаль, что остальное тому не отвечало. Рассудок не допустил бы его до тесных связей с людьми, коих мнений, кажется, он совсем не разделял. А впоследствии если сие не погубило его, то много повредило его службе [1].

Другой, Иван Григорьевич Синявин, был двоюродным братом графу Воронцову. Он старался давать всем это чувствовать и с некоторой досадой смотрел на сослуживцев, в коих видел почти подчиненных, себя ему не подчиняющих. Он был виден собою, бел и румян; но дурь и спесь, так ясно выражаемые его оловянными глазами, делали всю наружность его неприятною. Может быть, он сам только поверил бы тогда предсказанию о высоте, которая его ожидает. Если долго поживешь, то чего не увидишь у нас! Я осужден был видеть, к стыду России, как сие, никем не оспариваемое, совершенное ничтожество, достигнув высочайших гражданских степеней, готово было вступить в звание министра. Во время революций высоко поднимаются люди из грязи, но, по крайней мере, они все с головой.

Спесь третьего ад'ютанта, Константина Константиновича Варлама, была не так досадна, зато, если возможно, еще глупее, скучнее и несноснее. А чем он гордился? Тем, что был сыном волошского бояра и шурином почт-директора Булгакова. Впрочем, ему много воли не давали, и только можно было заметить в нем ужасную охоту чваниться.

приняты, через кого-то предложил он свою руку. Отказ смутил бы другого; его нимало, и бедная княжна не могла выйти на улицу, на гулянье, чтобы не видеть его по пятам своим. Наконец, принуждены были его куда-то отправить с комиссией. Авт. Позднее Завалиевский женился на пожилой богатой вдове генерала М. В. Раевского. Пушкин издевался над ним в письмах к друзьям.

[1] Его сестра была за декабристом А. Н. Муравьевым. Сам он был женат на сестре декабриста П. А. Муханова.

Четвертого ад'ютанта, преображенского офицера, князя Захара Семеновича Херхеулидзева, случалось мне видеть в Петербурге в обществах, подобных тем, кои посещал Завалиевский; но он был в них только что добродушным балагуром и безвинное ремесло свое перенес с собою в Одессу. Впрочем, был он здоровья плохого, и сие заставило его через покровительство великого князя Михаила Павловича искать места в теплом краю.

Побойчее, поострее и покрасивее его был некто Алексей Михайлович Золотарев, майор, состоящий по кавалерии и по особым поручениям при графе. Он также охотник был смешить, и таким образом веселие разливалось повсюду. Барон Франк своим передразниваньем, каламбурами чрезвычайно потешал графиню и все ее приватное общество; Херхеулидзев заставлял от души смеяться всех приближенных графа, а Золотарев — одну только канцелярию его.

Я не мог надивиться совершенно доброму согласию, царствовавшему между сим смешанным, перемешанным обществом, жившим несколько отдельно от городского: не было ни зависти, ни интриг, ни даже пересудов, иногда только бывали необидные насмешки. Причиною сему, кажется, было то, что в добровольной ссылке люди скорее сближаются друг с другом и делаются менее взыскательны. Много способствовал тому и характер главного начальника: он старался тогда быть беспристрастен и неохотно слух свой склонял к наушничеству. Исключая прежних своих мобёжских, и то наедине, со всеми равно умел он обходиться умеренно-ласково и умеренно-повелительно. Раз навсегда всех пригласил он хотя бы ежедневно у него обедать.

Перехожу опять к описанию образа домашней жизни нашего повелителя. Через день, если не каждый день обедал я у него.

Большая зала, почти всегда пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, полуплебейское, хотя редко покидал его сам граф, постоянно оставалось в бильярдной. Другое, избранное, отборное, находилось в гостиной у графини; туда едва ли я заглядывал. Без всякой видимой причины графиня оказывала мне убийственную холодность; невидимой же причиной был один человек, живущий без службы, которого воздерживаюсь еще назвать (до

того воспоминание об нем меня тревожит и бесит) и который, как утверждали после, пользовался дружбою ее [1]. Сей самолюбивый и злой человек не мог простить мне явного несогласия с ним в мнениях и правилах. Исключая его, всегда можно было найти тут Марини, Брунова, Пушкина, Франка и близкого родственника Синявина. Из дам вседневной посетительницей была одна только графиня Ольга Станиславовна Потоцкая, месяца за два перед тем вышедшая за Льва Александровича Нарышкина, двоюродного брата графа Воронцова. В столовой к обеду сходились вместе, а вечером у Казначеева все опять смешивались.

Опять принужден сделать отступление; но как, назвав знаменитую у нас тогда Ольгу Потоцкую, не рассказать чудную историю о ее матери и о ее семействе? В одном из константинопольских трактиров была служанкой гречаночка [2] лет тринадцати или четырнадцати; секретарь польского посольства Боскамп сманил ее оттуда и через несколько месяцев уступил польскому же посланнику Деболи. С сим последним совсем распустившеюся розой приехала она в Варшаву, где всех изумила необычайной красотой своей. Она стала жить на свободе, и счастливым, щедрым обожателям ее не было числа; но, наконец, всем им предпочла она одного пожилого польского генерала графа Витта, ибо он один предложил ей свою руку. Не знаю, когда и где встретил ее князь Потемкин, только мужа переманил в русскую службу с генеральским чином и назначил обер-комендантом в Херсон, а жену увез с собою в Яссы. Там щеголял он ею, как великолепным трофеем, а она гордилась привязанностию человека, которого слушалась вся Россия и который совершенно царствовал в двух княжествах. И великие души, видно, не чужды тщеславию; ибо Потемкин напоказ повез ее и в Петербург.

Сопровождаемый многочисленной свитой, верхом для выставки развозил он ее с собою в открытом кабриолете

---

[1] А. Н. Раевский, брат М. Н. Волконской, троюродный племянник Е. К. Воронцовой, Демон Пушкина. В 1842 г. Вигель в письме к А. С. Хомякову передавал привет А. Н. Раевскому и писал о нем: «Этот Демон мне мил, как Ангел».

[2] Софья Константиновна, рожд. Глявоне.

по улицам и гуляньям [1]. После смерти Потемкина, чрез несколько лет, сделалась она знатной дамой.

Польский коронный гетман, граф Станислав-Феликс Потоцкий посещал местечко свое Тульчин в Подольском воеводстве и часто живал в нем. Прекрасная сия страна, вдали от Варшавы, была заброшена, и магнат мог делать в ней, что хотел. Недавно еще старики внукам своим с ужасом рассказывали о несправедливостях Потоцких, которые можно назвать даже злодеяниями. У богатых жидов он насильно занимал большие суммы; по соседству все имения, коих завладение представляло ему выгоды, отхватывал он посредством заводимых тяжб, и трепещущие судьи не смели иначе решить, как в его пользу. Таким образом несметное богатство свое успел он удвоить. Грабительства его прекратились только с поступлением этого края под русское владение; но он заблаговременно передался России, и все им захваченное осталось за ним. От первого брака было у него четыре сына и несколько дочерей. Об одной, неверной Констанции, упомянул уже я во второй части сих записок, когда говорил о почтенном супруге ее, графе Иване Потоцком же, путешествовавшем в Китай, другая Виктория Шоазель-Бахметева, прославившаяся между прочим обжорством. О третьей, Розе, вечно враждебной России, на которой, против воли матери, женился граф Владислав Браницкий и которую почтенная свекровь не пускала на глаза, не говорил я ни слова. О добродетелях других сестер и братьев лучше умолчать. Скажу только, что коротко знавшие сие семейство польских Атридов насчитывали в нем гораздо более семи смертельных грехов.

В совершенной старости хищник был наказан судьбой. Он пленился графиней Витт в одно время с Феликсом, старшим сыном своим от первого брака. По условию с сыном, она предпочла отца и вышла за него, студодеяния свои соединив со злочестием Потоцких. Новая Федра, перед которой древняя жалка, спокойно предалась своему Ипполиту и, как та, истерзанная совестию и раскаянием, верно не воскли-

---

[1] Забавно, что будущий зять ее [Л. А.] Нарышкин, уже женатый на ее дочери, рассказывал при мне, будто в порицание нравов Екатеринина века, как он в ребячестве был очевидцем этого срама. Авт.

цала: Et des crimes peut-être inconnus aux enfers! [1] От сего кровосмешения родилось три сына и две дочери, из них Ольга меньшая. И безумный Феликс не подумал о том, что он себя и братьев лишает большой части наследства. Какая была развязка в этой семейной драме? Старик, наконец, узнал всю истину; вскоре затем последовали две внезапные кончины, сперва сына, потом отца. Клевета в таких случаях до некоторой степени извинительна и весьма походит на правду. Польские дворяне говорили тогда о черной каве, о черном кофее, как о вещи весьма обыкновенной.

Пасынки и падчерицы вдовы графини Потоцкой завели с нею ужасный процесс, оспаривая законность ее брака, следственно и законное рождение ее детей: ибо Витт был еще жив и не разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Сие понудило ее, наконец, приехать в Петербург. Греческие хитрые уловки заменили ей увядшую красоту. Министрам и сенаторам рассыпала она лесть и ласки, для подчиненных не щадила золота. Главным адвокатом в ее деле был сумасброд граф Милорадович, который влюбился в молоденькую дочь ее Ольгу. Сия последняя, с дозволения матери, нередко посещала его, просиживала с ним наедине по часу в его кабинете и принимала от него великолепные подарки. От яблони яблочко, говорят, не далеко падает. Говорили, что это польский обычай; но величественный и строгий в приличиях двор Александра смотрел на то не весьма благосклонно.

Как ожидать было должно, дело кончилось в ее пользу. Она отправилась в доставшийся ей по разделу город Умань, где, в подражание добродетельной Браницкой, и она развела обширный сад под именем Софиевки [2]. Ей оставалось спокойно доживать век и пользоваться плодами долголетних интриг, как вдруг явилась неумолимая. Ужасна была смерть грешницы: в совершенной памяти, при нестерпимых мучениях, смердящим трупом прожила она несколько месяцев. Весь дом был заражен зловонным воздухом, все бежало от

---

[1] О, грехи, неведомые даже аду!

[2] Это знаменитый уманский сад, разведенный в честь Софьи Потоцкой ее мужем в 1793—1796 гг. Роскошью и красотою он соперничал с европейскими чудесами этого рода.

него; одни дочери остались прикованными к ее одру. И как не похвалить их за сей геройский подвиг!

После ее смерти сии девицы отнюдь не казались сиротами, меньшая еще менее, чем старшая София, которая в то же время вышла [1821]за скользящего у меня все под пером начальника штаба второй армии, Павла Дмитриевича Киселева. Он умел в Тульчине приобрести более власти, чем сам главнокомандующий Витгенштейн. Сие могущество пленило Ольгу, которая приехала погостить к сестре. Она недолго тут нагостила: Киселева застала ее в об'ятиях своего мужа, что наделало много шуму в главной квартире [1]. Если сие скопление мерзостей дойдет до потомства, не знаю, поверит ли оно ему. Пусть вспомнит историю семейства Борджиа; а католическая Польша, едва вышедшая из времен насилий и безначалия, право, стоила Италии средних веков.

Еще летом в Одессе увидел я сию столь уже известную Ольгу Потоцкую. Красота ее была во всем своем блеске, но в ней не было ничего девственного, трогательного; я подивился, но не восхитился ею. Она была довольно молчалива, не горда, но и невнимательна с теми, к кому не имела нужды, не столько задумчива, как рассеянна и в самой первой молодости казалась уже вооруженною большою опытностию. Все было разочтено, и стрелы кокетства берегла она для поражения сильных [2]. Как все это уладилось, как просватали ее за Л. А. Нарышкина, все это покрыто тайной и не могло доходить до меня в Кишиневе. Как согласился он без любви играть при ней жалкую второстепенную роль? Мне нередко за столом случалось сидеть против нее, и мы взоров не спускали; я умел, когда нужно, полагать хранение устам моим,

---

[1] Вигель имеет в виду упорные слухи о романе Ольги Потоцкой с мужем ее сестры П. Д. Киселевым. Жену последнего — Софью князь П. А. Вяземский, бывший к ней неравнодушным, называл похотливой Минервой.

[2] Вигель имеет в виду близкие отношения Ольги Потоцкой-Нарышкиной к двоюродному брату ее мужа Нарышкина (1785—1846) — М. С. Воронцову. Сам Нарышкин, повидимому, не искал этого брака (состоявшегося в 1823 году), так как всю жизнь был влюблен в свою тетку М. А. Нарышкину (у нее с Александром I был длительный роман), за которой всюду следовал. О «соблазнительной связи» Воронцова с сестрой его жены О. Нарышкиной говорит Пушкин в своем «Дневнике» под 8 апреля 1834 г.

но глаза мои всегда были болтливы. Тут же хотя никто еще не смел говорить правды, она сама собою бросалась в глаза.

Зато были в Одессе другие графини ко мне весьма благосклонные. Я уже сказал, что градоначальник Гурьев был со мною на ноге старинного знакомого и что я нередко посещал его. Его графиня Авдотья Петровна, при светской образованности, восхищала меня своею совершенно русскою оригинальностию. Отнятое первенство у нее и мужа ее не могла она простить Воронцовой; заметив, что и я не имею к ней большой симпатии, она свою несколько умножила ко мне. Она жила не в ладах с жительницами Одессы. В больших торговых городах бывает всегда коммерческая аристократия; тут из бедности вдруг поднявшиеся богачи, по большой части иностранцы, французы, англичане, греки (Сикар, Рено, Моберли, Маразли, Ризнич) оттого были еще спесивее. Она не могла растолковать себе взыскательности их жен. «Что мне до этой разношерстной компании, — говорила она, — и как смеют эти купчихи считаться со мной!» Этих купчих, хотя изредка, Воронцова приглашала на свои вечера; а ее они совсем бросили.

Другая графиня была для меня совершенно новым знакомством. Меня ребенком знавал в Киеве граф Ланжерон, когда в полковничьем чине бывал он часто у моих родителей.

Это воспоминание, казалось, заставляло его меня любить; впрочем, со мною, так же как и со всеми, обходился он излишне фамильярно для шестидесятилетнего Андреевского кавалера. Не одна подчиненность моя, но и привязанность к графу была, однако, великим пороком в его глазах. Из истории управления его Новороссийским краем составилось бы несколько томов, и она была бы весьма занимательна; только вышло бы из нее большое собрание забавных и веселых анекдотов [1]. Пересватав тщетно всех богатых и знатных невест в России, он женился, наконец, в Одессе на бедной девушке, дочери полковника Бриммера, Елисавете Адоль-

---

[1] Вигель говорит о нем ниже. Этот легкомысленный француз мучил Пушкина, заставляя его выслушивать свои нелепые стихи и трагедии. Он показывал также Пушкину письма, которые Александр I писал ему, будучи наследником, и где жаловался, что отец вечно держит его под угрозой казни.

фовне. Он представил меня ей, а я спешу представить ее читателю.

Мне не случалось видеть красивого лица столь угрюмого, как у графини Ланжерон; однако мне оно всегда улыбалось, и, право, этим можно похвастать. Прекрасные глаза ее были даже выразительны, но она не чувствовала того, что они выражали. Холодна как лед, она редко с кем открывала уста. В Одессе, где она была воспитана, все знали ее девочкой дикой и несообщительной, и когда вдруг поднялась она на генерал-губернаторство, то, ничего не переменяя в своем обхождении, отнюдь не казалось горда; зато и ей не оказывали большой внимательности. Довольствуясь наружным уважением, в котором нельзя было отказывать женщине, выше других поставленной, она ничего более не требовала. Когда она сопровождала мужа своего в Париж, ей было душно в Сен-Жерменском предместьи, и она все вздыхала по Одессе. Красивой женщине, одаренной твердостию и хладнокровием, не трудно было овладеть старым ветреником, и, повинуясь только ее воле, решился он без службы воротиться в Одессу, где впрочем были у него и дом и хутор. Присутствие Воронцовой было как острый нож для бывшей генерал-губернаторши. К сожалению, она не чужда была зависти; а богатство, знатность, воспитание, все эти преимущества должны были возбуждать ее в ней. Я не думаю, чтобы это было причиной особенной ее ко мне благосклонности; а впрочем, кто знает! Когда с другими прилично она отмалчивалась, со мной всегда находила о чем говорить.

Уже под именем графини Эделинг находилась тут женщина, которой Каподистрия обязан был доверенностию Александра, о чем я говорил в пятой части сих Записок. При дворе, где почти всегда красота предпочиталась уму, в Роксандре Скарлатовне Стурдзе видели только безобразнейшую из фрейлин, и все от нее отдалялись, как нечаянный случай сблизил ее с императрицей Елисаветой Алексеевной. Тогда ее распознали и невольно стали благоговеть пред необыкновенным превосходством ее ума. Государыня взяла ее с собой за границу, и на венском конгрессе все отличные мужи и многие принцессы искали ее знакомства, а некоторые и сдружились с ней. Лишившись надежды выйти за Каподистрию, встретила она человека, с которым была счаст-

ливее, чем бы, может быть, с этою знаменитостию. Граф Альберт Эделинг, обер-гофмейстер Саксен-Веймарского двора, был один из тех старинных немецких владельцев-баронов, честных, добродушных, благородных, коих тип сохранился ныне только в романах Августа Лафонтена, которых также едва ли ныне найти где можно. Он душою полюбил девицу Стурдзу, и она его; сочетавшись с нею браком, он согласился оставить отечество и поселиться с нею в южной России. Наружностию ее плениться было трудно: на толстоватом, несколько скривленном туловище была у нее коровья голова. Но лишь только она заговорит, и вы очарованы, и даже не тем, что она скажет, а единственно голосом ее, нежным, как прекрасная музыка. И когда эти восхитительные звуки льются, льются, что выражают они? Или глубокое чувство, или высокую мысль, или необыкновенное знание, облеченное во всю женскую грациозность, и притом какая простота! Какое совершенное отсутствие гордости и злобы! Превосходство души равнялось в ней превосходству ума. Из Бессарабии, где у нее были родные, писали к ней обо мне чудеса, и оттого-то сею четою был я принят, можно сказать, с отверстыми об'ятиями. Во мне оставалось еще довольно греколюбия, филэллинства, чтобы и с этой стороны ей угодить. Как любил я ее в эти минуты, когда, всегда спокойная, она вдруг приходила в восторг при имени геройски борющейся тогда Греции. Ну, право, житье мне было: посмеявшись с графиней Гурьевой, наглядевшись на графиню Ланжерон, спешил я наслушаться графиню Эделинг. Лишивши меня полуцарских милостей Воронцовой, судьба послала мне взамен большие утешения.

Почти так же, как у г-жи Эделинг, был я принят у брата ее, Александра Скарлатовича Стурдзы. Сперва два слова о матери и о жене его. Первая казалась весьма умна и всегда сердита, имя ей было Султана. Другая, дочь знаменитого немецкого врача Гуфланда (Елизавета), принадлежала к числу тех прежних немок, кои, будучи домашним сокровищем, единственно супругами и матерями, не имели никакой наружной цены и не искали ее. Отца его, Скарлата Димитриевича, лет десять как не было на свете. Преданный России, он в последнюю войну с турками при Екатерине бежал из Молдавии и, кажется, лишился части своего име-

ния; зато щедро был он вознагражден богатым поместьем близ Могилева, чином действительного статского советника и Владимирской звездой. Он был женат на вышереченной Султане, дочери молдавского господаря князя Мурузи. Три поколения из сей фамилии за Россию в Цареграде прияли мученическую смерть. И сия пролитая кровь, налагая на нас долг благодарности, должна бы и в них возродить привязанность к нашему отечеству; но не совсем оно так было. В глубокой старости на Скарлата Стурдзу возложено было тяжкое бремя управления новоприобретенной Бессарабии; он, видно, изнемог под ним, ибо вскоре умер.

Изобразить самого Александра Стурдзу не безделица: в этом человеке было такое смешение разнородных элементов, такое иногда противоречие в мнениях, такая выспренность в уме; при мелочных расчетах в действиях, он так весь был полон истинно-христианских правил и глубокого, неумолимого злопамятства, осуждаемого нашею верою, что прежде чем начертать его образ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характер. Грек по матери, он более сестры принимал участие в судьбе эллинов; молдаван по отцу, он искренно любил своих соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам. Едва не сделавшись в Германии жертвою преданности своей к законным престолам, он обожал ее философию и женился на немке. Желая светильник наук возжечь на Востоке, он сей священный огонь хотел заимствовать у поврежденной уже в рассудке Европы. Друг порядка и монархических установлений, он мечтал о республике под председательством Каподистрии. Друг свободы, он ненавидел Пушкина за его мнимо-либеральные идеи [1]. Он был все; к сожалению только совсем не русский. Воспитанный в Могилевской губернии, не понимаю, как он мог приобрести запас учености, с которым вступил на дипломатическое поприще; в знании языков древних и новейших мог бы он поспорить с Меццофанти. С 1815 года сделался он известен вместе с покровителем и другом своим, Каподистрией, в 1822 вместе

---

[1] Пушкин был с ним коротко знаком. Стурдза глубоко уважал его талант. Это не мешало поэту писать на мистика и монархиста Стурдзу иронические стихи и даже ругательные эпиграммы.

с ним сошел со сцены (как где-то уже я сказал) и на покое, так же как ныне я, строил историческо-политические воздушные замки.

Мне весьма памятны его беседы со мной; ибо, вследствие их, мнения мои о делах Европы и Востока начали изменяться. Он не скрывал желания своего видеть Молдовлахию особым царством, с присоединением к ней Бессарабии, Буковины и Трансильвании. Освобождением одной Греции, по мнению его, дело на Востоке не должно было кончиться.

По небольшому хотя числу названных мною в сем провинциальном городе высоких особ женского пола можно посудить, как много еще было в нем не названных мною образованных и приятных женщин.

Исключая двух столиц, нет ни одного города в России, где бы находилось столько материалов для составления многочисленного и даже блестящего общества, как в Одессе; а оно тогда как бы не существовало. Вообще Одесса была всегда, или по крайней мере долго, невеселым городом. Настоящий основатель ее, дюк де Ришелье, был человек сериозный; он искал одного только полезного и думал, что приятное придет после само собою: строил дома и магазины и не заботился о заведении рощиц, разведении лесных деревьев, как бы не зная, что тень в степи есть райское блаженство. Не столько по его примеру, как по собственной охоте, и купцы поступали так же: каждый из них жил особняком, проведя утро в заботах и трудах, отдыхал в семейном кругу и неохотно из него выходил. Некоторые из жителей имели вдоль моря спрятанные хутора; но и тут выгодному пожертвовано было приятное: в них насадили одни фруктовые деревья, некрасивые и высокого роста не достигающие. Посреди города, на весьма небольшом пространстве, был публичный сад; на него было отвратительно и жалко смотреть. С мая невозможно было в нем гулять; видел ли в нем кто зелень когда-нибудь, не знаю: густые облаки пыли с окружающих его улиц всегда его обхватывали и наполняли; мелкие листки акаций и тополей, коими был он засажен, серый цвет сохраняли все лето.

И это было единственное место соединения для жителей и вечерних для них прогулок; зато никого в нем не было видно. Зимой страшная грязь препятствовала сообщениям;

о том одесситы мало заботились: это служило им новым предлогом, чтобы сидеть дома.

Одно увеселительное место, в коем собирались люди, был итальянский театр. Зачем именно итальянский, не могу сказать. Французский язык во всеобщем употреблении, его почти все понимают, и французскую труппу достать было бы легче и содержать дешевле. Кто были бешеные меломаны, которые подали мысль об итальянской труппе и упорно поддержали ее? Я, по крайней мере, их уже не нашел: все мне показались отменно равнодушными к музыке. Но уже так оно завелось, так оно и продолжается. Цены на места были самые низкие, и ложи все абонированы по большей части негоциантами. Летом, во время морских купаний, приезжие, не зная куда вечером деваться, посещали театр и наполняли его. Негоцианты, всегда расчетливые, отдавали ложи свои гораздо дороже сим приезжим, так что в год приходились они им даром. Зимой не сами эти господа, а жены их исправно посещали театр: тут только могли они видеться друг с другом, переходить из ложи в ложу, переговорить кой-о-чем, и все это, как я сказал выше, ничего им не стоило. Не будучи музыкантом, я с некоторого времени, благодаря Россини, сделался страстным любителем итальянской музыки и оттого не мог терпеть в ней посредственности, а тут все было ниже. Что сказать мне о певцах и певицах? Я видел в них кочевой народ, который, перебывав на всех провинциальных сценах, в Болоньи, Сиенне, Ферраре и других местах, привозит к нам свои изношенные таланты. Через год, через полтора их прогонят; но те, коих выпишут на их место, не лучше их. Я назову примадонну Каталани, оттого что она носила громкое имя и была невесткой (женой брата) известной певицы, да хорошенькую Витали, да тенора Монари, который пел довольно приятно, но так слабо, что в середине залы его уже не слышно было. Давали прекрасные оперы: «Севильского цирюльника», «Итальянку в Алжире», «Сороку-воровку», но что за исполнение! А все согласно хлопали, хвалили. Так уже было принято: обычай, мода.

Не Ланжерону было заставить жителей Одессы отставать от принятых ими привычек; они им не уважали, его бы не послушались, и при нем сохранили они весь прежний образ жизни. Улучшений по устройству города он также ввести не

был в состоянии. Ему было весело, он был главным лицом, мог болтать сколько ему было угодно, его все слушали, а вечером всегда готова ему была партия виста или бостона.

В том состоянии, в коем Ришельё оставил Одессу, нашел ее граф Воронцов. К сожалению, должно сказать, что и он сначала мало помышлял о введении в ней общежительности. Казалось, что знатный помещик приехал в богатое село свое, начал в нем жить по-барски, судить крестьян своих по правде, искать умножения их благосостояния, но что до забав их ему нет никакого дела. Еще скорее можно было сравнить сие с житьем владетельного немецкого герцога в малой столице: двор, его окружающий, достаточен для составления ему приятного общества. Однако же чиновники, служащие и отставные, повыше в классах, небольшое число помещиков и главные негоцианты, равно как и жены их, представленные графине, несколько раз в зиму приглашаемы были на полуофициальные вечера, на которых танцовали. Сколь ни лестно было сим господам находиться на таких вечерах, они охотно отказались бы от сей чести. Роскошь, только что приличная сану и состоянию графа, их пугала.

Но что по справедливости должно было приводить их в ужас — это богатые костюмы графини и подруги ее Ольги [Потоцкой], которые они беспрестанно меняли. Женщинам невозможно было не следовать, хотя издали, сим блестящим примерам. Графиня же без памяти любила наряды и не только на себе, но и на других, как сие было после, в другом месте. Оттого-то столь приветливо разговаривала она с посетительницами, и было о чем: о цвете, о покрое их платий.

Но каково же было крохоборству, меркантильности отцов и мужей? Они, которые дрожали над каждым рублем, видя в нем зародыш сотни тысяч, должны были сотни сих рублей тратить на красивое и щеголеватое тряпье. Это более отдаляло их от приятностей общественных, чем привлекало их к ним.

Прибыль, барыш были единственною постоянною их мыслию. Конечно, она приводит в движение как умы, так и большие и малые капиталы, и необходима для первоначального основания торгового города. Неужели Одесса не имеет и другого предназначения? Давно уже повадились мы ездить

за границу, там находим теплый, благорастворенный климат, со всеми удобствами и приятностями жизни. Зачем бы не поискать в России места, которое все это соединяло бы в себе? Да где же бы? В Киеве; но находят, что там еще довольно холодно. Подольская губерния, рай земной; но как в него попасть? Поляки мешают русским в нем селиться. Остается только берег Черного моря: на нем возник и быстро вырос молодой город со всеми недостатками молодости. Искусный правитель мог бы их исправить; стоит только приложить хорошенько к нему руки, и он заменил бы нам Флоренцию и Ниццу. Об этом после много думали; к сожалению, поздно; привычка едва ли не сильнее натуры, и мы более чем когда таскаемся в южную Европу.

Ни в городе, ни за городом не было [тогда] такого места, где бы после удушливого, знойного дня можно было освежиться вечерним воздухом, и где бы знакомые и приезжие могли встретиться и беседовать. Ничего, кроме денег, не нужно было жадным и негостеприимным купцам Одессы. Из свиты графа никого не приглашали они к себе и таким образом совсем отделяли городское общество от того, которое почитали придворным. Сия новорожденная колония при Ришелье, а еще более при Ланжероне, была демократическою республикой; Воронцов, как отблеск трона, поразил и ослепил ее. Жаловаться никто не смел, не было к тому ни малейшей причины; но сначала втайне все были недовольны этой переменой.

Эту зиму в Одессе находилось несколько важных людей. Все они были равного чина с графом, все в той же Александровской ленте, и все начальствовали над частями от него независящими. Он не старался воздыматься над ними, а целою головой казался их выше. Оттого ли, что он был богаче их? Нимало: от природы получил он счастливый дар заставлять без усилий равных себе признавать его превосходство.

Двое из них были искренними его приятелями. Одного, вице-адмирала Грейга знал уже я в Николаеве; с другим, корпусным командиром Иваном Васильевичем Сабанеевым, тут имел я честь познакомиться. Он был маленький, худой, умный и деятельный живчик. Не думая передражнивать Суворова, он во многом имел с ним сходство. В армии известен был он как храбрый и искусный генерал, во время войны

чрезвычайно попечительный о продовольствии подчиненных ему, которые при нем ни в чем не нуждались.

Третий, по наружности в самом добром согласии с Воронцовым, был тайный недруг его, граф Иван Осипович Витт. Был он сын гречанки Потоцкой от первого ее брака. Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк, он с греческою врожденною тонкостию умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный. Он великий был мастер притворяться; только в Аустерлицком сражении, в чине кавалергардского полковника, не умел он притворяться храбрым и оттого должен был оставить службу и скрыться. Из сего поносного положения нельзя было выйти более счастливым и искусным образом. В 1812 году, когда вся Россия ополчалась, умел он из жителей берегов Буга навербовать два или три конных полка. С ними пришел он к армии во время совершенной ретирады французов, и они успели еще смело преследовать бегущих, за что ему дан генеральский чин. После того из сих всадников образовано регулярное войско под его начальством; в две последующие кампании они везде отличились, вероятно и он с ними, ибо воротился обвешанный лентами и крестами. Учреждение военных поселений было для него счастливым событием: он полюбился Аракчееву, гораздо еще более самому царю и назначен начальником сих поселений в Новороссийском краю. Тут в мирное время награды, почести сыпались на него еще обильнее, чем во время войны [1].

Избалованный первенец безнравственной матери, в ребячестве и в первой молодости ничему не учился. Тем удивительнее казалось, что при его безграмотности он так сладко и так складно умел говорить. Всем изустным умел он пользоваться и в обществе всегда кстати вводить его в разговоры. Деятельность его умственная и телесная были чрезвычайные: у него ртуть текла в жилах. По наружной части под его руками все быстро зрело и поспевало; зато в хозяйственную он почти совсем не входил, бумаги ненавидел, не только подписывал он не читавши, но уезжая из столицы

---

[1] Он сыграл провокационную роль в деле декабристов на юге и ловко пристроился к наградам за подавление восстания Черниговского полка. О нем еще ниже.

своей, Вознесенска, подчиненным оставлял множество бланков. Можно себе представить, как они сим пользовались и какому расхищению подвергались казенные суммы. Оттого необходимо было входить в большие долги. Все сходило ему с рук, и он вымаливал их уплату. Ко всем и особенно к женщинам, коих без памяти любил он, всегда ластился, и многие из них пленились его черномазым лицом, сухотою и малым ростом.

Всякого рода интриги были стихией этого человека. Преуспевая во всем, стал он добиваться звания Новороссийского генерал-губернатора. Тайные происки его против Ланжерона повели только к тому, что на сие место посажен Воронцов. Заметив досаду его, поручили ему наблюдать за поступками последнего, подозреваемого в либерализме; он неосторожно согласился, и многие о том узнали. Какие чувства должен был в графе возбуждать его надсмотрщик? Но образованность обоих, постоянная учтивость одного и угодливость другого ничего не давали замечать публике. Подчиненным графа это было известно, и они уклонялись от всякого знакомства с Виттом. Я не убегал его, но ему не для чего было искать меня. Года через три сие знакомство само собою сделалось, и оно мне было чрезвычайно приятно.

Еще был один Александровский кавалер, член государственного совета, граф Северин Осипович Потоцкий, который находился тут в отпуску, на отдыхе. Старший брат Ивана Осиповича, сибирского нашего спутника, он гораздо любезнее его был в обществе, имел менее странностей, столько же познаний, воображение столь же живое и сверх того государственный ум, которого в том не было. Неподалеку от Одессы поселил он сотни две крестьян, сию колонию, деревню назвал Севериновкой и затеял в ней обширные виноградники. Сколь приятно было, говорили, посещать его там по его приглашениям, столь же ужасно было вкушать предлагаемое им и восхваляемое, на месте выделываемое вино. Сия отдаленная ветвь Потоцких ничего кроме имени и происхождения не имела общего с тульчинскими Потоцкими; к сожалению, однако же, посредством браков соединялась иногда с ними. Тогда я еще не был осчастливлен знакомством графа Северина; несколько времени спустя, удостоивал он меня особою благосклонностию.

Я надеялся, что представлением Записки о Бессарабии должна окончиться моя миссия, и что туда уже более я не ворочусь. Напротив: к счастию или к несчастию, граф возымел высокое мнение о моих способностях и нашел, что я в сем краю необходим. «Вы на опыте показали, — говорил он мне, — как пристально умеете вы вникать в предметы; все более и более приобретаемые вами сведения мне будут светить в этом хаосе; будьте же там моим глазом и моим ухом. Конечно, это сопряжено для вас с великими пожертвованиями, но разве они не будут вознаграждены?». Тогда, хотя не весьма ясно, дал он провидеть губернаторское место.

Вскоре начал он нудить меня отправиться обратно, ибо сам намерен был на короткое время побывать в Кишиневе (кто знает, может быть, чтобы поверить мои показания) и хотел непременно меня там найти.

Не с большим неделю прожил граф в Кишиневе, и пребывание его было полезно для весьма многих дел. Он поступал благоразумно, справедливо, но, признаться должно, довольно самоуправно. Устройство края, улучшения во всех частях кипели в голове у нового наместника, и все это отозвалось на мне. В продолжение двухлетнего моего тут пребывания сколько учреждено комитетов, и во всех посажен я был или председателем, или членом.

Архиепископ Димитрий, человек умный и правдивый, по слабости человеческой, желая угодить [А. Н.] Голицыну, господствовавшему до мая 1824 года, всеми мерами в Кишиневе поддерживал Библейское общество, которое в Петербурге начинало уже разрушаться.

В этом деле не только содействовал ему, но и руководствовал им Иван Никитич Инзов. Рассеянные в сих Записках черты характера его должны были ознакомить с ним; нахожу, однако, необходимым обстоятельнее говорить об этом человеке. Глубокая тайна покрывает его рождение. Приемышем вырос он в доме Трубецких, которые дали ему наречение И н о й З о в или Инзов. Братья князья Трубецкие, Юрий и Николай Никитичи, люди ума весьма слабого, увлечены были учением Николая Новикова, покровительствуемого фельдмаршалом князем Репниным. С малых лет

воспитанника своего посвятили они в мартинизм, и оттого при Екатерине был он долго старшим ад'ютантом [Н. В.] Репнина. Время открыло важную тайну всех этих германских философически-религиозных сект, которые дышали чистейшею любовью к человечеству и привели к чистейшему, грубейшему материализму. Ослепление их первых последователей не доказывает большого ума, но не дает права подозревать их в безнравственности. От природы гневный и самолюбивый Инзов старался в себе убить сии страсти, а тем ослабил свой характер и остался просто зол и втайне раздражителен. Слабости однако не показывал он в виду неприятеля: в царствования Павла и Александра неоднократно бывал он в сражениях, всегда отличался храбростью и самому себе обязан был дальнейшими успехами по службе. По замирении его тянуло к покою и мирным занятиям; согласно его желаниям, дано ему место главного попечителя колоний южного края, не совсем соответствующее его генерал-лейтенантскому чину, и он поселился в Екатеринославе, где находилось центральное управление колоний.

Прибытие к нему под надзор вольнодумца Пушкина было как бы предвестием наступивших для него бурных дней. Религиозные его чувства, которых настоящим образом не понимали, наружная его кротость были известны Стурдзе, ревнителю веры, и он на место Бахметева через Каподистрию, а может и с помощью Голицына, выпросил, чтобы его назначили временно исправляющим должность Бессарабского наместника, не отнимая впрочем у него и колониального управления, которое вместе с собою перевез он в Кишинев. Не прошло двух лет, как, вследствие отбытия Ланжерона, по соседству поручили ему и весь Новороссийский край. Душевные силы были давно им самим придавлены, телесные силы начали оставлять его, а как он добросовестно принялся за исполнение своих обязанностей, то решительно можно сказать, что изнемогал под бременем дел и сперва обрадовался назначению Воронцова.

Тогда в Кишиневе было поветрие любить меня; надобно полагать, что и он подвергнулся сему не весьма пагубному влиянию: иначе как об'яснить внезапную его ко мне приязнь? Я не искал его знакомства, не бывал у него, встре-

чаясь, только что почтительно кланялся, а он осыпал меня нежнейшими ласками. Наконец, решился он позвать меня к себе обедать, чтб после того нередко повторялось. Суждения его были правильны, рассказы любопытны, и беседы наши бывали приятны для обоих. Иногда скажет он что-нибудь совсем несогласное с моими мнениями, я замолчу: с ребячества приучен я был уважать старость и не позволять себе входить с нею в споры. Ныне никто не даст соврать старику; даже тот, кто сам вовсе ничего не смыслит. Весьма неприятно мне было в Инзове отвращение его ото всего отечественного, порождаемое обыкновенно заграничною мечтательностью. Он терпеть не мог наш простой народ и ненавидел его наряд. В то же время говорил он с особым уважением о бородах молдавских бояр, называя их патриархами. «Да ведь и у наших мужиков есть также бороды», — заметил я ему. «О, да это совсем другое дело», — отвечал он.

Тайна ласк сего совсем непритворного человека открылась мне наконец. Он увидел во мне чудное орудие, насланное судьбою в Бессарабию для поддержания и усиления Библейского общества, во мне, которому так известна была цель его! Я дал ему себя записать членом, но, извиняясь множеством дел, не отвечал ни на одну из присылаемых мне бумаг, дабы нигде и подписи моей не было видно. Я смело могу сказать, что совершенно неповинен в действиях сего общества.

Нередко, разговаривая со мною, вздыхал он о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их сделались сколько странными, столько и трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жительством, поил, кормил его, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хотя между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел

и шутлив, никогда не дерзок; а тот готов был все ему простить. Была сорока, забавница целомудренного Инзова; Пушкин нашел средство выучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение; но и тут старик не умел серьезно рассердиться. Иногда же, когда дитя его распроказничается, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал он его под арест, т. е. несколько дней не выпускал его из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем [1].

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов, — ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никакого другого повеления об нем с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым, право, не сдобровать ему».

Такие печальные предчувствия родительского сердца, хотя я и не верил им, трогали меня. Я писал к Пушкину, что непростительно ему будет, если он не приедет потешить старика, умоляя его именем всех женщин, которых любил он в Кишиневе, навестить нас. И он в половине марта приехал недели на две, остановился у Алексеева и многих, разумеется, в том числе и меня обрадовал своим приездом.

Он заставил меня сделать довольно странное знакомство. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что́ довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была невысока ростом, худощава, и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди прият-

[1] Пушкин и в письмах к друзьям отзывался об Инзове с лукаво-почтительной сыновней лаской.

ного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У нее был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с ее слов, Пушкин переложил на русский язык под именем «Черной шали» [1]. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история верно сохранила бы нам имя ее вместе с именами Фрины и Лаисы.

Любопытство мое было крайне возбуждено, когда Пушкин представил меня сей деве и ее родительнице. В нем же самом не заметил я и остатков любовного жара, коим прежде горел он к ней. Воображение пуще разгорячено было в нем мыслию, что лет пятнадцати будто бы впервые познала она страсть в об'ятиях лорда Байрона, путешествовавшего тогда по Греции. Ею вдохновленный, написал он даже известное, прекрасное послание к «Гречанке»:

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостию приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей, и пр.

Мне не соскучилось у этих дам, только и не слишком полюбилось. Не помню, ее ли мне завещал Пушкин, или меня ей, только от наследства я тотчас отказался. После от'езда Пушкина у этих женщин не знаю был ли я более двух раз.

Гораздо боле полезным готов я был находить знакомство с матерью. По всему городу носилась молва о силе ее волшебства. Она была упованием, утешением всех отчаянных любовников и любовниц. Ее чары и по заочности

---

[1] Вигель запамятовал: «Черная шаль» написана в 1820 г., за год до прибытия Калипсо в Россию.

умягчали сердца жестоких и гордых красавиц и холодных как мрамор мущин и их притягивали друг к другу. Один очевидец, если не солгал, рассказывал мне, как он был свидетелем ее магических действий. Пифионисса садилась в старинные кресла, брала в руки прямой, длинный, белый прут и надевала на голову ермолку или скуфью из черного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами. Потом начинала она возиться, волноваться, даже бесноваться; вдруг трепет пробегал по членам ее, она быстрее поворачивала прутом, произносила какие-то страшные слова, и седые волосы становились дыбом на челе ее, так что черная шапочка от силы движения прыгала на поверхности их. Когда она успокоивалась, просящему о помощи об'являла, что дело кончено, что неумолимая отныне в его власти. Ну, как было не желать посмотреть на такое зрелище? Я стал умолять старуху Полихронию, называя первое женское имя, которое пришло мне на память; все убеждения мои остались тщетны. Она сказала мне: «В ваших глазах читаю я ваше безверие; а в таких случаях, как и во всем, вера есть главное дело!» Сие слово, почитаемое мною священным, в устах такой женщины показалось мне богохульством.

У Калипсо было много ума и смелости. Она написала красноречивое и трогательное послание к Константину Павловичу, и ей посчастливилось: не только прислал он ей денежное пособие, но и рекомендательное письмо к графу Воронцову. Чтобы оказать особое уважение к высокому ходатайству цесаревича, тот сам середь дня сделал ей церемонный визит. Он ужаснулся, когда ему растолковали, у кого он был. А между тем это посещение произвело важное действие на всех и особенно на ее соотечественников, которые перестали ее чуждаться. Другое обстоятельство еще более сблизило ее с порядочным обществом: узнав, что молдаване вдруг меня возненавидели, принялась она обременять меня проклятиями и выдавать себя за оставленную мною, обруганную жертву. Из мщения, желая досадить мне, и бояре стали приглашать ее к своим женам. Куда как это мне было больно и как лестно да́ром прослыть Тезеем носастой Ариадны! Следующей зимой находил я ее по вечерам у самой губернаторши Катакази. Нет, даже в

петербургском высоком, самом лучшем нынешнем обществе, где везде встречаешь девиц Смирновых, сомневаюсь, чтобы этот классический разврат мог бы быть принят.

Все было [в Кишиневе] тихо и спокойно; но дня через три случилось происшествие, которое наполнило город не столько страхом, как любопытством. Тут приходится мне досказать историю о разбойниках.

В двух княжествах, где не было ни войска, ни полиции, шайки разбойников почти беспрепятственно, безнаказанно могли производить грабежи. Они слились в одну под предводительством известного в тех местах Урсула, медведя на валахском языке. Появление турецкой армии рассеяло сию шайку; остаток ее вместе с своим атаманом перешел к нам через Прут и усилился потом пристающими к нему арнаутами.

Долго не могли совладеть с этими людьми; но частые поимки уменьшили их число, так что под конец состояло оно из трех человек, между коими находился и сам Урсул. Они скрылись в шести верстах от Кишинева, в месте, называемом Малина.

В этом месте, можно сказать точно, что природа раскапризничалась: это был Кавказ в самом малом виде. В нем, гневная и прекрасная, как возвышенные места, так и ущелья, овраги, пропасти наполнила она своими прелестями. Привлеченные ими, некоторые из жителей Кишинева и окрестных мест завели тут свои кишла или хутора. Ими овладел Урсул и заставил живущих повиноваться себе, об'едая и опивая их. Военная команда содержала сие неприступное место в осаде, но не дерзала проникнуть в него.

Долго могли бы эти люди в нем оставаться; но почувствовали ли они какой недостаток, или просто скуку, или лукавый попутал Урсула, он решился его оставить. Он имел тайные сношения с мошенниками в нижней части города и с их согласия намерен был скрыться между ними. Одним утром вместе с двумя сподвижниками оставил он свое убежище, но, под'езжая к городу, заметил сильную за собою погоню. Во всю прыть поскакал он по широким улицам верхней части города, имея в виду достигнуть

нижней и, своротив немного, исчезнуть в ее излучистом зловонии, что, при плохой тогда полиции, было бы удобно. Народ толпами бежал за ним, восклицая толгар, толгар (вор), но не смея приступиться к нему: ибо, имея во рту поводья, в каждой руке держал он по пистолету, равно как и оба товарища его; и раза два должны были они дать выстрелы. Со всех сторон преследуемый, доскакал он под горой до мостика через Бык. Неисправность полиции была в этом случае полезна: лошадь его попала ногой в одну из дыр, находящихся на непочиненном мостике; бегущие за ним товарищи наскакали на него, и все это перепуталось; тогда легко было всех троих схватить и перевязать.

К сожалению, не мог я быть свидетелем сего странного зрелища, середи дня полгородом виденного. Но по званию должностного лица, захотел я увидеть содержащихся под стражей, для коих отведена была особая тюрьма с железными решетками на окнах. Я нашел Урсула задумчиво сидящим на наре, сложив руки. Он был лет сорока, широкоплеч, черноволос и весь оброс бородой. Лицо его было не без благородства: ни страха, ни злости оно не выражало. Когда я вступил с ним в разговор, сказал он мне, что у него, исключая имени, данного ему волохами, есть еще другое, но об'являть которого он не видит нужды. Потом прибавил: «Буйная молодость завела меня не туда, куда следовало. Как быть! И я знаю, что был бы отличный воин». По показаниям сообщников, никогда рука его не обагрялась кровью.

В углу на соломе лежал также скованный товарищ его Богаченко, лет двадцати шести. Более походить на гиену человеку невозможно: как у нее, взор его сверкал наглостью, беспокойством и бешенством. Я не подошел к нему, а посмотрел в лорнет. «Что, барин,—сказал он мне, злобно улыбаясь,—ты, кажется, не стар, а видно совсем ослеп». Потом пустился он мне доказывать права разбойников вооруженной рукой собирать дани с господ, которые безо всякого труда и опасности грабят своих крестьян. Я взглянул на него с ужасом и омерзением. «Ну, барин,—сказал он мне,—хорошо, что меня встретил не в лесу, не так бы там на меня ты посмотрел».

Третий на соломе был осьмнадцатилетний мальчик Славич, усыновленный Урсулом. Этот был весел и, кажется, никак не понимал своего положения. Он полагал, что батько себя и их непременно будет уметь выручить. Все трое были беглые украинцы: молдаване за их ремесло неохотно брались.

Суд над ними продолжался все лето. Ничего не дознались, а в это время хитрый и смелый Богаченко успел кого-то подкупить и, перепилив свои оковы, бежал один. Тогда поспешили с исполнением приговора. Все дивились твердости духа Урсула, который во все время казни не испустил не единой жалобы, ни единого вздоха. Мальчик Славич шел бодро, но после первого удара, данного палачом, как ребенок раскричался, приговаривая: простите, виноват, виноват, не буду. Первый после тяжкого наказания кнутом через два дни умер, последнего сослали на каторжную работу.

Ночью с 15 на 16 мая [1824] приехал в Одессу. Летом в Одессе обыкновенно гораздо веселее, чем в другие времена года. Торговля оживляется, приплывают целые флоты купеческих судов, наезжают множество помещиков для продажи пшеницы и несколько любопытных путешественников. Из последних не встречал я ни одного прежнего знакомого, новых знакомств между ними делать не хотел и жил посреди того самого общества, которое узнал я зимой. Одного человека, которого не только в Одессе, но гораздо прежде в Париже и Мобёже случалось мне часто встречать, рассмотрел я в это время ближе. Но чтобы основательнее говорить об нем, надлежит коснуться всего семейства его.

Внук сестры князя Потемкина, Николай Николаевич Раевской из огромного его наследства получил изрядную часть. Он не умножил сего имения, а, напротив, кажется, расстроил его с небрежностию военного человека. С другой стороны родство с знатными домами и высокий чин давали и ему некоторое право на название знатного. На войне всегда показывал он себя искусным и храбрым генералом и к сему ремеслу с малолетства приучал и двух сыновей своих. Они находились при нем молоденькими офицерами

во время турецкой кампании 1809 и 1810 годов: следственно Жуковский, певец в стане русских воинов, в 1812, кажется, напрасно называет их младенцами-сынами [1]. Меньшой Николай высоко поднялся по службе и пошел бы далее, если бы смерть не остановила его на славном поприще. Обоих отец не удалял от опасностей; зато придирался ко всему, чтобы выпрашивать им чины и кресты.

Старший из младенцев, Александр, не знавал над собой иной власти, кроме родительской, самой снисходительной; всякую другую, и даже полно не эту ли, он презирал и ненавидел. Граф Воронцов по окончании войны взял его к себе по особым поручениям и доставил ему средство с большим содержанием, без всякого дела, три года приятным образом прожить во Франции. Если бы кто захотел попристальнее всмотреться в чувства Раевского, то и тогда мог бы заметить жестокую ненависть его к сему начальнику, несмотря на удвоенную с ним любезность сего последнего. Неблагодарность есть врожденное чувство во всяком греке; благотворения тягостны для его самолюбия. Мать Раевского была дочь грека Константинова и единственной дочери нашего знаменитого Ломоносова: внук, видно, уродился в дедушку.

Вообще все члены этого семейства замечательны были каким-то неприязнённым чувством ко всему человечеству, Александр же Раевской особенно между ними отличался оным. В нем не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не подобные ли чувства святое писание приписывает возмутившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой Демон». Но подробности о нем могут более об'яснить действия его, о коих приходится мне говорить.

Наружность его сохранила еще некоторую приятность, хотя телесные и душевные недуги уже иссушили его и на-

---

[1] Имеется в виду эпизод в сражении при Дашкове в 1812 г., когда Раевский-отец воодушевил свои войска тем, что вывел вперед двух своих сыновей: Александра (род. 1795 г.) и Николая (род. в 1801 г.). Этот эпизод воспел Жуковский; на эту же тему были впоследствии изданы литографированные плакаты.

морщили его чело. В уме его была твердость, но без всякого благородства; голос имел он самый нежный. Не таким ли сладкогласием в Эдеме одарен был змий, когда соблазнял праматерь нашу?

В Мобёже он либеральничал, как и все другие, не более, не менее; но втайне не разделял восторгов заблужденной молодости. Верноподданничество, привязанность к монархическим правилам ему казались отвратительными и ненавистными; на друзей конституции, в том числе на зятя своего Орлова, смотрел с величайшим пренебрежением, однако ж, с некоторою снисходительностью: ибо затеи их, по мнению его бессмысленные, могли причинить много беспорядков, много зла. После Мобёжа, в быстро достигнутом чине полковника, чтобы сохранить ему независимость, выпросили ему бессрочный отпуск. Он еще пользовался им, когда в 1823 году нашел я его в Одессе, повидимому, ко мне столь же невнимательного, как и прежде, но тайными наговорами лишившего меня гостиной графини Воронцовой, что не мог я почитать для себя великой бедой [1].

В продолжение последних пяти лет накопилось число причин ненависти его к Воронцову и его семейству. Графиня Браницкая была только что двоюродная тетка генералу Раевскому, но, всегда покровительствуя его, в его семействе видела собственное. Оттого старший сын его был принят ею в Белой Церкви как сын родной и с дочерьми ее имел право обходиться как брат. Когда, по выступлении русского корпуса из Франции, лишился он больших средств к поддержанию себя, сия женщина, прослывшая скупою, положила ему по двенадцати тысяч рублей ассигнациями ежегодного содержания; как было не мстить за такое жестокое оскорбление? В Молдавии, в самой нежной молодости, говорят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостоивал он своего внимания: как кошка, любил он марать только все чистое, все возвышенное, и то, чтó французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду

[1] Биограф Раевского, М. О. Гершензон, отмечает правильность этой характеристики пушкинского Демона, сделанной Вигелем.

входить в тайну связей его с Е. К. Воронцовой, но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. Но как терзалось его ужасное сердце, имея всякий день перед глазами этого Воронцова, славою покрытого, этого счастливца, богача, которого вокруг него все превозносило, восхваляло. Он мог бы легко причислиться к нему и, спокойно дождавшись генеральства, получить место градоначальника или гражданского губернатора. Но нет; такие мысли показались бы ему унизительными; его цель была выше. Он прослыл опасным человеком, и все старались учтиво уклоняться от него, исключая его мобёжских товарищей, которые не любили его, но и не чуждались. Они знали его лучше; они знали, что он не станет тратить времени, чтобы стрелять в простых птиц, подавай ему орлов да соколов. И действительно в Одессе, исключая двух или трех, не было довольно славных жертв для заклания в честь этого божества [1].

При уме у иных людей как мало бывает рассудка! У Раевского был он помрачен завистию, постыднейшею из страстей. В случае даже успеха, какую пользу, какую честь мог он ожидать для себя? Без любви, с тайною яростию устремился он на сокрушение семейного счастия, супруже-

---

[1] Александр Раевский, которому посвящены известные стихотворения Пушкина «Демон», «Коварность», «Ангел», — был человек образованный. Воронцову он, действительно, любил, и есть основания верить рассказу Вигеля о том, что Раевский устроил так, чтобы обратить ревность мужа на Пушкина. Впрочем, Воронцов через несколько лет применил к самому Раевскому средство, использованное им для избавления от Пушкина: он не постеснялся донести в Петербург о политической неблагонадежности А. Н. Раевского, который, так же как раньше Пушкин, был выслан в деревню. Однако, Раевский, в силу особых свойств своего характера, увековеченных Пушкиным в «Демоне», не увлекался политикой и презирал тогдашних либералов. Но в силу тех же свойств он, на допросе по делу о заговоре декабристов, отвечал Николаю, на упрек в недонесении об известных ему собраниях членов тайных обществ, очень гордо и смело. При всех изменениях в характере личных отношений между Пушкиным и А. Н. Раевским — первый всегда уважал ум своего «Демона», а второй постоянно интересовался отношением поэта к нему.

ского согласия Воронцовых. И что же? Как легкомысленная женщина, Е. К. Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее обхождение... с человеком ей почти чуждым, его же стараниями перетолковывается в худую сторону. Когда же ей открылась истина, она ужаснулась, возненавидела своего мнимого искусителя и первая потребовала от мужа, чтобы ему отказано было от дому.

Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь миловидной Воронцовой, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его.

Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся.

Через несколько дней по приезде моем в Одессу, встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев [управляющий канцелярией Воронцова] медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменения приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет;

куда тебе [1]! Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», — а через полминуты прибавил: — «Также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок.

Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после, через Франка внушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга, Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forcés), но что впрочем после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через три после того, когда меня уже не было в Одессе,

[1] Раз сказал он мне: Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным, под руководством вашим? — Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами, отвечал я.—Так на что же они годятся? — сказал он. А в т.—М. С. Воронцов, сын посла в Лондоне, родственник больших вельмож и временщиков, один из богатейших людей в России, пользовавшийся по участию в Наполеоновских войнах большой известностью в Европе (его—англомана—Александр поставил во главе русских войск во Франции после низвержения Наполеона), по вельможеской спеси своей (хотя и умный, образованный, даровитый администратор) смотрел с презрительным изумлением на Пушкина, гордившегося своим шестисотлетним дворянством и желавшего быть на равной ноге с магнатами. Об этой стороне характера Пушкина — в записках о нем его товарища И. И. Пущина.

получен ответ: государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии.

Какой-нибудь Талейран сказал бы, что он видит тут более чем дурное дело, что тут ошибка, великий промах. Такие люди как Воронцов не должны довольствоваться успехами по службе, умножением власти: у них в предмете должна быть народная молва, всеобщая народная любовь, переходящая между соотечественниками из рода в род. Вот прочная собственность, которой никакая царская немилость лишить не может. Когда разнеслось по России, что одна из слав ее губит другую, блеск первой приметным образом начал меркнуть. Ото всего сердца любил я обеих, и оно раздиралось. Теперь когда вспомню, то самому себе кажусь смешным; а тогда право готов был как Химена воскликнуть:

La moitiè de ma vie a mis l'autre au tombeau [1].

Накануне отплытия графа [в Крым], случилось мне быть с ним наедине в его кабинете. Он вынул полученное им письмо от Катакази и, отдавая его мне, сказал: «Растолкуйте мне, чтó это все значит?» Катакази писал, что в Кишиневе все заняты одним каким-то сочинением, писанным моею рукою, которое в молдаванах производит крайнее неудовольствие. Я рассказал, каким образом второпях отдал я Скляренке рукопись [Записки о Бессарабии] свою на сбережение. «Но если он выдал ее, то это не делает большой чести хваленому вашему Скляренке». — «Я уверен, что ее выкрали у него, — отвечал я. — Но после этого, — продолжал я, — согласитесь, что мне трудно будет показаться, и лучше возьмите меня с собою: если эти люди и останутся спокойны, мне совестно будет на них глядеть». — «И, полноте, — отвечал он, — чтó за беда, если эти мошенники узнали ваше мнение об них; они, пожалуй, могут подумать, что вы не смеете приехать». И это дело, подумал я.

Не более двух суток оставался я потом в Одессе. В этот тесный промежуток времени хочу вместить изображе-

---

[1] Одна половина моей жизни губила другую.

ние одного человека, о котором давно бы мне следовало говорить. Австрийский генеральный консул, венгерец Том, с самого рождения этого города был радостию и украшением его общества. Огромный рост и могучие плечи одни показывали в нем маджара; но ни в одном из образованных государств нельзя было сыскать человека любезнее его в обхождении. Ему было за восемьдесят лет, а он казался не более шестидесяти; и это уже старость, а дамы старые и молодые, равно как и юноши, искали его беседу. Он всегда был весел и всегда степенен, и смех, который сам старался он производить, всегда смешан был с невольным уважением к сему добрейшему и честнейшему старцу. В редкие маскарады, которые бывали при Ришёлье и при Ланжероне, всегда являлся он переряженным, и раз огромной книгой, назади которой написано было: Том 1-й. Страсть имел он к каламбурам, и они часто бывали у него забавны. Нужно ли говорить, что в знакомстве его видел я для себя находку, клад?

Он взялся проводить меня до первой станции Дольника, или лучше сказать до собственного хутора, в одной версте от нее находящегося. Он называл его coûteur, ибо, не принося ему никакого дохода, стоил больших издержек, и он, редко расставаясь с городом, приезжал в него попировать и угощать приятелей. Для умножения удовольствия моего, а может быть и Пушкина, пригласил он и его на сию загородную прогулку. Я послал экипаж свой прямо в Дольник и мы в иванов день 24 июня втроем отправились в коляске Тома.

Он имел великое искусство сохранять в комнатах теплоту зимой и свежесть в летнее время: в этом состоял его эпикуреизм. Все было приготовлено на кутёре: окна везде были открыты, но снаружи завешаны предлинными маркизами, которые беспрестанно поливались студеной, колодезной водой. Пол был мраморный, и в четырех углах стояли кадочки со льдом. В то же время множество резеды и тубероз распространяли приятный запах по комнате. По приглашению хозяина мы развалились на диванах; и когда полуденное солнце со всею силою горело над нами, мы находились среди прохлады и благоухания, и я мог любоваться ясным, теплым вечером долгой безукоризненной

жизни. Нет, не забыть мне этого дня! Разные возрасты были веселы и хохотали как ребята. Это было не перед добром: мне предстояли довольно тягостные, а Пушкину весьма скорбные дни. Когда жар начал спадать, простился я с хозяином и с гостем; с последним, кажется, гораздо нежнее, как бы предчувствуя долгую разлуку.

Я не скоро мог заснуть: все мне мерещился с столь приятными людьми столь весело проведенный день. Заря совсем уже занялась, когда проснулся я в Тирасполе. Пока перепрягали лошадей, вышел я из коляски и вдруг увидел без памяти скачущую тройку. Она остановилась, из повозки выскочил молодой канцелярской и подал мне письмо. Господа Лонгинов и Лекс [чиновники, приятели Вигеля] уведомляли меня, что по известиям, полученным из Кишинева, ярость жителей превосходит всякое описание, что рукопись моя переведена на молдавский язык, всюду распускается и что все друг друга возбуждают против меня, почему они и советуют мне воротиться в Одессу. Словесно поручил я посланному от всей души благодарить Никанора Михайловича и Михаила Ивановича за принимаемое во мне участие. «Если бы вы настигли меня прежде, — сказал я ему, — то может быть я воротился бы с вами; но вы видите, вот Бессарабия: право, как-то совестно бежать в виду неприятеля».

Однако, признаюсь, я чувствовал в себе сильное волнение, когда переправился через Днестр. Оно еще было умножено в Бендерах на почтовом дворе письмом от приятеля моего Алексеева: он не пугал, а спешил предупредить, дабы заранее мог я принять свои меры. Узнав о внезапной ненависти целого населения и испытывая действия несомненной приязни нескольких человек, я не могу описать своих чувств.

Молдаване оставались покойны, пока не узнали о моем приезде. Тогда через областного предводителя послали они просьбу к наместнику, требуя удаления моего из области, как врага народа молдавского [1].

---

[1] Что после было исполнено переводом Вигеля на должность градоначальника в Керчь.

Я чувствовал тоску неодолимую и оттого мучил графа просительными письмами об увольнении меня от должности. Он не согласился и из Крыма прислал мне опять приказание приехать в Одессу по делам службы. Я и тому обрадовался и 15 сентября, почти ровно через год после первого приезда моего в Кишинев, оставил его.

К вечеру приехал я в обычный мне отель де-Рено.

Еще граф не воротился из Крыма. В городе и особенно на пристани было много торговой деятельности, но веселого шума нигде. Один театр занимал тогда всю публику и даже разделял ее. Приехала из Петербурга певица Данжевиль-Вандерберг, которую я там видел на сцене и о которой говорил в начале сей части. Она за что-то поссорилась с дирекцией, привезла в Одессу двух плохих актеров, Валдоски и Огюста, еще кой-кого понабрала и пустилась потчивать жителей водевилями. Старожилы, если только могли они быть в двадцатилетнем городе, видели в этом посягательство на священные, исключительные права̀, дарованные итальянцам. Им вторил старик граф Ланжерон, вероятно, по обязанности бывшего одесского градоначальника. Зато новый, граф Гурьев, ничего не смысливший в музыке и всегда отличавшийся галломанией, всею силою поддерживал французов. Конечно, в искусстве пения Данжевиль не могла бы состязаться даже с посредственными одесскими певицами, зато играла превосходно, была хороша собою и умела выбирать веселые пьесы, при представлении коих партер всегда бывал полон. Не доказывает ли это, что итальянская опера была только делом условным, а настоящею потребностью французской или даже русской театр? Но о сем последнем никто не смел даже думать, и нельзя было предвидеть, что через несколько лет две русские труппы в одно время будут играть на двух разных сценах и всегда привлекать множество зрителей. В таком разноязычном городе как Одесса был необходим общий язык; им сделался русский. Грек или англичанин, жид или француз, каждый произносил по-своему, но все друг друга понимали. Заведение театра еще более распространило употребление его между жителями.

Больно мне бывало слышать ругательства против русского народа, а еще больнее внутренно сознаваться, что

они были заслужены. Первое население Одессы состояло из русских бродяг, людей порочных, готовых на всякое дурное дело. Нравы их не могли исправиться при беспрестанном умножении прибывающих подобных им людей. Но они служили основой, так сказать, фундаментом новой колонии. А между тем, если послушать иностранцев, каждая нация приписывала себе ее основание; во-первых, французы, которые столь много лет при Ришелье и Ланжероне пользовались первенством; потом итальянский сброд, гораздо прежде Рибасом [1] привлеченный, в этом деле требовал старшинства. Жиды, которые с самого начала овладели всей мелкой торговлей, не без основания почитали себя основателями. Немцы, которых земляки в Лустдорфе и Либентале были единственными скотоводами, хлебопашцами, садовниками и огородниками в окрестностях и одни снабжали население с'естными припасами, имели равное на то с ними право. Наконец, поляки, которые привозили свою пшеницу, родившуюся на русской земле, обработанной русскими руками, и поддерживали там хлебную торговлю, видели в Одессе польский город. Одна Россия не участвовала в сооружении сего града, разве только покровительством царским, миллионами ею на то пожертвованными да десятками тысяч рук ее сынов, не трудолюбивых, но неутомимых. На сих сынов ее иностранцы смотрели как на навоз. Спросить бы у сих господ, что́ бы сделали они без этого навоза, который лучше камня служил основанием их фортунам. До того этот город почитался иностранным, что на углах улиц видны были французские и итальянские надписи, как, на-

---

[1] Неаполитанец Иосиф де-Рибас (1749—1800) сын испанского генерала, поступивший при Екатерине II в русскую службу и дослужившийся до адмиральского чина. Успешно участвовал во всех русско-турецких войнах своего времени, пользовался любовью Потемкина и Суворова. Де-Рибас первый устроитель Одессы. Ему поручались, впрочем, более или менее щекотливые дела: напр., похищение самозванной княжны Таракановой, которая представляла некоторую опасность для Екатерины, так как выдавала себя за дочь императрицы Елисаветы; он же и его жена Н. И., внебрачная дочь знаменитого И. И. Бецкого, имели поручение наблюдать за воспитанием первого графа Бобринского, сына Екатерины II и Гр. Орлова. Де-Рибас, перед смертью, участвовал в разработке плана убийства Павла I.

пример, rue de Richelieu, Strada di Ribas. Тогда граф Воронцов был одушевлен самым благородным, патриотическим жаром и все эти надписи велел заменить русскими.

Около месяца дожидались мы возвращения нашего генерал-губернатора. Он зажился посреди прелестей природы на южном крымском берегу и, вероятно, вследствие какой-нибудь неосторожности, захворал неотвязчивою крымскою лихорадкою. Дотоле я не знал человека здоровее его; он достигнул настоящего зрелого возраста и был самого крепкого сложения; с этих пор болезни нередко стали его посещать. Он воротился изнеможенный, бледный, худой, занимался делами, но мало кому показывался. Я не мог много похвалиться ласкою его первого приема; я приписывал это действию лихорадки, а это было действием наговоров.

Во время последнего пребывания в Крыму прогневался он [Воронцов] на таврического вице-губернатора, статского советника Куруту, за одно дело, в котором, правду сказать, сей последний был вовсе не виноват, и просил министра финансов перевести его в какую-нибудь другую губернию; на его место прочил он меня. Но Канкрин не показывал никакого расположения удовлетворить сие желание графа, а я покамест оставался как бы между двух стульев. Увы, скоро одно из них должно было для меня опорожниться.

За несколько дней до графа прибыл из Крыма другой граф, еще знаменитее его, но который присутствием своим его затмить не мог. Граф Кочубей, оставя дела службы по болезни дочери, провел зиму в Феодосии; но пребывание в сем мертвом городе семейству его показалось слишком унылым, и он морем приплыл с ним в Одессу, дабы в ней провести эту зиму. Он так высоко стоял надо мною, не по званию, не по гениальности, а по горделивому характеру, что я не видел повода ему представляться. Однако же, за обедом у графини Воронцовой, он сам обратился ко мне с речью, и после обеда милостиво разговаривал; после того счел я обязанностию явиться к нему. Обыкновенно вельможи в провинциях на величие свое накидывают тонкое покрывало, дабы блеск его смягчить для слабого зрения провинциалов и сделаться доступнее. Меня граф Кочубей позвал к себе в кабинет и тотчас посадил; одаренный удивительною памятью, говорил он со мною о китайском

посольстве, с участием вспоминал об отце моем и с любопытством расспрашивал о Бессарабии. У таких людей надобно ожидать их сигнала к отбытию; я не дождался его, встал, а он меня опять усадил. Прощаясь об'явил он мне, что с такого-то по такой-то час он не занят делом и что в это время он всегда меня охотно примет. Мне едва верилось.

Маленькое самолюбие заставило меня еще раза два воспользоваться его дозволением или приглашением, и я не имел причины в том раскаиваться. Не знаю, чему обязан я за его хорошее расположение. Разве добрым словом, за меня замолвленным ему Блудовым?

О сем последнем давно не имел я никакого известия. По болезни, по неудовольствию ли какому, или просто для прогулки отправился он, как говорили наши старики, на теплые воды, а потом странствовал по Германии. От'езжая, передал он бессарабские дела и, кажется, заботы в случае нужды обо мне приятелю своему, статскому советнику Аполлинарию Петровичу Бутеневу, бывшему впоследствии посланником в обоих Римах, в нашем и в католическом.

В это время одесское или лучше сказать семейное общество графа умножилось одною прибывшею из Петербурга четою. Не слишком богатый казанский помещик, молодой красавчик, Димитрий Евлампиевич Башмаков, служил в кавалергардском полку. Мундир, необыкновенная красота его, ловкость, смелость открыли ему двери во все гостиные большого света. Он получил там право гражданства до того, что решился искать руки внучки Суворова у Марьи Алексеевны Нарышкиной и получил ее. Право, как-то совестно много толковать о таких людях, как эти Башмаковы, но по заведенному мною порядку сие необходимо. Человека самонадеяннее, упрямее и непонятливее Башмакова трудно было сыскать; кто-то в Одессе прозвал его Brise-raison [пустомеля, болтун]. Молодая супруга его, Варвара Аркадьевна, была не хороша и не дурна собою, но скорее последнее; только на тогдашнее петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержанное в речах, она совсем не походила, любила молоть вздор и делать сплетни; бывало, соврет что-нибудь мужу, тот взбесится, и выйдет у него с кем-нибудь неприятность. А Ольга Потоцкая и

Раевской были опять тут как тут и более чем когда ненавидели друг друга [1]. Они не очень сближались с Башмаковым; зато Синявин подружился с ним, и сии люди, пожаловавшие себя в аристократы, были неразлучны. Я было и забыл сказать, что г-жа Башмакова по матери была двоюродной племяницей графа и что муж ее, при оставлении военной службы получив чин действительного статского советника и камергерской ключ, приехал под покровительство дядюшки. Вот какая родня и дальняя и близкая облепила графа и графиню Воронцовых. Последняя сделалась ко мне милостивее, и я смотрел на нее с некоторым сожалением. Можно себе представить, какие неудовольствия, толки, пересуды должны были произвесть претензии и несогласия сих людей между окружающими графа. Бог избавил меня по крайней мере от этой напасти: ибо, по возвращении его из Крыма, судьба не дозволила мне долее трех недель оставаться в Одессе.

В михайлов день, 8 ноября, дабы праздновать имянины мужа, графиня [Воронцова] сделала великолепный бал, украшенный присутствием двух андреевских кавалеров, Кочубея и Ланжерона. Не без труда на этот бал могла она вытащить графа, все еще страждущего, в мундирном сюртуке и без эполетов. Он отозвал меня в сторону и сказал, что имеет кое-что со мной переговорить, но что тут не место, и для того приглашает меня к себе на другой день поутру. Лекс, обыкновенно столь скромный, из особой приязни проговорился мне, что вероятно будет мне сделано предложение занять место Петрулина [вице-губернатора], об ожидаемой кончине которого, последовавшей 6 числа, перед вечером получено известие. Меня это чрезвычайно смутило; как было отказываться, но как было и согласиться ехать опять в этот ужасный, для меня как бы неизбежный Кишинев?

---

[1] Раз на танцовальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом Ольги и по доброте своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: «Позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приязненно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек». Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно. *Авт.*

Он хотел, чтобы, исключая Казначеева и Лекса, временное назначение меня в должность вице-губернатора, по особому праву, ему данному, оставалось пока в тайне даже для находившегося тут губернатора Катакази. Нужные о том бумаги в совет были написаны 9 числа, а я, не сказав никому о том ни слова, ни с кем не простившись, 10 числа оставил Одессу.

Погода и дорога были прескверные. Уставши, в Тирасполе остановился я переночевать на каком-то постоялом дворе. Я тут оставался недолго: начальник 17-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Сергий Федорович Желтухин, в отсутствие генерала Сабанеева исправлявший должность корпусного командира, прислал убедительно просить меня к нему приехать. У него нашел я отличный прием, славный ужин и мягкую чистую постель. Все прекрасно; но он поразил меня ужасною вестию, что в Измаиле открылась сильная чума и что вследствие сего известия, только что полученного, едва ли по Днестру не приняты все строгие карантинные меры. Случись это суток двое или трое прежде, и вероятно я не решился бы ехать.

Верно изобразить г. Желтухина я колеблюсь. Многим покажется, что я плачу ему неблагодарностью за его гостеприимство; да разве я не обязался исправно дань платить истине? Если кто захочет порыться во второй части этих Записок, тот найдет в Казани родителей Желтухина, отставного сенатора и супругу его, которые, несмотря на свои ласки, произвели на меня ужасное впечатление; тут мимоходом упомянул я и об нем. В самой первой молодости служил он в гвардии, потом в армии, всегда в военной службе; не понимаю, как он выбрал этот путь. Я бы мог умолчать об его необычайной трусости, если бы в редких сражениях, в коих он находился, он свидетелем ее не сделал все войско. В то же время был он чрезвычайно жесток с подчиненными, особенно с нижними чинами, и чрезмерно ласков с теми, в коих полагал иметь надобность: одним словом, при уме более чем посредственном, имел все пороки низких душ. Дивизионная квартира его находилась в Кишиневе; узнав об отменном ко мне благорасположении начальника своего Сабанеева, также и графа Воронцова, из

коих первый просто его не любил, а последний не мог скрывать отвращения своего от него, он надеялся через меня попасть к ним в милость и душил меня своими ласками [1]. Как умел, отделывался я от них; но во время молдавского гонения на меня он стал чаще меня навещать и оказывать все знаки уважения и дружелюбия; против этого не совсем я устоял, и вот какого рода были наши связи.

Долго проспал я следующим утром: и сам я не очень спешил выездом, да и Желтухин удерживал меня до завтрака, то есть до обеда. Невесело же мне будет в Кишиневе, — думал я.

Вскоре получено было из столицы самое печальное известие. Я провел большую часть жизни в Петербурге и с сокрушенным сердцем узнал о его потоплении. Не знаю отчего, но тогда же сие событие показалось мне предвестником других еще несчастнейших. С другой стороны близость чумы, мрачное, холодное осеннее время, все располагало меня к ипохондрии. Бывали минуты, в которые до того я чувствовал себя расстроенным, что с трудом мог заниматься делом.

Была одна добрая, сумасшедшая старушка, госпожа Богдан, которая оставила Яссы единственно потому, что у нее был там сын с предлинной бородой и внук с изрядным усом, а ей все еще хотелось казаться молодою. Она получила некоторое образование и каким-то непонятным французским языком описала путешествие свое в Италии. Она была богата и имела большой вес между земляками. Не знаю как ей вздумалось свататься за меня [2]; я, разумеется,

---

[1] Желтухин такими же ласками душил П. И. Пестеля, к которому подслуживался в виду того, что глава заговора декабристов до 1826 года пользовался исключительным доверием и любовью главнокомандующего второй армией графа П. Х. Виттенштейна.

[2] Липранди по этому поводу пишет: «Сказка и о старушке, будто бы думавшей выйти за него замуж: это намекает он на Богданесу, проживавшую в Кишиневе. Эта старуха, за 60 лет, полуболезненная, жена гетмана Балша, известного по оплеухе, данной ему Пушкиным, любила соединять у себя общество. Если эта старуха была неравнодушна (по преданиям, конечно), к мужскому полу, то ни в каком уже случае Ф. Ф. не мог возжечь в ней этой страсти».

не позволил себе отказаться от ее руки и просил только времени на размышление. Этим временем пользовался я, чтобы заставить ее делать, что хочу. Я уверил ее, что на этих балах будет она царицей, а как царице нужен двор, то и просил ее, чтоб она склонила молодых кокон и кокониц участвовать в сих увеселениях; сие было ей не трудно, ибо им самим до смерти хотелось танцовать. Немногие, однако ж, из бояр согласились отпускать жен и дочерей на сии вечера; только те, которые искали со мною примирения и показывали, будто мне из уважения сие делали. О молодых молдаванах и говорить нечего: им бы только поплясать. Во всех землях, куда проникает европейское просвещение, первым делом его бывают танцы, наряды и гастрономия.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Приближался конец первого двадцатипятилетия девятнадцатого века. Всеобщий мир, устроенный сонмом царей на венском с'езде или, лучше сказать, тем, кого почитали все их главою, все еще существовал.

Аракчеев, умнейший изо всех действующих тогда лиц, друг и блюститель порядка, был сильнее чем когда. Жестокий его характер был однако более вреден, чем полезен самодержавию.

Тайная полиция, под именем особой канцелярии, находилась тогда в заведывании министерства внутренних дел. Граф Кочубей как бы гнушался этою частию, а преемник его, престарелый и беспечный Ланской, мало об ней заботился. Под ними этою частию управлял статский советник Максим Яковлевич фон-Фок, мне знакомый человек: ибо отцы наши были друзьями, и мы оба образованы были одним наставником г. Мутом, только он лет шесть попрежде меня. Он был немецкий мечтатель, который свободомыслие почитал делом естественным и законным и скорее готов был вооружаться на противников его. Вообще же он никогда не был расположен под кого-либо подыскиваться.

Рыцарь Милорадович добровольно обратился в главу шпионов и каждый вечер терзал царя целыми тетрадями доносов, по большей части ложных.

Только по части духовной и особенно в министерстве просвещения вводимо было нечто совершенно инквизиционное. Министр Шишков был не что иное как труп, одним злодеем гальванизированный.

Таков был Магницкий. Первые годы молодости своей провел он в эпикурейской Вене и в революционном еще Париже; там рано развратилось сердце его. Когда он возвра-

тился в отечество, то сперва вместо трости носил якобинскую дубинку, с серебряной бляхой и с надписью: droit de l'homme [право человека]. Потом он был самым усердным англоманом, а после Тильзитского мира отчаянным обожателем Наполеона, что, кажется, и было причиной ссылки его в Вологду. Оттуда назначен он был воронежским вице-губернатором, а вскоре потом губернатором в Симбирск. В это время сильно пристал он к мистицизму и тем угодил министру князю Голицыну, который испросил ему место попечителя казанского университета, а по званию члена главного правления училищ, держал его при себе в Петербурге. Он совершенно оседлал Голицына; но, предвидя скорое его падение, способствовал оному, войдя в тайные сношения с его противниками. Езда на Шишкове показалась ему еще гораздо покойнее.

Вот первый случай, что́ в руках его находилась достаточная власть для преследований: он им воспользовался. Более всего нападения его направлены были на Библийское общество, к коему он принадлежал; вообще, нападал он на все то, что́ сам прежде исповедывал. Горе профессорам, которые на кафедре дерзнут выразить какую-нибудь смелую мысль; горе писателям, если в их творениях ему покажется что-нибудь двусмысленным; горе цензорам, то пропустившим. И если бы у него были какие-нибудь убеждения! Но он никого и ничего не любил и ни во что не веровал.

Подручником себе избрал он одного неутомимого пустомелю Рунича, который в должности попечителя петербургского университета занял место умного и ученого Уварова. Этот, кажется, был чистосердечнее, зато уже бессмысленнее его ничто не могло быть. Можно себе представить, в каком положении находилась тогда подрастающая наша словесность.

Знаменитая госпожа Крюденер около этого времени испытала также гонение правительства. Года три-четыре оставалась она в Петербурге, но учение свое мало успела в нем распространить. Под ее председательством составилось только небольшое общество мечтательниц. Главным из них и ей самой в 1823 году посоветовали выехать из столицы. В числе их была и моя любезная, устаревшая Александра Петровна Хвостова. Уведомляя меня о намерении их

избрать местопребыванием южную Россию, она требовала моего совета, а я предлагал ей Бессарабию. Но как она сделалась истинно-набожною, то остановилась в Киеве, где и поднесь находится в живых.

В ответе моем мне вздумалось поэтизировать, в блестящем виде представить полуденный берег Крыма, который я знал только по описаниям и наслышке. Письмо мое представила Хвостова на общее суждение дамского совета. Главною распорядительницею в деле переселения была богатейшая из сих женщин, мужественная княгиня Анна Сергеевна Голицына, урожденная Всеволожская. Описание мое, как уведомляла меня Хвостова, воспламенило ее воображение; она начала бредить неприступными горами, стремнинами, шумными водопадами. Как всех на дорогу снабжала она деньгами, то в капитуле имела первенствующий голос. Как леди Стенгоп [1] на Ливане, избрала она красивое место над морем и начала тут строить церковь и дом. Госпожа Крюденер с зятем и дочерью, бароном и баронессой Беркгейм, поселилась пока в маленьком городе, называемом Эски-Крым; но вскоре потом в 1824 году переселилась в вечность [2].

За нею скоро последовала привезенная Голицыной одна примечательная француженка. Она никогда не снимала ло-

---

[1] Леди Эстер Стенгоп (1776—1839), дочь английского государственного деятеля; была секретарем у Питта младшего; путешествовала по турецкому Востоку, участвовала в местной политической жизни и имела огромное влияние на все население Сирии.

[2] Баронесса Варв. Крюденер (1765—1825), ур. Фитингоф, известная проповедница мистического суеверия и шарлатанка. Александр I встретился с нею в 1815 году и поддался ее влиянию, советуясь с нею о государственных делах. Кн. Анна Сергеевна Голицына (1779—1838), одна из самых усердных сторонниц Крюденер, была женщина эксцентричная. Выйдя замуж, она прямо от венца разошлась с мужем, отдав ему половину своего огромного состояния, ударилась в мистицизм и взяла на свое содержание всю колонию бар. Крюденер; когда деятельности последней стали ставить препятствия в столице, Голицына собрала всех этих кликуш, снарядила огромную барку, и они прямо от Калинкина моста в Петербурге отплыли в Крым. Здесь Голицына начальствовала в своей колонии, носила мужской костюм и сама называла себя «старухой гор». Имела большое влияние на все татарское население округи.

синой фуфайки, которую носила на теле, и требовала, чтобы в ней и похоронили ее. Ее не послушались, и оказалось по розыскам, что это была жившая долго в Петербурге под именем графини Гашет, сеченая и клейменая Ламотт, столь известная до революции, которая играла главную роль в позорном процессе о королевином ожерелье [1].

Занимая читателя все предметами мне посторонними, медлю говорить ему о себе и не знаю, как приступить к тому. Тяжело мне воспоминание о мучительном хотя кратковременном губернаторстве моем.

Вечером [28 ноября 1825 г.] я не велел без нужды никого к себе пускать, развалился на диване и предался приятнейшим мечтаниям. Вдруг послышался мне в передней небольшой шум, и мне пришли сказать, что приехавший из Одессы Липранди непременно желает меня видеть. О, этого

[1] Жанна де-Ла-Мотт (род. 1756), родственница старого французского королевского дома Валуа, близкая приятельница королевы Марии-Антуанетты, казненной в 1793 году. Прославилась участием в процессе об ожерелье королевы (1784—1786). История эта заключается в следующем. У двух парижских ювелиров осталось невыкупленным огромной ценности бриллиантовое ожерелье, заказанное для любовницы Людовика XV, Дюбарри. Они предлагали его королеве, но у Марии-Антуанетты не было денег для этой покупки. Ламотт решила использовать эту историю и для своего обогащения и для возвеличения своего любовника кардинала Рогана, который в то время тщетно пытался вернуть себе былое влияние при дворе. Благодаря сложной интриге Ламотт через Рогана выманила у ювелира ожерелье якобы для королевы, дурачила в этой интриге и кардинала, и королеву, и ювелиров и в результате всей истории была посажена в тюрьму. Хотя королева доказывала свою непричастность к воровству, но, несомненно, была заинтересована в сокрытии этой грязной истории; вскоре после осуждения Ламотт бежала из тюрьмы при содействии Марии-Антуанетты. История эта с внешней стороны так же содействовала подрыву престижа монархии во Франции, как у нас история с Распутиным в последние годы царизма. По официальным источникам Ламотт умерла еще до казни королевы, в 1791 году, но очень многие верили в то, что она умерла в Крыму; среди них был Вигель. Польский поэт, приятель Пушкина и Мицкевича, гр. Г. Олизар встречал эту приятельницу Голицыной и также называл ее в своих воспоминаниях г-жей Ламотт, участницей процесса об ожерелье.

подавай сюда, и ну его расспрашивать! Он неохотно отвечал; лицо его, всегда довольно мрачное, показалось мне еще мрачнее. После минутного молчания, вот короткие слова, которыми обменялись мы: — Я привез вам худые вести. — Что такое? — Государь опасно болен. — Быть не может!

На другой день все узнали [о смерти Александра I] и все молчали, по крайней мере со мною. Не получив никакого официального извещения, мне и не следовало говорить; а другие, может быть, щадили мою скорбь. Греки же и филэллины не скрывали своей радости: они возлагали великие надежды на Константина Павловича, потому что он в молодых летах говорил по-гречески, имел при себе Куруту [грек-генерал, любимец Константина] и покровительствовал иногда единоземцев их, находящихся в России. Сии бессмысленные не знали, что никто так не вооружался против войны с турками [1]. Все они толпились вокруг вестника Катакази и сделались так надменны, что встречающимся не хотели кланяться.

Молдаване тоже не показывали большой печали и оставались довольно равнодушны; им было все равно: не тот, так другой.

Вся Россия находилась тогда в странном положении. Обыкновенно преемник усопшего императора манифестом возвещал нам в одно время о кончине его и своем воцарении. Тут более тысячи верст отделяло наследника престола от столицы, и в дали от нее, совсем в другой стороне последовала кончина его предшественника. Сколько времени нужно было на раз'езды, на сообщение известий; сей промежуток времени имел вид междуцарствия. Я ожидал сведений и приказаний из Таганрога, из Петербурга, из Варшавы. Наконец, 3 декабря получил я первую формальную бумагу с черной каймой, подписанную наместником 25 ноября, в день приезда его в Таганрог. В ней, извещая меня о несчастном событии, он предписывает, чтобы во всех актах сохраняемо было имя покойного, впредь до повеления ныне

[1] По дошедшим после до меня сведениям из Константинополя, известие о смерти государя Александра поразило султана Махмуда. Смутившись, схватил он себя за бороду и сказал: буйалам, добрый был человек. А наследника его, которого одно имя его устрашало, называл Асланом, т. е. раз'яренным львом. Авт.

царствующего государя императора Константина Павловича. Я подчеркнул точные слова его предписания.

По военному ведомству дело шло проворнее. Вследствие полученных им приказаний, генерал Желтухин 6 декабря, в Николин день, на широком дворе митрополии, после обедни проводил к присяге новому царю всех воинов, налицо находящихся в Кишиневе. Духовное начальство также не замедлило получить указ из святейшего синода, и архиепископ Димитрий официальным отзывом пригласил меня на панихиду 12 декабря, в самый день рождения усопшего. Одним словом, я пел еще за здравие, когда духовенство и войско пели за упокой. Однако же вечером того же числа прибыл ко мне сенатский курьер с указом из Сената, и весь этот вечер просидел я в областном правлении, дабы скорее привести указ сей в исполнение. Надобно было присяжные листы перевести на молдавский язык, печатные указы с нарочным разослать по цынутам и повестить всех гражданских и отставных чиновников об учинении присяги. На другой день, 13 декабря, сие совершено мною в крестовой церкви архиерейского дома.

По совершении сего священного обряда, казалось, нам оставалось только спокойно ожидать распоряжения нового правительства; но нет, почти месяц прошел после того, что скончался Александр, а Константин хранил молчание. Царствовал один только густой мрак неизвестности, подобный тому, который постоянно покрывал тогда наше полуденное небо.

В потьмах все предметы кажутся страшнее. И в близи и в дали, казалось, грозит нам опасность. Неизвестно откуда взялись слухи, что во второй армии (из коей две дивизии занимали Бессарабию) готов вспыхнуть мятеж. И действительно, и солдаты и офицеры равно не любили цесаревича, почитая его жестокосердым, руссоненавистником. Сии слухи имели по крайней мере какое-нибудь основание, и верноподданный, трусливый генерал Желтухин придавал им вероятность, запершись и нигде не показываясь. Но другие, самые нелепейшие слухи ходили насчет Петербурга. Уверяли; будто великий князь Николай Павлович, пользуясь смертью одного брата и отсутствием другого, захотел воссесть на

престол и был засажен в крепость; будто у него сильная партия, и может последовать междоусобная война. Надобно было жить в таком отдалении от истины, чтобы поверить такому вздору.

Экстра-почта в восемь дней из Петербурга приходила к нам два раза в неделю. По последне-полученной почте, 23 декабря к вечеру, не было ни бумаг, ни писем. Долго ли это будет? — подумал я. На другой день, часу в двенадцатом утра, по окончании обычных моих занятий, пришел ко мне от архиепископа Димитрия секретарь консистории с важными, по словам его, бумагами. Преосвященный получил их накануне по почте и, сообщая их мне одному, просил о содержании их никому не говорить. Тут были печатные листы, манифест покойного государя, отречение Константина Павловича и, наконец, манифест о восшествии на престол императора Николая I. Сим, казалось, развязывалась загадка; но во мне, привыкшем сомневаться, умножилось недоумение. Для об'яснений поспешил я к архиерею; он показал мне коротенькое письмо директора почтового департамента тайного советника Жулковского. Препровождая к нему манифесты, он прибавлял только: «дай бог много лет здравствовать молодому нашему государю, тяжел был для него первый день его царствования». Выходя от архиерея, я зашел к ранней вечерне в его домовую церковь, и как это был сочельник, то слышал возношение имени еще Константина, царя казанского, астраханского и прочее, и провозглашение всего императорского титула его.

Тайна не могла долго укрываться; в тот же вечер многие стали подозревать ее. На другой день, 26 числа, сделал я несколько посещений, а возвратясь домой, нашел много бумаг, полученных с почты. Ни в одной особенной важности не было, исключая петербургских газет, в которых нашел я манифесты, читанные мною за два дня до того, и назначение множества генерал-ад'ютантов. В прибавлениях находилась подробная реляция о происшествии 14 декабря.

Слышно было, что число заговорщиков против правительства было гораздо значительнее числа возмутителей, схваченных в день мятежа; слышно было, что их отыскивают по губерниям и под стражей отправляют в Петербург. У нас пока еще ничего подобного не было.

И в самые лучшие годы моей жизни иногда без всякой причины находил на меня сплин, что в переводе у нас значит хандра. Свет становился мне не мил, и все казалось постылым. Такой недуг напал на меня в воскресный день, 10 генваря. Я не велел никого к себе пускать и, только что смерклось, при слабом мерцании одной свечки, лежал один с черными думами: вдруг письмо от Липранди. Он пишет, что, несколько дней будучи нездоров, сам не может явиться, и спрашивает, не слыхал ли я чего об ужасном происшествии, бывшем в окрестностях Белой Церкви? На этом самом письме написал я только сии слова: «ничего не ведаю» и отослал к нему назад. Раз уже веселые мысли мои разогнал он недоброю вестию; тут мрачные рассеял он, возбудив опасения насчет графа, который находился в Белой Церкви.

Не прошло часу, как возвестили мне полицеймейстера Радича и с ним присланного от графа чиновника. Отказать им в приеме я не мог, да и не захотелось бы после письма Липранди. Чиновник сей был девятнадцати или двадцатилетний юноша, Степан Васильевич Сафонов, только что в августе поступивший на службу в канцелярию графа, бывший при нем в Таганроге и в короткое время сделавшийся его первым любимцем (впоследствии времени был он первым его министром). Он подал мне две незначительные бумаги. «Неужели ничего более?» — спросил я. «Да», отвечал он; «я проездом в Кишиневе, имею секретное поручение далее и только переночую у Якова Николаевича» (Радича). Все это было так странно, что крайне меня удивило. На счет происшествия сказал он, что граф приехал в Белую Церковь после оного. Это было возмущение Черниговского пехотного полка под начальством бывшего семеновца, знакомого мне Сергея Муравьева. 2 генваря происходило небольшое, но настоящее сражение: Муравьев и брат его Матвей взяты в плен, третий брат (Ипполит) убит, а некоторые из офицеров разбежались неизвестно куда.

На другой день, 11-го числа, рано явились ко мне опять Радич с Сафоновым. Они совершили важный подвиг: арестовали Липранди, опечатали его бумаги, не велели никого к нему допускать, а мне предоставили отправление его в Петербург. «Так как все сделано мимо меня, сказал я, так как по сему делу не имею я ни строчки от наместника, то пусть

г. полицеймейстер возьмет на себя и сей последний труд. Мне, по крайней мере, позволено будет его видеть?» Радич отвечал: помилуйте, вам везде открыт вход. Мне хотелось освободить вчерашнее письмо, и я в том успел. Липранди нашел я чрезвычайно упадшего духом, и хотя он божился мне, я почитал его виновным. После с удовольствием узнал, что я ошибся. На другой день Радичем был он отправлен с полицейским офицером.

Какая мысль была у графа устранить меня от этого дела? Неужели подозревал он меня в каком-либо соучастии с подозреваемыми? Нет, этого не было; но он почитал меня большим приятелем Липранди и знал всю сербскую вражду Радича против него. Вообще, он не любил церемониться с губернаторами и часто без их ведома давал свои предписания исправникам и городничим. Иные обижались этим; в таком случае, что могло быть удобнее Катакази, и напрасно он удалил его. Везде сперва его произвол, а потом, пожалуй, и закон, лишь бы он был согласен с его видами.

Дней через пять после отсылки Липранди были новые арестации, новые отправления. Два бежавших офицера Черниговского полка находились в Кишиневе под чужими именами, и мы того не подозревали. Николаевский полицеймейстер, подполковник Павел Иванович Федоров, человек тонкий, всеведущий, неутомимый [1], не Радичу чета, тайно уведомил нас о том, прибавляя, что один из них, под новым именем, ожидает писем и денег из Кременчуга. Посредством мнимой повестки с почты, посредством этой ловушки не трудно было схватить обоих. Названий сих офицеров не помню, да и их самих не имел духу видеть. Один из них был ранен, а согласно предписаниям следовало их закованными отправить в Петербург. Сию жестокую операцию предоставил я Радичу [2].

---

[1] Он не ожидал тогда, что некогда будет управлять Новороссийским краем. *Авт.*

[2] В Кишиневе был арестован один из деятельных участников восстания Черниговского полка И. И. Сухинов-Емельянов; под своей второй фамилией он и скрывался в Кишиневе. Отсюда он пытался было скрыться за границу, но не мог на это решиться, представив себе «товарищей, обремененных цепями и брошенных в темницы». Сухинов был в Кишиневе один, без товарищей.

Как сладостно мне было увидеть спасительную бумагу об отпуске, дарующем мне свободу! Совершенная весна наступила уже несколько дней, когда 4 марта [1826] оставил я Кишинев.

Я сперва намеревался отправиться в Пензу; последние происшествия заставили меня переменить сие намерение. При начале нового царствования могут быть благоприятные случаи для выгодной перемены службы, подумал я между прочим.

В Житомире находились тогда квартира одного пехотного корпуса и корпусный начальник генерал-лейтенант Рот, Логин Осипович, с которым в Петербурге случалось мне встречаться, с которым даже был я знаком, но не коротко. Родом из Альзаса, он соединял в себе всю дореволюционную изысканную учтивость французов с немецкою жестокостью и педантством. Будучи другом порядка и поборником законной власти, он, древний дворянин, пошел простым рядовым в корпус принца Конде и, неоднократно сражаясь за короля своего, достигнул офицерского чина. Когда корпус сей распустили или, лучше сказать, когда он разошелся, Рот поступил офицером в русскую службу. Во время турецкой войны в 1809 году начал он выходить из неизвестности и быстро подвигаться в чинах. Отечественная наша война в 1812 и в последующих годах представила множество случаев отличиться; он отчаянно сражался и не раз был ранен, между прочим, в рот: фамильное имя его рану эту сделало известною всей России.

Судьба определила этому человеку быть деятельным врагом мятежников: войско под его начальством и под его распоряжением усмирило недавно бунт Черниговского полка, за это молодой император и наградил его Александровской лентой.

Мне никакого следа не было посетить генерала Рота, но любопытство взяло верх над чувством приличия. Проездом через город, где он начальствовал, счел я будто бы обязанностию явиться к нему, хотя это было после обеда, и я был во фраке. Довольствуясь и сим из'явлением глубокого уважения, он пригласил меня с ним побеседовать. Он сделался словоохотен, рассказлив, и насчет последних происшествий узнал я от него много любопытных подробностей. Между

прочим сказывал он мне, как Шервуд [1], получивший в награду название Верного, по ночам приезжал к нему из Махновки. Никому во второй армии, к которой он принадлежал, не решался Шервуд представить своих тайных изветов, а по соседству с одной из корпусных квартир первой армии решился доверить их Роту. От сего последнего донесения отправлены были в Таганрог и хотя застали императора в живых, но при последнем издыхании.

В Петербург после почти трехлетнего отсутствия я приехал 21 марта.

На другой день поспешил я посетить всех добрых знакомых моих; вестей, вестей о происходившем в последние четыре месяца наслушался я досыта. Сообщать же все слышанное мною тогда нахожу, что здесь еще не место.

В это время (не помню, в конце апреля или в начале мая) прибыл граф Воронцов для поклонения новому императору. Болезнь моя была причиной или, лучше сказать, послужила предлогом неявки моей к нему. С ним были только Левшин да новый любимец его Сафонов.

Левшин испросил мне дозволение, аки больному, явиться [к Воронцову] в сюртуке и с зонтиком на глазах. Итак, я предстал пред его графские светлые очи, подобно моим тогда, омраченные и зонтиком осененные. Сходство в болезненном положении растрогало меня; может быть, и его.

Он сознался, что, после всего происходившего со мною в Бессарабии, мне воротиться туда некстати. И вдруг не с другого слова предложил мне новое место керчь-еникальского градоначальника. Я в изумлении молчал. Он представил мне всю блестящую сторону сего нового назначения, власть почти независимую и почти неограниченную, большое содержание, начальство над флотилией и казаками, составляющими таможенную и карантинную стражи, широкое поле для созидательной моей деятельности, имя в истории и наконец, может быть, статую после смерти. В другое время у меня загорелось бы в голове, а тут я оставался довольно равнодушен. Я не смел ни отказаться от предлагаемого мне места, ни принять его и выпросил себе неделю на размышление.

---

[1] Провокатор в деле южных заговорщиков.

Он спешил тогда в Одессу, ибо в Аккермане назначен был конгресс, на который ожидали турецких полномочных: с ними должен был он стараться устранять все недоразумения, все неудовольствия наши с Портой. Дня за два до его от'езда опять явился я к нему с из'явлением согласия; он обнял меня и, уезжая, отправил к государю все представления свои.

В день рождения нового императора, 25 июня, ровно через два года после восстания на меня в Кишиневе, подписан указ, который разлучал меня с ним.

Это время для меня столь горестное, по расположению души моей даже убийственное, было, однако же, обильно всем тем, что могло меня утешить и даже порадовать. Все действия императора Николая были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова правосудие и порядок заменили сакраментальное дотоле слово свобода. Строгость его никто не смел да и не хотел назвать жестокостию: ибо она обеспечивала как личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны веселые и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря.

По указанию расслабленного и встревоженного Карамзина, в самый день мятежа не имевшего сил владеть пером, государь в тот же вечер призвал к себе друга его Блудова. Он поручил ему изобразить со всею точностью происшествие, от которого столица находилась в ужасе, и сделать сие поспешно тут же, не выходя из его кабинета. На другой день сие известие, припечатанное в газетах, должно было разойтись по всей России. По внезапности поручения, не знаю, кто бы в таком случае не потерялся? Блудову посчастливилось. Он представил истину с такою ясностию, с такою откровенностию, к которой мы в России тогда не привыкли; всегда раскрашенная в официальных актах, она невольно порождала сомнения, а тут, напротив, должна была поселить совершенную доверчивость к словам нового правительства. Государь был совершенно доволен и с этой ночи

человека, мало ему дотоле известного, оставил при своей особе.

После того для рассмотрения действий мятежников учреждена была в крепости, в которой они находились, следственная комиссия под председательством великого князя Михаила Павловича. Государю угодно было назначить в нее Блудова производителем дел, что поставило бы его в необходимость каждый день находиться при допросах обвиненных, из коих некоторые были ему весьма знакомы. Для души его это было бы слишком тягостно, и он умолил царя уволить его от сей обязанности. Зато каждый день лично вручаемы ему были государем протоколы заседаний комиссии, и в одной из соседственных от кабинета царского комнат занимался он составлением из того общего дела. Часть зимы и всю весну провел он в сих занятиях и довершил труд свой известным «Донесением следственной комиссии» за подписанием председателя и всех членов ее и за его скрепою, которое тогда же было напечатано особой книжкой для всеобщего сведения.

Из документов, находившихся у него в руках, он мог усмотреть, что, исключая Пестеля, Рылеева и некоторых других, настоящих революционеров, понимающих цель, к которой идут, все заговорщики, по большой части военные, были молодые люди, увлеченные примером обычая и распространившейся моды и почитающие свободомыслие лучшим выражением ума и познаний, коих не было в них. Заметно было, что зачинщики более всего старались действовать на неопытных и на недальновидных. Как же было не пожалеть о сих несчастных. Излагая их суждения, Блудов умел умалить их значительность и тем самым вероятно надеялся смягчить над ними приговор суда. Иногда действия их были так смешны, что в описании их проглядывала у него невольная ирония. И были люди, которые это ставили ему в вину! Как можно ругаться над жертвами, готовыми пасть под ударами закона? Их следовало бы венчать цветами, представить хотя злодеями, но великими людьми смелых проказников, которым хотелось только шума и тревоги и не помышлявших о последствиях, возбудить не сострадание к ним, а энтузиазм к их дерзким подвигам. Кажется, это не совсем было бы согласно с видами правительства. Впро-

чем он сказал одну только правду, и все присутствовавшие в комиссии подтвердили ее своим подписом.

Затем учрежден Верховный уголовный суд, составленный из всех членов государственного совета, синода и сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился Сперанский, в числе подсудимых задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым познакомился он в Сибири (от управления коей он давно был уволен) и которого удалось ему перевести в Петербург. Тесные связи его с ним ни для кого не были тайной, и в следственной комиссии все ожидали, что из уст Батенкова выйдет, наконец, имя его. Иногда действительно оно как бы скользило по ним; но сей скромный и твердый человек, говорят, чрезвычайно умный и ученый, весь преданный ему, до конца не выдал друга. Казалось, что сих подозрений было бы достаточно, чтобы удалить его по крайней мере от службы[1]; напротив, сей хитрец, разгаданный и отвергнутый покойным Александром, нашел средство войти в милость к новому государю. Представив ему, что в России недостаток в законах, он возбудил в нем весьма похвальную жажду к славе законодателя; по словам его, имя Николая в России должно было стать выше имен Ярослава и царя Алексея Михайловича, а вообще в потомстве наравне с именами Юстиниана, Феодосия и Наполеона. Принимая на себя огромный труд составления свода существующих узаконений и издания потом нового уложения, он уверил царя, что сей труд не может быть довольно успешно совершен без личного участия и надзора его величества. И потому комиссия составления законов обращена в II отделение императорской канцелярии, а он назначен оного главноуправляющим. Таким образом открыл он себе свободный доступ в кабинет царской, каждую неделю имел

---

[1] Николай нашел лучший способ наказать Сперанского за его несомненное для царя-следователя сочувствие либерализму. Он велел Сперанскому составить роспись заговорщиков и определить степень виновности и наказания каждого. Сперанский в этом деле проявил усердие, удовлетворившее Николая и успокоившее царя насчет его революционности: не доверяя Сперанскому безоглядно, Николай счел после этого возможным вернуть его к государственной деятельности.

доклад, сохранил доверенность Николая до самого конца жизни своей, но не приобрел того влияния, которое надеялся иметь вообще на дела в целом государстве.

По высочайшей воле, Блудов отряжен был в Верховный уголовный суд для доставления, в случае нужды, потребных об'яснений по делу о подсудимых. Тут встретился он и хорошо познакомился со Сперанским; но кажется, что взаимной симпатии сии господа не восчувствовали. За все труды Блудов был награжден аннинской лентой и званием статс-секретаря, что как будто поставило его на путь, ведущий к занятию министерского места.

В первых числах июля, не помню именно, в какой день (ибо мой ум находился тогда в таком же расстройстве, как и тело), над виновными совершен приговор суда [13 июля]. Полтораста осужденных выведены на гласис перед крепостию, им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Все это происходило вскоре по восхождении солнца и в отдаленной части города, следственно зрителей не могло быть много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Более шестидесяти лет после Мировича не видели они торговой, смертной казни.

В тоскливом уединении моем я мало ведал о том, что происходило в городе. Несколько доброжелателей с намерением развеселить меня, сколько-нибудь рассеять грусть мою, назвались ко мне обедать и условились насчет дня. Я поручил кому-то заказать обед в трактире и накупить вина. Надобно же было случиться, чтобы это было в самый печальный день казни. Тут был Левшин, который приехал об'явить мне, что указ 25 июня, о назначении меня градоначальником, из сената только что получен им в канцелярии отсутствующего уже графа Воронцова, и меня с тем поздравить. Доктор Груби сообщил мне известие о наградах, полученных Блудовым. Первое принял я почти с огорчением, последнее довольно равнодушно: печальное все принимал я к сердцу, все радостное скользило по нем. Между прочим находился у меня один знакомый мне лейб-гренадерский офицер Пересекин, который со взводом гренадер в это утро был свидетелем происходившего перед крепостию; с при-

скорбием и большими подробностями описывал он сцены, раздирающие душу. И вместо веселия гости мои умножили мою грусть.

Возвратившийся из-за границы Кочубей нашел с удовольствием прежнего подчиненного своего Блудова; деятельно-употребленным мнением своим он еще более утвердил государя в высоком мнении, которое возымел он об нем. Дашков, управляющий дотоле в Петербурге делами константинопольской миссии, мало-по-малу стал переходить на другое поприще и также был предназначаем для высших занятий. Жуковский по учебной части был наставником наследника престола и почти домашним посреди императорской фамилии. Полетика, оставивший должность посланника и возвратившийся из Америки в предыдущем году, сделан был сенатором. Будучи великим князем, Николай Павлович встретил его за границей, полюбил его оригинальный и смелый ум, продолжал быть с ним милостивым, и все были уверены, что он будет очень силен у двора. Все друзья, арзамасцы! Касательно успехов по службе, не тот, так другой, каждый готов был протянуть мне руку помощи. И кто бы поверил? В это время никак не входило мне это в голову.

Особая канцелярия по секретной части со времен Балашова существовала сперва при министерстве полиции, а по уничтожении его при министерстве внутренних дел. Действия ее были незаметны, особенно после взятия Парижа. Все говорили смело, даже нескромно, всякий, что хотел: время самое удобное для распространения вольнодумства. С 1820 года начали показываться некоторые строгие меры, но и они были только вследствие явно-дерзких поступков. Похвалы свободе продолжались только по принятому обычаю; но горсть недовольных, замышляющих ниспровергнуть образ правления, сделалась скромнее и от мечтаний перешла к сокровенным действиям. Во всяком другом народе сие могло бы иметь самые зловредные последствия и приготовить всеобщие возмущения, но у русских священная власть царская всегда была главным догматом их веры. И как легко было бы тогда правительству, дознавшись до истины, более виновных удалить от службы; для обуздания же их, по их малочисленности, достаточно было бы одних угроз и строгого присмотра, а совсем не наказаний. Но секретною

частию, как сказал я, управлял фон-Фок, который не имел с ними никаких связей, а питал к ним братскую нежность. Происшествие 14 декабря и его последствия явно обнаружили, как невелико число было людей опасных для государственного спокойствия; что̀ значили сотни беспокойных и ничтожных умов в сравнении с десятками миллионов жителей? К тому же виновные все отправлены были в ссылку, а ужас казни должен был устрашить готовых подражать им. Кажется, после того можно было бы, хотя на некоторое время, остаться спокойным; но не так думал г. фон-Фок. Он часто был призываем в следственную комиссию и там познакомился и сблизился с одним из членов ее, также немцем, генерал-ад'ютантом Бенкендорфом, чрез которого надеялся он успеть в одном важном предприятии. Первый раз еще генерал сей является в моих Записках, и потому да позволено мне будет вкратце изобразить его.

Описывая странствование мое по Сибири, говорил уже я о меньшом брате его Константине Христофоровиче, отлично благородном и любезном человеке, которого с тех пор потерял я из виду; ибо после того служил он в разных посольствах, а в 1812 году поступил в военную службу, сражался в боях и жил вне Петербурга. Оба брата, Александр и Константин, в малолетстве лишившись матери, которая была другом императрицы Марии Федоровны, возросли под ее покровительством и были воспитаны в пансионе аббата Николя. Кажется, где-то сказал я, в чем состояло это воспитание: светское образование было единственною целию его, а о высших науках там никто не помышлял. Для дальнейшего усовершенствования молоденького флигель-ад'ютанта Александра Бенкендорфа посредством путешествий, под разными предлогами и с разными ничтожными поручениями, сперва беспрестанно рассылали его по всем концам России, потом в чужие государства, также в Турцию и на Ионические острова. Нигде почти долго не останавливаясь, проскакал он великие пространства с невежественностию тогдашнего воспитания, с ветренностию юноши и с рассеянностию наследственною в семействе Бенкендорфов. Так прошли первые годы самой первой молодости его, как вдруг начались наполеоновские войны, и десять лет сряду Россия не могла вложить в ножны меча своего. В сих вой-

нах он везде участвовал, был отменно храбр и счастлив и так же, как Милорадович, нигде не был даже оцарапан. Он быстро поднялся в чинах; но император Александр, который так хорошо умел распознавать людей, хотя в угождение матери своей и сделал его своим генерал-ад'ютантом, но при себе никогда не хотел употреблять, и он, почти забытый, безвестный, в мирные годы командовал в Харькове кавалерийской дивизией. Там он, говорят, ничего не читал, совершенно презирал гражданскую службу и ее дела, а занятиями военной беспрестанно жертвовал своим забавам и любовным интригам.

Кто бы мог подумать тогда, что скоро участь многих, премногих умных и честных людей будет зависеть совершенно от этого пустоголового создания. Новый царь, конечно, не обманулся насчет его беспредельной к нему преданности: за него дал бы он себя изрубить в куски; но не нужно ли было взять в соображение и способности человека? Для занятия важной государственной должности никто менее его их не имел. То и надобно было фон-Фоку. Он видел старость, бессилие и приближающееся падение начальника своего Ланского и задумал часть свою поставить гораздо выше, на более прочном и обширном основании. Вероятно он представил Бенкендорфу, как выгодно будет ему в руках своих иметь большую власть без больших забот и без всякой ответственности и в то же время чрез то находиться в ежедневных и беспрерывных сношениях с государем. Он предложил ему министерство полиции, но уже в новом виде и под другим именем, и составил оному проект. Как ведено было это дело, был ли кто призван на совет? Вот что̀, кажется, никому не было известно, ибо вскоре после коронации сие новое учреждение было для всех неожиданною новостию.

Особая канцелярия по секретной части переименована в III отделение собственной его величества канцелярии; фон-Фок остался оного управляющим, а Бенкендорф назначен главноуправляющим. Но главное состоит в том, что он назначен вместе и шефом корпуса жандармов, которому поручен был надзор за порядком в целом государстве. Этот корпус составлен был из нескольких округов; к каждому из них принадлежало несколько губерний. Окружными на-

чальниками назначаемы были генералы, а в губернии определяемы были один штаб и несколько обер-офицеров, и весь этот обсервационный корпус сформирован был к концу года, как ни трудно было с начала склонить несколько порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех других военных своим цветом отличный как бы одеждою доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались его надевать.

Учреждение сего нового рода полиции, кажется, имело двоякую цель. Жандармы обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства и если где станут проявлять смелые политические, вольнолюбивые идеи, препятствовать их распространению. Это было немного трудно: ибо число зараженных либерализмом и непричастных к делу 14 декабря было не велико, и они более чем когда притаились и с великою осторожностию сообщали свои мнения. Потом всякий штаб-офицер сего корпуса должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чинов, на жестокое обращение помещиков и доносить о том своему начальству. Намерение, конечно, казалось наилучшим. но к исполнению его где было сыскать людей добросовестных, беспристрастных, сведущих и прозорливых? Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров, которые должны были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли все исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных?

Даровать таким людям полную доверенность значило лишать ее все местные власти, высшие и низшие. Многим из штаб-офицеров, поступивших в жандармскую команду, было любо жить в губернии, совершенно независимыми, без всякого постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества, принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения были ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не подлежали никакой за то ответствен-

ности. И где было искать защиты против них губернским начальствам, а кольми паче частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым образом поставлен был надсмотрщиком над другими министрами? Вся спокойная провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить, какая... да пропустят мне сие слово... какая деморализация должна была от того произойти!

В сентябре сия черная туча поднялась над Россией и на многие годы возлегла на ее горизонте. Конечно, время ослабило ее действия и ужас, но она не дала вполне насладиться счастием, которым бы без нее мы пользовались в первые года царствования справедливейшего из государей. Ее появление опечалило даже окружавших его приверженцев, и я под присягой могу сказать, что не встречал ни единого человека, который бы учреждение сие одобрил, который бы говорил об нем без крайнего неудовольствия.

Один только человек был совершенно доволен: разумеется, г. Фон-Фок. Он хотел, чтобы просвещенный по мнению его образ мыслей не совсем погиб в России и людей имеющих его намерен был защищать от преследований. Вообще же, надобно отдать ему сию справедливость, он совсем не был зол и, повторяю, ничьей не искал погибели. Безграмотный его начальник почти всегда не читая подписывал бумаги и таким образом иногда слепо и неумышленно губил людей, и потому фон-Фоку было весьма удобно большую часть ложных доносов, не доводя до его сведения, бросать в камин, тем более что беспрестанно увеличивающееся число их было не в соразмерности с числом трудящихся в канцелярии. Бенкендорф тогда только ускользал из рук его, когда находился под каким-нибудь посторонним, сильным влиянием.

Что сказать мне еще о сем последнем? Все познали, что воскрес Милорадович, но только на том свете в короткое время выучившийся хорошо говорить по-французски, а, впрочем, все то же фанфаронство, все то же пустословие.

Когда дошли до меня вести о жандармерии, не понимаю, отчего я не обратил на то особого внимания. Но вскоре я приведен был ею в ужас; первые ее удары должны были пасть на мое семейство. Это требует подробного рассказа.

Не раз приходилось мне говорить о старшем сыне сестры моей Алексеевой, Александре Ильиче, которого оставил я в Ельце ад'ютантом при пьяном генерале графе Палене. Из особой милости к отцу покойный государь перевел потом обоих сыновей его в гвардию: старшего в конно-егерский полк, а меньшего в новый Семеновский. Хотя гвардейский конно-егерский полк стоял в Новгороде, однако служивший в нем уже штабс-капитаном Алексеев под разными предлогами жил почти безвыездно в Петербурге. Чтò он в нем делал? Почти одни шалости. Он любил поплясать, погулять, поиграть, но отнюдь не был буяном; напротив, какая-то врожденная ластительность (calinerie) всегда в отношении к нему склоняла родителей и начальство к снисходительности, может быть, излишней.

Я сам был обезоружен его ласковым и услужливым характером, как вдруг в начале октября я узнаю, что он схвачен и под караулом отправлен в Москву. Вот чтò случилось. Кто-то еще в марте дал ему какие-то стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря [1]; у него взял их молоденькой гвардейский конно-пионерный офицер Молчанов, взял и не отдавал, а тот об них совсем позабыл. Так почти всегда водилось между армейскими офицерами: немногие знали, чтò такое литература; возьмут, прочитают стишки, выдаваемые за лихие, отдадут другому, другой третьему и так далее. То же самое и с книгами: тот, который имел неосторожность дать их и кому они принадлежат, никогда их не увидит.

Между тем лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи. Бедняжку, который и забыл об них, схватили, засадили, допросили, от кого он их получил? Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссыльным во псковской деревне, отправили гонцев.

---

[1] Известное стихотворение Пушкина «Андрей Шенье», написанное до событий 14 декабря 1825 года, но, как сам Пушкин писал Вяземскому, во многих отношениях пророческое; правительство всполошилось вследствие того, что в стихотворении видно было сочувствие революционным идеям.

Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил, кем они писаны? Тот не обинуясь сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием Андрей Шенье. В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем, одинакового содержания, неизвестно почему цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труда прочитать стихи; без того при малейшем внимании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто они были написаны. Пушкин умел ему это об'яснить, и его умная, откровенная, почтительно смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить где он хочет и печатать что̀ он хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу, и до конца жизни своей остался он под личным покровительством царя [1].

Иная участь ожидала бедных офицеров. По крайней мере Молчанову во мзду его признания дозволено было оставить службу. Но Алексеев, который не хотел или, лучше сказать, не мог назвать того, кто дал ему стихи, по привезении в Москву, где нет крепости, посажен был в острог, в сырую, только что отделанную комнату, в которой скоро расстроилось его здоровье, и он едва не потерял зрение.

И для родителей его в то же время были ужасные сцены. Отец мало выезжал и редко читал письма от сыновей, а мать всемерно старалась скрыть от него постигнувшее их несчастие, предупреждая посетителей, чтобы они ничего ему о том не говорили. Вдруг вбегает без доклада какой-то ад'ютант и, не поклонясь даже генералу, начинает сими словами:

---

[1] Вигель прав: в связи с этой историей кончилась мучительная михайловская ссылка Пушкина, но он не отмечает, как тяжело, как печально отразилось на творчестве поэта и на его личной жизни «покровительство» царя-жандарма.

«Ваш сын преступник, злоумышленник против государя». Как громовой удар были эти слова для престарелого воина, можно сказать, закаленного в верноподданнической преданности к престолу. Как, что? и пошатнулся. Ад'ютант продолжает: «Извольте же сейчас отправиться со мною к генералу Бенкендорфу, там увидите вы сына вашего и, может быть, склоните его сказать, наконец, правду». Послушен страшному ад'ютантскому призванию, он приказал заложить карету. «Нет, сказал тот, генералу некогда вас долго дожидаться; извольте со мною ехать на моих парных дрожках: они вас довезут назад». Все это в присутствии изумленной, отчаянной сестры моей. Вероятно, следуя в подобных случаях примеру начальника своего, нового генерал-инквизитора, вот как поступал офицер с человеком, которого имя известно было всей армии и который не раз командовал корпусом. Совсем растерянный Алексеев машинально повиновался. Бенкендорфа он уже не застал, а в присутствии дежурного генерала Потапова грозил сыну проклятием, если не об'явит истины, а тот клялся богом со всеми святыми, что решительно не помнит, от кого получил несчастные стихи. Как легко можно было видеть, что тут не было ни упрямства, а еще менее благородной твердости в испуганном, ветреном молодом человеке. Истерзанный отец воротился домой и в тот же день почувствовал первый легкий удар паралича.

Нет любви сильнее материнской, а где любовь, тут нет рассудка: конечно, его было мало в предприятии моей бедной сестры. Она решилась пасть к ногам императора и просить о помиловании сына, об'яснив по возможности его безвинность. В Москве этого никак сделать было нельзя. Узнав, что в назначенный день государь с императрицей намерен посетить воскресенский монастырь, новый Иерусалим именуемый, в 45 верстах от Москвы, она, собравшись с силами, отправилась туда в сопровождении одного доброго друга нашего семейства: одной ей было бы слишком страшно. При выходе из келий архимандрита, в сенях дожидалась она царскую чету. Она сделала шаг вперед, но онемела, не могла вымолвить слова и только что указала на грудь, где находилась просительная бумага. «Что ва́м надобно? Как вы смели?» — сказал ей прогневанный государь. Более не могла

она расслышать, ибо действительно пала к ногам его, только без чувств. Говорят, будто вид отчаянного безумия на лице ее встревожил, испугал чувствительную императрицу вместо того, чтобы возбудить в ней сострадание. Она очнулась в какой-то кухне, куда была отнесена; присланный доктор приводил ее в чувство и старался успокоить, уверяя, что ее бумага, взятая во время ее беспамятства, находится в руках государя. Она могла опасаться, что ее посадят под караул, а такая снисходительность подала ей хотя слабую надежду.

Все было тщетно. Бенкендорф не хотел выпускать из рук своей жертвы; как было ему сознаться, что первое действие его было промахом? Он представил обвиняемого великим шалуном, что̀ было и правда; но он по самом себе мог знать большую разницу между либералом и libertin [вольнодумец, распутный]. Меньшой Николай Алексеев попросил его о дозволении повидаться с заключенным братом и за то, яко подозрению подлежащий, из Семеновского полка тем же чином переведен был в армейский, находившийся в Рязани. Тут уже видно явное гонение. И так злополучие, во образе безжалостного глупца, вдруг налегло на все семейство, дотоле спокойное и любимое в Москве.

Чем же все это кончилось? Обвиняемый был отправлен к полку в Новгород, где велено содержать его под строжайшим караулом, пока не допытаются от него истины. По снисходительности начальства, могли его посещать однополчане. Кто-то из них назвал при нем одного Леопольдова. Глаза у него засверкали: как! что! точно так! воскликнул он: так называется человек, который дал мне стихи. Этот Леопольдов, довольно еще молодой, из духовного звания, был учителем в одном из приходских училищ Петербурга и в то же время преподавал русский язык и закон божий в частных домах, между прочим молодому Молчанову. После того был вхож в дом его родителей, где мельком видел его Алексеев. Не знаю, с чего он предложил ему стихи Пушкина; тот полюбопытствовал их видеть, и он ему доставил их. Потом Молчанов пожелал их иметь, а как у Леопольдова не было другого списка, то он сказал ему, что может получить от Алексеева, который в последствии признавался мне, что их даже не читал. Шесть месяцев спустя, не знаю ка-

ким образом, Леопольдов находился в Москве, и он-то был тайным доносчиком на юношу, которого семейство ему благодетельствовало.

Казалось, этим об'яснялось все дело; не могло оставаться ни тени подозрения на счет дурного умысла Алексеева; но, видно, по законам г. Бенкендорфа для обвиненных не было оправдания, а следовало неизбежно наказание. Несчастного молодого человека нельзя же было сослать в Сибирь. Из гвардейского тем же чином перевели его в армейский конно-егерский полк, с лишением права на производство и с воспрещением не только подавать в отставку, но даже проситься во временный отпуск. Года через два вымолили ему увольнение от службы. А Леопольдов? И его недели на две посадили под караул за неосновательный донос, а потом месяца через три был он помещен в тайную полицию. Это было началом ужасных нелепостей бенкендорфовских, которые, быть может, еще встретятся под пером моим, как ни избегать я буду говорить о них [1].

Мне бывало довольно весело на холостых вечерах у почт-директора Константина Булгакова, который весьма ласково пригласил меня на них. Обыкновенно не покидал я одной гостиной, где восседала супруга его Марья Константиновна, женщина чрезвычайно веселая, даже чересчур, с которой хорошо познакомился я в Кишиневе, когда она приезжала навестить в нем родителя своего Варлама. Эта комната была для меня единственным убежищем от табаку, которым все другие были накурены. Мне приходило в голову: что̀ если бы привести в этот дом незнакомого человека с завязанными глазами и посадить его в билльярдной? Он задыхался бы от табачного дыма, услышал бы стук ногой иного нетерпеливого игрока, который после неудачной билли произносил бы слова саперлот и сапристи; услышал бы громкий хохот неизвестной ему женщины. Если бы спросить у него, как он думает, где он находится? Он верно отвечал бы: в самом простом немецком трактире, и слышу голос содержательницы его. Когда спала бы с него завязка,

---

[1] В изложении всей этой истории много неверного, диктуемого семейной заинтересованностью Вигеля в деле Алексеева и его обычным пристрастием в таких случаях.

как удивился бы он, увидя графа Литту, князя П. М. Волконского и других знатных людей, посетителей сей аристократической таверны. Приметным образом менялись нравы; начинали отбрасывать узы пристойности и приличия.

Я должен упомянуть здесь еще об одном возобновленном в это время знакомстве и вывести на сцену одного человека, и прежде того уже сделавшегося известным. У найденного мною в Аккермане цынутного [уездного] комиссара Буткова, не весьма молодого, хворого, холостого, честного, хотя и богатого, был старший брат, Петр Григорьевич, человек умный, проворный, сведущий, не совсем добродетельный [1]. Некогда был он правителем канцелярии при начальствовавшем в Грузии генерале Кнорринге, а впоследствии находился по аудиторской части в Молдавской армии. Тут составил он тесную связь с ад'ютантом главнокомандующего графа Каменского, Закревским. Сей последний был уже финляндским генерал-губернатором, а Бутков правой его рукой по управлению сим великим княжеством; оба жили однако же в Петербурге. От младшего Буткова имел я письмо к старшему, отцу довольно большого семейства, что умножало его братскую нежность к хворому холостяку. Я не мог довольно нахвалиться его приемом, и когда мне стало лучше и я посещал его, сказал он мне, что генерал Закревский очень желает меня видеть, и мы вместе к нему отправились. Все вышесказанное вело к изображению сего лица и к краткой о нем биографии.

Сын самого бедного дворянина Тверской губернии, Закревский воспитан был в кадетском корпусе и выпущен из него прапорщиком в Архангелогородский пехотный полк. Какая участь могла ожидать офицерика малограмотного, без всяких военных познаний и, как уверяют свидетели, неодаренного даже отважным, воинственным духом? Пробыв годов десятка полтора в армии, оканчивал бы он свое поприще где-нибудь исправником, многое что городничим. Но есть нечто непонятное в мире, всемогущее, слепое счастие,

---

[1] П. Г. Бутков (отец известного участника судебной реформы при Александре II), 1775—1857, писатель по русской истории, академик, сенатор.

наперекор рассудку, всем вероятностям, неотвязчивое от одних, для других всегда недоступное. Шефом того полка, куда попал сей юноша, был граф Каменский, немного постарее его. Он имел страсть к игре, а счастие тогда уже начинало ласкать неопытную молодость Закревского: от нужды принялся он за карты и почти всегда оставался в выигрыше. Узнав о том, Каменский обратил внимание на едва замеченного им дотоле офицера, заставил его вместо себя метать банк, приблизил к себе и, наконец взял к себе ад'ютантом.

Для успехов у Закревского было нечто гораздо лучше высокого ума: в нем были осторожность, сметливость и какая-то искусная вкрадчивость, недопускающая подозрения в подлости. Для Каменского он сделался необходимостию; однако к чему бы повела его милость одного из младших генералов русской армии? Но загорелась война неугасимая, и молодому герою, начальнику его, открылся широкий путь к блестящим успехам; и тот, который в конце 1805 года командовал полком или бригадой, в начале 1810 предводительствовал армией против турок. Среди сражений находился ли при нем любимый ад'ютант его, разделял ли его опасность? Это не совсем известно; по крайней мере вслед за ним быстро подвигался он в чинах и за отличие получал военные награды. Впрочем, для военных подвигов много молодых людей окружало Каменского, а этот был более комнатный, домашний ад'ютант и занимался преимущественно его собственными, хозяйственными делами.

Я имел случай познакомиться с ним в 1809 году, по окончании шведской войны, когда зять мой, раненый генерал Алексеев, приехал в Петербург. Его посещал Каменский, иногда ад'ютанты его. Закревский был тогда капитаном и в крестах. Главным достоинством показалась мне в нем скромность его [1]: он лишнего слова даром не выпускал; в речах его с малознакомыми была учтивость и пристойность. Оттого-то мне казалось больно, что Каменский иногда понукает им как слугой; может быть, у армейских генералов

[1] У французов для названия скромности есть два слова, modestie [скромность, стыдливость] и disecrétion [скромность, осторожность, сдержанность], коих значение различно. Закревский был disecret. Авт.

такое обращение с любимыми ад'ютантами было общепринятым обычаем.

Во время турецкой кампании играл он потом довольно важную роль правителя военной канцелярии главнокомандующего. Тут имел он возможность сблизиться с двумя возникающими знаменитостями, Ермоловым и Воронцовым. Блудов был тут главным лицом по части правительственной и дипломатической; отношения его к Каменскому были совсем иные, родственные, почти братские, чему Закревский завидовал, и оттого-то между сими господами, кажется, никакой симпатии никогда не было.

В начале следующего года Каменский скончался в Одессе на руках неотлучного своего Закревского и завещал ему триста душ. При составлении духовной, видно, не были соблюдены все формальности; ибо старший брат Каменского, граф Сергей Михайлович, который, впрочем, много обязан был меньшому брату, опрсвергнул ее и не захотел исполнить его последней воли. Счастие и тут послужило Закревскому. Этот Сергей Михайлович был вообще презираем; неделикатность его поступка всех паче вооружила против него, а Закревского сделала интересным. Цари в окружающих любят находить беспредельную преданность и высоко ценят ее, когда она оказывается и начальству. Сам государь велел военному министру Барклаю, в утешение Закревского, взять его к себе и, кажется, с чином подполковника перевести в гвардию. Нет сомнения, что без того, получив имение, он оставил бы службу и покойно зажил бы помещиком; но судьба влекла его выше. Существование его в Петербурге было впрочем незавидное; я встречал его нередко в доме тетки Каменских, вдовы сенатора Поликарпа. Он был беден, промышлял кое-как картишками; как говорили, гордиться ему было нечем, и он ни с кем не менялся в обращении.

Перед самым открытием отечественной войны 1812 года, великий делец при Барклае полковник Воейков, по подозрению в связях со Сперанским, был удален. Никто на его место не был подготовлен; на первый случай Барклай приблизил к себе Закревского и взял его с собою в армию. После Бородинского сражения великие неудовольствия, возникшие между Кутузовым и Барклаем, заставили сего последнего

удалиться. Все находившиеся при нем захотели продолжать принимать участие в военных действиях; один только Закревский, может быть, оглушенный громом сей ужасной битвы, пожелал сопровождать начальника своего в Петербург. И это послужило к его пользе. Государь, который особенно любил Барклая, увидел в этом новый опыт верности и преданности начальству. Последующие годы находился он неотлучно при Барклае и главной квартире; а в 1815 увидели мы его генерал-ад'ютантом, в ленте и покровительственно всем кланяющегося. Между тем предался он всепредалнейшему князю П. М. Волконскому, который доставил ему место дежурного генерала главного штаба, т. е. директора инспекторского департамента. Лучше ничего нельзя было для него придумать. Ничего кроме именных и формулярных списков тут не было; дело не головоломное: нужна была только великая точность, а в этом у Закревского не было недостатка. Когда в начале 1818 года двор находился в Москве, его вельможеские замашки внушали к нему почтение москвитян, и оттого легко было его сосватать на молодой, богатой наследнице, единственной дочери графа Федора Андреевича Толстого. Всегда верный закону преданности, он оставил место свое, коль скоро и последний патрон его Волконский, одержимый тяжкими недугами, в 1823 году принужден был расстаться с должностью начальника главного штаба и уехать за границу. Он верно знал, что сие новое пожертвование не останется без возмездия. Меня не было в Петербурге, когда его сделали финляндским генерал-губернатором. Каким образом это случилось, я вовсе не понимаю: жители Финляндии не знали и не знают поныне русского языка, а он не знал ни одного иностранного или, лучше сказать, ничего не знал. Но впрочем страна сия управлялась особыми законами. Генерал-губернатор, как конституционный король, мог входить в дела только поверхностно. К тому же Закревский, в виде подручника и наперсника, призвал к себе на помощь грамотея Буткова.

По должности дежурного генерала хорошо ознакомился он с молодыми великими князьями Николаем и Михаилом, бывшими сперва бригадными, потом дивизионными начальниками в гвардии. По воцарении первого мог он питать честолюбивейшие надежды. Предложив мне посетить его,

Бутков, вероятно, имел намерение одолжить меня, и я за то благодарен ему; но сам я никак не ожидал величия, которое предстоит Закревскому. Один со мною в кабинете разговаривал он, можно сказать, приязненно, жалел о том, что я должен отправиться в отдаленное место, жалел и о том, что в Финляндии нельзя ландсгевдингами (губернаторами) никого определять из русских: без того мне первому предложил бы такое место. Потом прибавил он с улыбкою: «Теперь я ничто; но кто знает, утро вечера мудренее, может быть и я на что-нибудь могу пригодиться, тогда смело обращайтесь ко мне, я рад буду, что могу, для вас сделать». За столь доброе намерение как было его не возблагодарить? Только, подумал я про себя, мудрено, чтоб этот человек мог подняться еще выше и чтобы я мог воспользоваться его благотворными обещаниями, которых не требовал. Я оттого так распространился о Закревском, что и он впоследствии имел некоторое влияние на судьбу мою [1].

В продолжение истекших лета и даже осени куда мне было заниматься тем, что происходило и при дворе, и в обществе, и в политическом, и в словесном мире? Всему оставался я чуждым. Тем более возбуждено было мое любопытство, когда опять начали приходить ко мне силы. По случаю траура почти целый год театры были закрыты. А между тем для драматического искусства наступила счастливая эпоха: оно было особенно покровительствуемо новым государем, который любил зрелища. По раздраженному состоянию, в котором еще находились мои веки, не дозволено мне было употреблять лорнета; по близорукости же моей не мог я, без его помощи, ясно различать предметы на сцене, а слушать только что говорится. Оттого, несмотря на сильное желание, не спешил я посетить театр. Один раз, и всего только один раз, не мог я одолеть сего желания. Давали французскую комедию в пяти действиях «L'école des vieillards» (Школа стариков), сочинение Казимира Делавиня, и в ней главную роль играл нововыписанный, весьма

---

[1] Закревский сделал большую бюрократическую карьеру. При Александре II, после амнистии декабристов, он прославился гонением на возвращенных заговорщиков 1825 года, среди которых были друзья его молодости; их либеральные идеи молодой Закревский разделял на словах.

хороший актер Жениес. Мне показалось, что она отзывается революционным духом; в ней были изображены гнусные поступки одного знатного человека Дюка, а выражения всех благородных чувств вложены в уста людей среднего состояния, которые покрывают стыдом и срамом, преследуют убийственными поношениями порочного и терпеливого Дюка. В своей Бессарабии, а потом в Крыму я ничего не читал, кроме делового и оттого никак не подозревал, что с некоторого времени, благодаря свободе книгопечатания, все французские романы и драмы наперерыв старались снабжать всеми добродетелями простонародие и унижать, топтать в грязь высшие сословия. Почти вся заграничная литература взяла это направление, и немного лет спустя обнаружились пагубные ее последствия [1]. В этой главе не место еще говорить как о ней, так и о нашей словесности в особенности.

Все ожидали великих перемен в министерстве, даже целого возобновления. Оно совершилось медленно. Правда, в этом же году вновь учреждены два министерства: полиция или корпус жандармов, о котором уже я говорил, и другое министерство императорского двора, в вознаграждение примерной, испытанной верности князя П. М. Волконского. Все придворные части, гоф-интендантская, конюшенная, театральная и другие, не переменяя названий, поступили в ведомство его в виде департаментов. Высшие придворные чины также как бы обратились в придворных директоров, что кажется не возвысило их звания. Из прежних министров старики сохраняли свои места и не показывали намерения оставить их; дабы склонить их к тому, придумано было средство и кажется, что граф Кочубей подал о том мысль. Давно уже у министров не было товарищей; надлежало воскресить сие звание. Каждому из тех, коих желали удалить, дано было по товарищу, сим же последним в руководство инструкция, дающая им право входить во все дела и некоторым контролировать действия самих министров. Выборы были довольно счастливы: назначены люди зрелых лет, некоторые с большою опытностью, другие с достаточным умом и познаниями, чтобы скорее приобрести ее.

---

[1] В это время можно было сравнить ее с началом революции 1789 года, но неизбежно затем должна была последовать эпоха ее терроризма. Авт.

Первого назову я генерал-ад'ютанта князя Александра Сергеевича Меньшикова, знаменитого потомка знаменитого предка, хотя он и не получил звания товарища, а дан был просто в помощь морскому министру адмиралу Моллеру. Он дотоле находился в военной сухопутной службе, но всегда имел страсть к морской части. Он только что воротился из Персии, куда отправлен был перед войной с чрезвычайным поручением, и в удовлетворение желания его был переименован контр-адмиралом. Я скоро буду иметь приятный случай говорить пространнее о сем необыкновенном человеке [1].

Министру юстиции князю Лобанову нельзя было дать товарища менее чем князя, и оттого на сие место назначен был сенатор Алексей Алексеевич Долгоруков. До полковничьего чина находился он на военной службе; но, познав, что рожден он более мирным, хотя деятельным гражданином, чем воином, перешел в статскую. Он был гражданским губернатором в Симбирске, потом в Москве. Даром, что князь, он был не богат и для поправления состояния два раза женился на купеческих дочерях, что влекло его в связи не совсем знатные. Он дружился преимущественно с людьми деловыми, и тяжебные дела давали пищу его разговорам и помышлениям. Когда кто из сенаторов примется усердно за исполнение своих обязанностей (что бывает очень редко), когда он начнет пристально вникать в существо дел, его суждениям подлежащих, когда он сочленов своих будет избавлять от труда читать и мыслить, и они слепо будут приставать к его мнениям, то он прослывет величайшим дельцом. Когда же он из знатного рода (что почти никогда не бывает), то слава его оттого еще более умножится. Долгоруков совсем опод'ячился, когда его посадили в сенат, и тогда уже он мог заменить лучшего обер-секретаря. Аристократия смотрела на него с почтительным изумлением: ей казалось сверх'естественным, что человек из среды ее мог добровольно и исключительно посвятить себя сухим и

[1] Все достоинства Меньшикова сводились к салонному балагурству и циничному остроумию при полной неспособности к административному труду; особенно ярко это сказалось в севастопольскую войну 1854—55 гг., когда он был главнокомандующим.

скучным занятиям законоведения. Молва о нем доходила до государя, и он сам избрал его почти преемником Лобанову.

Много распространяться о Блудове мне нечего: он давно и коротко знаком моим читателям. Говорили, что государь имел намерение назначить его товарищем министра внутренних дел, но что будто бы князю А. Н. Голицыну, премного оскорбленному преемником его Шишковым, казалось забавным к престарелому ребенку приставить довольно молодого еще дядьку, того самого, который мальчиком писал на старика эпиграммы и которого имени тот равнодушно слышать не мог. Уверяли, будто Голицын представил государю, что часть, вверенная Шишкову, более согласна с прежними, любимыми занятиями Блудова, и он назначен был товарищем министра народного просвещения.

Некоторые из директоров департаментов министерства внутренних дел, старее в чине Дашкова, обиделись, когда его назначили товарищем к их министру. Но в этом человеке было нечто равняющее его тотчас с местом, которое он получал, как бы высоко оно ни было: какая-то нравственная сила, которой скоро и охотно покорялись ему подчиняемые. Он также не вовсе безызвестен моим читателям. Им предоставлю я посудить о чувствах, какие возбудили во мне сии назначения. Зависти я никогда не знал; правда, иногда сильно досадовал я, видя быстрое возвышение злых глупцов, ибо в этом я видел вред для службы и для общества; зато с какою искреннею, неописанною радостию смотрел я на успехи людей мною любимых и достойно уважаемых!

Давно уже наступила пора, прибавить ли? давно уже прошла пора отправиться мне к должности. Шесть месяцев после моего назначения я не думал еще трогаться с места. В начале осени, когда двор воротился из Москвы, пытался было я приткнуться к какому-нибудь министерству, чтобы оттуда занять потом иное место; но мне об'ясняли, что если не вступая в должность, к которой назначен, буду проситься об увольнении от нее, то навсегда должен буду расстаться с службой. Потом пугала меня мысль о дальнем пути, в глухую осень и со здоровьем не совсем еще исправным. Что же более всего останавливало меня — был совершенный недостаток в деньгах. Небольшая их сумма от жалованья, сбе-

реженная в Бессарабии на черные дни в Петербурге, была вся истрачена. Однако же я начал собираться в дорогу на обещанные мне взаймы тысячу рублей ассигнациями.

По службе принадлежал я тогда к двум министерствам, финансов и внутренних дел. Вместе со званием керченского градоначальника был я и начальником таможенного округа. Это поставило меня в необходимость перед от'ездом явиться к министру Канкрину. Я знал, что он не благоволит к Воронцову и вообще к Новороссийскому краю, и не без труда решился на таковое предприятие; в исполнении его не имел однако ж причины раскаиваться. Я давно заметил, что весьма умные люди почти всегда меня любили. «Отчего бы это было?» вопросил я себя. «Оттого, что, чувствуя свое превосходство над тобою, они не могут видеть в тебе соперника; а между тем расстояние, тебя от них отделяющее, не так велико, чтобы язык их для тебя остался непонятным и чтобы ты не в состоянии был дать настоящую цену их умственным способностям; к тому же в разговорах с ними ты всегда наслаждаешься, и это у тебя написано на лице». Этим ответом, самому себе данным, остался я доволен, хотя он и не совсем польстил моему самолюбию. После обмена нескольких слов с угрюмым Канкриным сделался он как будто ласковее и повел меня в свой кабинет, где посадил против себя подле камина и начал пускать ужаснейшие облака табачного дыма. Глаза мои страдали; но я заговорился, заслушался. Я коснулся Бессарабии, сказав ему, что я был в ней единственным в России вице-губернатором, который не имел чести находиться под его начальством. Он с любопытством стал меня расспрашивать о сем крае; пользуясь сим, я старался представить ему, сколь вредно для благосостояния области положение, в котором она находится, будучи стиснута на всем протяжении своем двумя таможенными линиями, прутскою и днестровскою. Зная, сколь все минуты для него дороги, и начиная чувствовать боль в глазах, я хотел было сократить свое посещение, но он меня удерживал. Увидев столь неожиданное для меня благорасположение его, я дерзнул обратиться к нему со всепокорнейшей просьбой: об'яснил ему причины, удерживавшие меня в Петербурге, и просил, чтобы жалованье мое (которое простиралось тогда до десяти тысяч рублей ассиг-

нациями) за время просрочки не было задержано. Он подумал и сказал: «это не совсем в порядке; но так и быть, я не забуду и распоряжусь, чтобы вы были удовлетворены». С предовольным сердцем и с распухшими веками воротился я домой. Дня через два отправился я к министру внутренних дел за приказаниями и наставлениями. Это было не в первый раз, кажется, в третий по возвращении его из Москвы. Старик Василий Сергеевич был добр и ласков; заставит, бывало, меня подождать с минуту, позовет потом к себе и усадит; но лишь только я заикнусь о чем-нибудь дельном, он меня прервет и найдет средство меня учтиво выпроводить.

Не понимаю и не помню, как речь зашла о Варшаве и о живущем в ней бывшем первом секретаре китайского посольства Байкове, которого лет двадцать потерял я из виду. Одно уже имя этого наглого человека сделалось неблагопристойностью. Министр с веселым видом и весьма вольным слогом пустился мне рассказывать о его похождениях, о его любовных подвигах с польками. Старый екатерининский гусарский полковник мне весь открылся. Моложе, я бы покраснел, а тут мне даже не стошнилось, и в свою очередь рассказал я два-три анекдота довольно соблазнительных; после того он не хотел меня выпустить. И вот человек, подумал я, который известен своим умом и своею опытностью! О старость, старость с молодыми привычками и желаниями!

О Керчи ни полслова; я знал, что все будет напрасно. Но за градоначальника ее начал я ходатайствовать. При определении в должность все губернаторы получают известную сумму на под'ем и путевые издержки; о градоначальниках на этот счет ничего положительного не было сделано; вероятно все были довольно богаты, чтобы не хлопотать о том; мне трудно было без того обойтись. На просьбу мою отвечал Ланской: «пришлите мне записку, я представлю ее в комитет министров; я чай у вас там есть знакомые, да и я сам вас поддержу». Вследствие того получил я пять тысяч рублей ассигнациями.

---

30 генваря в восемь часов утра оставил я Петербург. Зима стояла в нем такая теплая, какой не запомню; только

14 декабря, в день годовщины после бунта, Нева покрылась льдом, и в генваре при всяком появлении солнца таяло на мостовой и капало с крыш.

Таким образом полегоньку дотащился я до Москвы, 5 февраля поутру.

В английском клубе встретил я Ив. Ив. Дмитриева, и в этот приезд знакомство мое с ним завязалось покороче. Если бы частые утренние посещения мои ему наскучили, я бы тотчас заметил; но, кажется, было совсем противное. Он был всегда степенно весел, пока разговор не касался недавно умершего друга его Карамзина. Один раз позвал он меня к себе обедать вместе с некоторыми литераторами и полулитераторами, коих не вижу нужды называть здесь. Замечателен был мне сильный спор, который после обеда зашел о романтизме и классицизме. В Бессарабии и потом в петербургском уединении моем едва подозревал я существование первого, а тут познал, сколько силы он уже успел приобресть.

Еще захотелось мне видеть другого старика, которого общество мне было столь же приятно, хотя в другом роде. Швейцарец-француз Кристин помолодел, стал добрее с тех пор, как патрон его, граф д'Артуа, под именем Карла X начал царствовать во Франции. Душа его рвалась туда, он мечтал о переселении; многолетние привычки, удобная, красивая оседлость, собственный дом, старость, а паче всего старая ведьма, графиня де-Броль, его околдовавшая, приковывали его к Москве. У него часто бывал один прескучный, по-моему, даже нелепый, француз Декамп, который приехал с тем, чтобы на публичных лекциях преподавать новейшую французскую литературу, и Кристин помогал ему набирать подписчиков и слушателей. Он с глубоким презрением говорил о Расине, о Буало и даже о поэтическом таланте Вольтера, и все называл новейших писателей, Виктора Гюго и других, которых гениальные мысли, не стесненные узами правил Аристота, возьмут высокий полет и должны удивить мир своею смелостию. «Да ведь совершенное безначалие в словесности рано или поздно должно повлечь за собою ниспровержение законных властей и постановлений», — говорил я ультралегитимисту Кристину и никак не мог того растолковать ему. Француз, как бы умен ни был, если нет основа-

тельности в рассудке, всегда будет прельщаться всякой новизной.

Несколько лет уже тогда завелась в Москве итальянская труппа; она играла на небольшом театре в доме Ст. Ст. Апраксина, у Арбатских ворот. Но в эту зиму он умер; вместе с его жизнию должно было прекратиться и ее существование; последние представления ее были на масленице. Истинных любителей музыки, как и всегда, у нас было весьма немного; подражание нескольким знатным домам, мода— поддерживали сие частное заведение, которое, впрочем, обходилось довольно дешево. Но и тут говорили, будто тот самый Гедеонов, который управлял императорскими театрами, а тогда заведывал кассой этой труппы, не всегда держал ее в исправности и часто черпал из нее. Мне хотелось испытать, выдержат ли мои нервы громкие звуки оперы, и я поехал слушать «Ворону-воровку» Россини; к большому удовольствию, которое я ощутил, примешалось еще нечто, похожее на боль. Примадонна мадам Анти имела преприятный голос; тенора звали, кажется, Перуцци, а у Този был славный бас. Все вместе было прекрасно, все было гораздо выше одесской посредственности, хотя далеко от совершенства, которым гораздо позже восхищались мы в Петербурге. Там было ужасно дорого и превосходно, а тут дешево и мило; последнее, мне кажется, лучше, ибо большему числу людей доставляет средства часто наслаждаться.

Тут в креслах встретил я двух одесских знакомых, Пушкина и Завалиевского. Увидя первого, я чуть не вскрикнул от радости; при виде второго едва не зевнул. После ссылки в псковской деревне Москва должна была раем показаться Пушкину, который с малолетства в ней не бывал и на неопределенное время в ней остался [1]. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Это было почти накануне моего от'езда, и оттого не более двух раз мог я видеть его; сомневаюсь, однако, еслиб и продлилось мое пребывание, захотел ли бы я видеть его иначе, как у себя. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь: общество его не могло

[1] Встреча Вигеля с Пушкиным в 1827 году в театре Апраксина состоялась 7 февраля.

быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский [1]. Хотя у него не было ни роду, ни племени, однако нельзя было назвать его непомнящим родства, ибо недавно умерла мать его, некая богатая вдова Анна Ивановна Лобкова, оставив ему хороший достаток, и незаконный отец его, Александр Николаевич Соймонов никак от него не отпирался, хотя и не имел больших причин его любить. Такого рода люди, как уже где-то сказал я, все берут с бою и наглостью стараются предупредить ожидаемое презрение. Этот был остроумен, даже умен и расчетлив и не имел никаких видимых пороков. Он легко мог бы иметь большие успехи и по службе и в снисходительном нашем обществе, но надобно было подчинить себя требованиям обоих. Это было ему невозможно, самолюбие его было слишком велико. Оставив службу в самом малом чине, он жил всегда посреди так называемой холостой компании. Слегка уцепившись за добродушного Жуковского, попал он и на Вяземского; без увлечения, без упоения разделял он шумные его забавы и стал искать связей со всеми молодыми литературными знаменитостями. Как Николай Перовский лез на знатность, так этот карабкался на равенство с людьми, известными по своим талантам. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамилиарничать с собою: он поместил его у себя, потчивал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Не имея ни к кому привязанности, человек этот был жолчен, завистлив и за всякое невнимание лиц, ему даже вовсе посторонних, спешил мстить довольно забавными эпиграммами в стихах, кои для успешности приписывал Пушкину. Сего не совсем любезного оригинала случится, может быть, встретить на поле, несколько более обширном.

19 февраля, почти в сумерки, оставил я Москву.

---

[1] Серг. Ал. Соболевский — товарищ Л. С. Пушкина по пансиону и друг поэта. Очень остроумный, образованный, хорошо начитанный, он свои литературные способности проявлял в писании резких эпиграмм. Вигель ненавидел Соболевского за эпиграмму, в которой язвительно высмеян известный порок Вигеля — его однополая любовь. О «разгульной» жизни Пушкина в это время говорят многие современники.

По прошествии девяти месяцев после назначения моего в должность, наконец, вступил я в нее 29 марта.

Если в Кишиневе осужден я был на муку, то в Керчи на скуку. Не знаю, что лучше? Как везде, куда я вновь поступал на службу, и здесь был я окружен незнакомыми мне лицами, людьми, о коих никогда не слыхивал. Мне были нужны наблюдательность и осторожность, и долго ни с кем не решался я быть доверчивым. Без общества, без книг, без больших занятий по службе, житье мое было не самое веселое.

Я вспомнил первые месяцы пребывания моего в Кишиневе. Тут было у меня еще более свободного времени, и один добрый человек снабдил меня книгами, у него хранящимися, им некупленными и даже не читанными, в которых много говорится о Пантикапее и бывшем Босфорском царстве. Представился случай создать мне себе довольно большой труд, и я воспользовался им. В виде записки начал я составлять вкратце историю классических мест, куда судьбою заведен я был во дни их запустения. Все более завлекаемый предметом моим, я довел ее до настоящих времен, все это заключил и описанием вверенного мне города и его окрестностей и взглядом на будущую возможную судьбу его. Сочинением сей записки занимался я все лето и в начале осени; в ней находится множество подробностей, кои повторять здесь было бы напрасно [1].

Пользуясь правом, осматривая заставы, раз'езжать по берегам, я летом два раза отлучался из Керчи. Первое путешествие сделал я на азиатский берег, в Тамань; не успели мы еще доплыть до противоположного берега, когда все потемнело, как в сумерки. Счастливыми почли мы себя, вошед в приготовленную нам квартиру, ибо в эту самую минуту пошел проливной дождь и сделалась гроза, какие можно видеть только в жарких климатах. Гром заглушал речи наши, а с огненного неба ниспадали целые катаракты.

Хозяин, нас приютивший, был некто г. Арцыбашев [2], дворянин старинной фамилии, очень приятный и благовоспитан-

[1] И здесь, как в записке о Бессарабии, много личных выпадов против лиц, которых Вигель считал стоящими на его пути.

[2] Дм. Ал. Арцыбашев, кавалергард, член Северного общества.

ный юноша, с большим состоянием, который весьма косвенно принимал участие в деле 14 декабря. Зато и не был он сослан в Сибирь, а из кавалергардского полка переведен тем же порутчичьим чином в Таманский гарнизонный баталион. Наказание немаловажное: он вел тут самую томительную жизнь. Он нанимал лучший дом, то есть один только порядочный в этом пригородке, имел хороший стол, и сам начальник его, полковник Бобоедов, почти всякий день приходил к нему обедать. Я не верил ему, когда он утверждал, что в Керчь приезжает как бы в какую столицу; а тут имел я случай убедиться в истине его слов.

Арцыбашев был совершенно прав: увидев Керчь, нам показалось, что из гробов мы возвратились к жизни.

А покамест дни тяжко шли для меня за днями, и я начинал уже терять надежду на получение обещанного официального приглашения [в Одессу]. С каким-то внутренним остервенением я почти решился, если нужно, остаться часть зимы, не подавая просьбы об отставке, и, воздерживаясь от малейшей запальчивости, хладнокровно продолжать войну свою с греками, в то время когда европейские державы начинали вооружаться за них. Наконец, когда уже переставал я думать об Одессе, получил бумагу из нее и поспешно собрался в дорогу. Сдав должность свою, в воскресенье 10 октября, без прощаний и проводов оставил я Керчь.

Когда, 19-го, явился я к Палену [врем. генерал-губернатору], встретил он меня холодно, но с приметным замешательством. Он принужден был об'явить мне, что из Керчи получена на меня ужаснейшая жалоба.

Греки утверждали, во-первых, будто я, неизвестно по какой вражде к ним, всех людей, принадлежащих к их нации, велел выгонять из службы. 2-е, будто бы я, под предлогом выпрямления улиц, безжалостно ломаю обывательские дома и, между прочим, сломал домик, единственное достояние и убежище бедной вдовы. Наконец, 3-е, что я бросил Керчь, поселился на хуторе и туда никого не велел пускать к себе. В заключении своем говорят греки, что если я не буду удален от должности, они со всем населением оставят

Россию, и что подобная сему просьба отправлена от них и к управляющему министерством внутренних дел.

Но довольно о Керчи; постараюсь на время забыть об ней, и веселая моя одесская жизнь поможет мне в том.

У графини Ланжерон была старшая сестра Генриетта Адольфовна, вдова некоего Аркудинского, во втором замужестве за отставным генерал-маиором Павлом Сергеевичем Пущиным. С свойствами дебелой натуры, была она сообщительна, весела, гостеприимна и нередко лучшее одесское общество собирала у себя на вечерах, кои, по ее приглашению, с удовольствием я посещал. Муж ее принимал всех учтиво и весьма приличным образом играл роль хозяина. О нем, как о бригадном начальнике в дивизии Орлова, некстати попавшемся в либералы и зато лишившемся службы, мимоходом уже говорил я; надобно еще что-нибудь к тому прибавить. Некогда камерпаж, офицер и потом полковник в Семеновском полку, он, разумеется, часто бывал в петербургских обществах. Держать в них себя пристойно, не слишком выставлять себя, говорить недурно по-французски достаточно было тогда, чтобы почитаться образованным человеком; и все сии условия выполнял он как в Петербурге, так и в Одессе. Никогда, бывало, ничего умного не услышишь от него; никогда ничего глупого он не скажет [1]. Он был в числе тех людей, которых иногда называют, но о коих никогда не говорят. Счастливые люди, как безмятежно течет их жизнь!

Мы, однако же, с ним иногда рассуждали кой о чем.

Исключая двух многоречивых графов [Палена и Ланжерона], было тогда еще в Одессе два высокочиновных графа. Графа Северина Потоцкого и графа Витта знал я уже за четыре года перед тем, изобразил их, но тут только с ними познакомился. Все вместе составляли не только сиятельную,

---

[1] П. С. Пущин — член Союза Благоденствия, по отзывам знавших его — человек честный, умный, прекрасный, хоть и был оставлен по делу о заговоре декабристов без наказания, но испугался так сильно, что в 1826 г. сделал самый злостный и самый глупый донос на Пушкина, соседом которого он был по Псковской губернии.

но, по мнению моему, в разных родах блестящую четверку Все ко мне казались отменно благосклонны, только Пален и Ланжерон с некоторой стороны не совсем баловали меня каждый из них по одному только разу удостоил меня своим посещением. Граф же Потоцкий, погулявши пешком, часто заходил ко мне отдохнуть и побеседовать. Витт делал то же, но только реже.

Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, разводная жена, составила с ним узы, кои бы легко могли быть извиняемы, если бы хотя немного прикрыты тайной. Сколько раз видели мы любовников, пренебрегающих законами света, которые покидают его и живут единственно друг для друга. Тут ничего этого не было. Напротив, как бы гордясь своими слабостями, чета сия выставляла их напоказ целому миру. Сожитие двух особ равного состояния предполагает еще взаимность чувств: Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами; Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно, следственно не гнушалась названием наемной наложницы, которое иные ей давали. Давно уже известно, что у полек нет сердца, бывает только тщеславный или сребролюбивый расчет да чувственность. С помощию первого завлекая могучих и богатых, приобретают они средства к удовлетворению последней. Никаких нежных чувств они не питают, ничто их не останавливает; сами матери совесть, стыд истребляют в них с малолетства и научают их только искусству обольщать.

Так сужу я ныне, и мне кажется это довольно гадко; но тогда, ослепленный привлекательностью Собаньской, я о том не помышлял. Ей было уже лет под сорок, и она имела черты лица грубые; но какая стройность, что за голос и что за манеры! Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала ее на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней зна-

комства; все прочие также чуждались ее. В этом унизительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими ее женщинами!

Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо не к последнему месту, на которое садилась, ну, право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне ее назвал бы я наглостию) и высокое светское образование.

Она еще девочкой получила его в Вене, у родственницы своей, известной графини Розалии Ржевуской, дочери той самой княгини Любомирской, которая во время революции погибла на эшафоте за беспредельную любовь свою к Франции. Салон этой Розалии некогда слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Нашей Каролине захотелось нечто подобное завести в Одессе, и ей несколько удалось. Пален [Ф. П.] и Потоцкий часто бывали то на утренних, то на вечерних ее беседах и веселостию ума оживляли на них разговор; Витта считать нечего, он имел собственный дом, а проводил тут дни и ночи; Ланжерона строгая жена не пускала к ней. Вообще из мужского общества собирала она у себя все отборное, прибавляя к тому много забавного, потешного, между прочим, одну г-жу Кирико и одного г. Спада, о которых говорено будет после. Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужья их были перед ней на коленях. Несмотря на свои аристократические претензии, она высватала меньшую сестру свою за одного весьма богатого, любезного и образованного негоцианта Ивана Ризнича [1], который в угождение ей давал пышные обеды, что и составляло ей другой дом, где она принимала свое общество. Такое существование было довольно приятно и совсем не уединенно, и она тешилась мыслию, что позорный ее триумф производит зависть в женщинах, верных своему долгу.

---

[1] Первая его жена, знаменитая Амалия Ризнич, в которую был влюблен и которую воспел Пушкин, умерла в 1825 году.

Имея от Витта обещание жениться на ней, она заблаговременно хотела пользоваться правами супруги; он же просил о разводе с законной женой, которая тому противилась, и с ее же согласия тайно старался длить тяжбу по этому делу. У Собаньской было много ума, ловкости, хитрости женской и, повидимому, самый верный расчет; но был ли в ней рассудок? Вся жизнь ее прежде и после доказывала противное. Блестящая сторона ее поразила мой ум, но отнюдь не проникла в сердце; а как к удивлению, которое производят в нас женщины, всегда примешивается несколько нежности, то и сочтено это страстию; дамы жалели обо мне, а я внутренно тем забавлялся. Я так много распространился об этой женщине, во-первых, потому, что она была существо особого рода, и потому еще, что в доме ее находил большую отраду. Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение; но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял ее и сериозным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от нее отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее формами [1]!

[1] Графиня Каролина (Розалия) Адам. Собаньская, рожд. Ржевуская (1794—1885), красавица и умница, воспетая Мицкевичем, который был в нее безумно влюблен. Вместе с ним бывал у Собаньской и Пушкин, который в ее альбоме и, как полагают, для нее написал свое прелестное и нежное стихотворение «Что в имени тебе моем». Любовь Мицкевича увенчалась успехом, но Собаньская, легко менявшая своих поклонников и мужей, скоро оставила его, а поэт, разочаровавшись в ней, выразил ей свое презрение в язвительном стих. «Прощание». По утверждению биографов Мицкевича, Собаньская была самою красивою из всех живших в Одессе полек, а в числе их была знаменитая Ольга Потоцкая-Нарышкина; безмерно веселая, любительница изящных искусств, прекрасная пианистка, она была душою общества, к которому принадлежала. Оставив своего мужа ради гр. И. О. Витта (брата О. Нарышкиной и С. Киселевой), она всюду следовала за ним и в конце концов вышла за него замуж. Николай I опасался ее вредного политического влияния на поляков, когда Витт был назначен военным губернатором в Варшаву, и требовал высылки Собаньской оттуда. Николай не хотел даже назна-

Самый младший из шести братьев Сушковых, Москве и разным губерниям известных смелостию своих поступков, которые нередко имели для них весьма неприятные последствия, Николай Васильевич[1], принялся было сперва за поэзию и довольно успешно, но вскоре потом бросил ее, чтобы заняться службой. Весьма молодым человеком был он советником таврической казенной палаты и сильно поссорился с вице-губернатором Курутой. Он очень полюбился Воронцову, который в этом деле весьма несправедливо держал его сторону, за что, кажется, был он преследуем министерством финансов. Гораздо после от'езда моего из Кишинева, по представлению покровительствующего ему Воронцова, назначен был он членом бессарабского верховного совета. Варлам в то время гостил у слепого отца. Причиною раздора его с Сушковым была г-жа Фурман, равно к обоим приветливая; подробности же неприятных между ими встреч мне неизвестны. Раз где-то, не умея отвечать на колкости Сушкова, глупый, вздорный и вместе с тем довольно трусливый Варлам в запальчивости при всех дал ему пощечину и потом ну бежать, оставив шляпу и шинель. Тем не должно было кончиться; на следующее утро вооруженные враги выехали за город в условленное место, но самим Варламом предупрежденная полиция была в засаде и не допустила их до драки; начальство же вскоре под предлогом комиссии разослало их в противоположные стороны. Дело было сериозное,

---

чать Витта на более высокий административный пост в Польше из-за Собаньской, так как она, по словам царя, «самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в сети». В 1836 г. Витт бросил Собаньскую, которая искала защиты у русских вельмож, но скоро утешилась, выйдя замуж за Х. Чирковича — ад'ютанта гр. Витта. В 1850 г. Собаньская жила в Париже, где у нее снова бывал Мицкевич, а затем, когда ей было лет под шестьдесят, вышла замуж за французского писателя и поэта П. Лакруа. Сестра ее Эвелина, бывшая в первом браке за Ганским, имела длительный роман с знаменитым писателем Бальзаком, который после женился на ней.

[1] Довольно посредственный писатель и плодовитый журналист, впоследствии опубликовавший несколько писем Вигеля к Загоскину, Гоголю и др. Был в дружеских отношениях со всеми писателями своего времени. Пушкин относился к нему иронически.

оно сделалось национальным. Молодежь молдаванская с самодовольствием твердила: вот как наши бьют русских! Торжество, однако, не было на стороне Варлама; никто из русских, особенно из военных его сослуживцев, не хотел ни говорить с ним, ни глядеть на него; Воронцов из Англии велел написать к нему, чтобы он искал другого начальника, а что с таким пятном он при нем остаться не может. Приведенный в отчаяние, он тайно согласился, наконец, на возобновление поединка. Между тем все казалось забытым, как вдруг узнали, что Сушков, проезжая чрез Тирасполь, в нем остановился, что господа сии стрелялись в поле и что Варлам пал от руки своего противника. Кажется, и тут ожидал он помощи; она опоздала, однако успела схватить виновного на месте преступления. Несколько месяцев содержался он в тираспольской крепости, был судим, осужден, прощен, и время заключения его сочтено ему за наказание. Потом отправился он опять на север и довольно счастливо продолжал там службу.

Жаль мне, что я обещал читателей моих познакомить с двумя курьезными созданиями, Кирико̀ и Спада; но как быть, надо выполнить данное слово. Находившийся долго в Бухаресте генеральным консулом действительный статский советник Лука Григорьевич Кирико̀, армяно-католик, был просто человек необразованный и корыстолюбивый. Жена же его, смолоду красотка, всегда в обществе изумляла его совершенным неведением приличий, какою-то простодушною, детски-откровенною неблагопристойностию в речах и действиях. Она мыслила вслух, никогда не смеялась, зато всех морила со смеху своими рассказами. Худенькая, живая, огненная, беда бывало, если кто ее раздразнит; несмотря на то, мистификациям с ней конца не было. Из анекдотов об ней составилась бы книжица, но кто бы взялся ее написать и какая цензура пропустила бы ее? Я позволю себе привести здесь два или три примера ее наивного бесчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вела она среди валахских бояр, говорила она мне, как и многим другим: «Все они были от меня без памяти, а как эти люди не умеют из'ясняться в любви иначе как подарками, то и засыпали меня жемчугом, алмазами, шалями. Как же мне было не чувствовать к ним благодарности? Иным скрепя сердце оказывала

ее; с другими же, которые мне более нравились, признаюсь, предавалась ей с восторгом». Раз поутру у Собаньской сидели мы с Паленом; вдруг входит мадам Кирико̀, об'являет, что намерена провести тут целый день и для того привезла с собою рукоделье. Живость разговора не позволила сперва заметить, в чем оно состояло; когда же Собаньская на столе увидела малиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти с ужасом вскрикнула: что это такое, моя милая? «Да так, отвечала она; вы знаете, какой мерзкой скряга у меня муж; с трудом могла у него выпросить эту вещь; хочу ее здесь распороть и выкроить из нее шпинцеры для дочерей». С трудом могли ее уверить, что это уже слишком бесцеремонно. Из этого можно посудить о прочих поступках сей нарядной, даже превосходительной шутихи, которая, впрочем, кое-как выучилась по-французски и давала у себя иногда вечера. Две миленькие скромные дочки ее, Констанция и Валерия, перестали уже краснеть от ее слов, а показывали вид, будто их не слышат. Вообще служила она публичным увеселением, но Собаньская как-то особенно умела ею овладеть.

Тот, которого ставили ей в пару, был совсем иных свойств, чопорный, осторожный, размеряющий слова свои. Португальский жидок Спа̀да мальчиком привезен был во Францию, крещен и воспитан у капуцинов, которые и постригли его монахом своего ордена. Во время революции все монастыри были уничтожены, и он явился в Россию светским человеком и эмигрантом. Он одарен был большою памятью, знал числа всех важных происшествий в мире, имена всех владетельных государей в Европе, предков их и родословную их фамилий; знал также наизусть множество стихов из французских классических сочинений. Хронологические таблицы не суть еще история, и вытверженные стихи не доказывают еще больших познаний в литературе, но и в тогдашнее время, и особенно в тогдашнем большом свете, все это принято за ученость. Ему посчастливилось; за высокую цену в знатных домах находился он то домашним секретарем, то чтецом, то библиотекарем, а более всего собеседником. Долее всего оставался он у князя Белосельского, которого дурные французские стихи он переписывал и выслушивал их с подобострастием. Разделяя мнения петербург-

ского аристократического общества, как все челядинцы домов его составляющих, смотрел он с презрением на просвещенных, независимых и даже богатых людей, к тому кругу не принадлежащих. По мере как науки и истинное просвещение начали проникать и в высший круг, ценность Спàды, хотя и не плата ему, стала ниспадать. Под конец находился он при графе Кочубее, не знаю в каком качестве, и отправился с ним в Крым и в Одессу. Кажется, наконец, надоел он всему семейству, ибо нашли средство благотворным образом освободиться от него. Для него создали в Одессе место цензора иностранной литературы, с довольно хорошим содержанием. Тут все-таки мог он подышать аристократическом воздухом: было довольно графов и князей с европейским образованием. Он не чуждался также иностранных негоциантов, только самых богатых. Право дурачить его признавал он единственно в людях и женщинах, им знатными признаваемых, и некоторые из них пользовались им бесчеловечно. Малого роста, худенький, стянутый, всегда опрятно одетый фертик, он мог бы казаться молодым, если б глубокие морщины на лице и лысина во все пространство головы не обнаруживали его лет; к тому же и дыхание его было не весьма свежее. А он был чрезвычайно влюбчив и между тем по этой части довольно хвастлив. Мне случилось подслушать, как он Собаньской рассказывал сцену свою с графиней Кочубей. Увлеченный неодолимою страстию, один раз он пал к ее ногам, когда никого не было в комнате; вдруг отворяется дверь, входит сам Кочубей, останавливается, с хладнокровием государственного человека говорит: «меня это не удивляет, я давно того ожидал» и выходит вон. — «Что ты сделал, воскликнула графиня, удались несчастный, ты нас обоих губишь». Если это была и правда, то уже наверно наперед приготовленная фарса. Его взяла с собой Воронцова, когда верст за сорок вместе с Ольгой Нарышкиной и Киселевой, сестрой ее, она поехала навстречу мужу; его посадили в особую двухместную карету с весьма некрасивой горничною Ольги. По прибытии на место свидания, в ожидании, остановились они в довольно тесном помещении, куда горничная часто входила с видом смущенным, даже отчаянным. Ее спросили о причине ее горя, а она, указывая на Спàду, сказала: «зачем вы меня сгубили, зачем так

долго оставили наедине вот с этим известным соблазнителем?» С ним приняли вид грозный, укоризненный и стали называть человеком, во зло употребляющим доверенность своих знакомых. Тщетно клялся он и божился, почти плакал, уверяя, что во всю дорогу даже не глядел на нее. «Нет, нет, отвечали ему; она шляхтянка, следовательно дворянка, и вас будут уметь заставить загладить ваш проступок и женитьбой возвратить честь вашей жертве». Несчастный вопил, что эта мерзавка, конечно, влюбилась в него, к тому же хочет сделать выгодную партию. Несколько дней потом трепетал он при мысли сего совсем не аристократического союза.

Ольга Нарышкина, безжалостная, бессердечная, как все Потоцкие, поступала с ним иногда хуже. Прогуливаясь пешком, она по приятельски заходила навестить его в опрятной, с некоторым кокетством убранной его квартирке. Желая будто ближе посмотреть на картинки, в ней развешенные, она с грязными ногами лазила на канапэ, на кресла и как бы ненарочно раздирала материи, их покрывающие.

Забавные сии два существа, Кирико и Спада ненавидели друг друга. Он с ужасом смотрел на нее, как на дикую женщину, она же видела в нем подлого шута, а Собаньская старалась приглашать их в одно время. Благодаря Палену, находился я в самом веселом расположении духа, и оттого сии карикатурные лица доставляли мне иногда минуты блаженства; во дни скорби я уверен, что без отвращения не мог бы я смотреть на них.

Из двух дам, о коих говорил я, описывая первое пребывание мое в Одессе, упомянул я лишь об одной, об Ольге Нарышкиной, о графине же Эделинг не сказал ни слова. Ту и другую встречал я только на вечерах у Пущиной. Последняя из братолюбия почитала обязанностию на меня коситься и мало со мною говорить. Александр Стурдза продолжал ото всей души ненавидеть меня за бессарабские дела.

Что касается до мужа Ольги, Льва Нарышкина, то он вел самую странную жизнь, то есть скучал ею, никуда не ездил и две трети дня проводил во сне. Она также мало показывалась, но дабы не отстать от привычки властвовать над властями, в ожидании Воронцова, задумала пленить Палена и, к несчастию, в том успела. Из любви и уважения к нему

никто не позволял себе говорить о сем маленьком его сумасбродстве.

Владычество Ольги над Паленом не простиралось так далеко, чтобы поссорить его со мною. Я продолжал пользоваться правом один сидеть с ним в ложе. Никогда еще не видали в Одессе столь славной итальянской труппы, как в это время, и никогда после подобной ей не бывало. Примадонна Амàти была хороша, очень хороша, да и только. Двадцатилетняя же Морикони была чудесна, очаровательна и красотой лица, и стройностию тела, и искусством играть и петь, а паче всего голосом контральто, который, я уверен, с трудом бы найти и в самой Италии. Мужественная красота Дезирò совершенно ответствовала его голосу, густому басу, вместе с тем нежному и гибкому. Тенора Молинелли я только слушал, а не глядел на него; как можно было сочетать столь прелестный голос с таким гадким лицом, несносной игрой и подлой фигурой! Все, что было для подставки — было также весьма не худо. Россини был тогда во всем своем могуществе, соперников у него не было и, казалось, никогда не будет: оперы его, переведенные на все языки, игрались на всех театрах; в Одессе других тогда знать не хотели. Из бесчисленного их множества я назову только те, кои более других меня восхищали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. После жестоких нервных страданий в 1826 году, в продолжение лета 1827 брал я в Керчи ванны из морской воды; тем много успокоились мои бедные нервы, и оставшееся в них легкое раздражение умножало только мои музыкальные наслаждения. Можно посудить, какие удовольствия доставлял мне тогда одесский театр.

Шумных удовольствий не было, и потому новый 1828-й год начался весьма тихо, может быть, приятно для тех, кои встретили его в кругу семейств своих и друзей; я же всю эту ночь провел в глубоком сне. Одна Ольга Нарышкина умела начать его забавным образом. Она созвала к себе на вечер все общество свое, составленное из людей ей поклоняющихся или ее забавляющих. Все были костюмированы и замаскированы, и между прочим, бедную Казначееву, толстую и кривобокую, нарядила она тирольским мальчиком. Муж, по обыкновению своему, в десять часов залег спать; но по условию между им и женою в полночь вся гурьба с

шумом вошла в его спальню и заставила его встать с постели. Будто раздосадованный, будто спросонья, будто никого не узнавая, принялся он всех бранить; более всех досталось Казначеевой... На другой день рассказы об этой проделке занимали весь город.

Мог ли я ожидать, что эта знаменитая Ольга будет причиною поспешного моего от'езда из Одессы? Разговаривая с Паленом, раз заметил я ему, что ничего не нахожу в ней особенно привлекательного. «Это оттого, сказал он с жаром, что она не удостоивает вас своего внимания: займись она вами полчаса — и вы бы были у ног ее». Мне бы следовало замолчать, а я спросил: да полно, вы не влюблены в нее, граф? — «Оно, может быть, и так, — отвечал он, — но только слишком нескромно спрашивать меня о том». Он повернулся ко мне спиной и вдруг охладел ко мне. В целой Одессе я один не знал о его слабости; ибо никто мне о том не говорил, и я их вместе не видел. Это было в первой половине генваря.

Дня через два после этой пустой размолвки пошел я к Палену, зная его благородство и скромность и не опасаясь никакой неприятной встречи. Он встретил меня если не дружески, то вежливо, а я об'явил ему, что, согласно его совету, скоро намерен ехать в Керчь. Вместе с тем вручил ему просьбу об увольнении, прося его убедительно представить ее по усмотрению, так, чтобы мог я удалиться сколько-нибудь выгодным образом. Он обещался сделать все, что может, и мы расстались как нельзя лучше.

Выучившись сам, наконец, лечить глаза свои и в запасе имея некоторые нужные лекарства, я не призывал на помощь врача: терпение, диэта и употребляемые мною средства скоро помогли; все-таки, однако, целую неделю должен был я выдержать карантин [в Николаеве]. Раза два навестил меня Федоров, а об адмирале Грейге [1] не было ни слуху ни духу: всякий англичанин более или менее почитал себя лордом.

Несмотря на то,будучи с ним знаком, я не хотел оставить Николаев, не явившись к нему, и 26 [января 1828 г.] поутру отправился с моим почтением на дрожках моей

---

[1] Адмирал А. С. Грейг — начальник черноморского флота.

хозяйки. У под'езда встретил меня слута, который сказал, что адмирал на той половине, и пошел провожать меня туда. Та половина была на дворе длинная пристройка к главному корпусу строения. По входе в переднюю слуга сказал мне, что я могу итти без докладу. Не знаю, или часы шли у меня неверно, или в приморских городах обедали тогда гораздо ранее даже чем в губернских, только в первой комнате нашел уже я накрытый стол, а в другой даму и с полдюжины мужчин, все моряков. Замешательство Грейга было едва ли не сильнее того, которое я в себе почувствовал. Нахмурясь угрюмо, не сказав мне ни слова, он обратился к даме и сквозь зубы назвал меня по фамильному имени. «Ах, боже мой! Ах, как я рада! Как много наслышана об вас, как давно хотела с вами познакомиться и, наконец, нечаянный случай, кажется, хочет нас сблизить». Вот восклицания дамы, на которые едва успевал я отвечать поклонами. Надобно об'яснить причины таких странностей.

В Новороссийском краю все знали, что у Грейга есть любовница жидовка и что мало-по-малу, одна за другой, все жены служащих в черноморском флоте начали к ней ездить как бы к законной супруге адмирала. Проезжим она не показывалась, особенно пряталась от Воронцова и людей его окружающих, только не по доброй воле, а по требованию Грейга. Любопытство насчет этой таинственной женщины было возбуждено до крайности, и оттого узнали в подробности все происшествия ее прежней жизни. Так же как Потоцкая, была она сначала служанкой в жидовской корчме под именем Лии или под простым названием Лейки. Она была красива, ловка и умением нравиться наживала деньги. Когда прелести стали удаляться и доставляемые ими доходы уменьшаться, имела она уже порядочный капитал, с которым и нашла себе жениха, прежних польских войск капитана Кульчинского. Надобно было переменить веру; с принятием св. крещения к прежнему имени Лия прибавила она только литеру «ю» и сделалась Юлией Михайловной. Через несколько времени, следуя польскому обычаю, она развелась с ним и под предлогом продажи какого-то строевого корабельного леса приехала в Николаев. Ни с кем кроме главного начальника не хотела она иметь дела, добилась до свидания с ним, потом до другого и до третьего. Как все

люди с чрезмерным самолюбием, которые страшатся неудач, в любовных делах Грейг был ужасно застенчив; она на две трети сократила ему путь к успеху. Ей отменно хотелось выказать свое торжество; из угождения же гордому адмиралу, который стыдился своей слабости, жила она сначала уединенно и ради скуки принимала у себя мелких чиновниц; но скоро весь город или, лучше сказать, весь флот пожелал с нею познакомиться. Она мастерски вела свое дело, не давала чувствовать оков ею наложенных и осторожно шла к цели своей, законному браку. Говорили даже, что он совершился и что у ней есть двое детей; тогда не понимаю, зачем было так долго скрывать его.

Оправдываясь в неумышленной нескромности, я слагал вину на слугу, а Юлия Михайловна сказала, что не бранить его, а благодарить должна. Сам же Алексей Самойлович, видя мое учтивое, приветливое, хотя свободное с нею обхождение, начал улыбаться и заставил у себя обедать. В ее наружности ничего не было еврейского; кокетством и смелостию она скорее походила на мелкопоместных польских паней, так же как они, не знала иностранных языков, а с польским выговором хорошо и умно выражалась по-русски. За столом сидел я между нею и адмиралом. Неожиданно с сим последним зашел у нас разговор довольно сериозный. Речь коснулась до завоевательницы и создательницы Новороссийского края [Екатерины].

На другой день, 27-го, помаленьку я начал сбираться в дорогу, когда явился ко мне курьер с приглашением А л е к с е я С а м о й л о в и ч а и Ю л и и М и х а й л о в н ы пожаловать к ним на вечер, бал и маскарад 28 числа. Мне следовало бы отказаться, во-первых, потому, что это был день кончины отца моего, во-вторых, что я два лишних дня должен был потерять в пути; но мне не хотелось невниманием платить за учтивость, да и любопытство увидеть николаевское общество во всем его блеске взяло верх над долгом. Дней за десять перед тем видел я одесское, но не мог судить о великой разнице между ними, не будучи ни с кем знаком. Мужчины несколько пожилые и степенные, равно как и барыни их, сидели чинно в молчании; барышни же и офицерики плясали без памяти. Масок не было, а только две или три ко-

стюмированные кадрили. Женщины были все одеты очень хорошо и прилично по моде, и госпожа Юлия уверяла меня, что она всех выучила одеваться, а что до нее они казались уродами. Сама она, нарядившись будто магдебургской мещанкой, выступила сначала под покрывалом; ее вел под руку ад'ютант адмирала Вавилов, также одетый немецким ремесленником, который очень забавно передразнивал их и коверкал русский язык. На лице Грейга не было видно ни удовольствия, ни скуки, и он прехладнокровно расхаживал, мало с кем вступая в разговоры. Сильно возбудил во мне удивление своим присутствием один человек в капуцинском платье; он был не наряженный, а настоящий капуцин с бородой, отец Мартин, католической капеллан черноморского флота, который, как мне сказывали после, тайно венчал Грейга с Юлией. Оттого при всех случаях старалась она выставлять его живым доказательством ее христианства и законности ее брака; только странно было видеть монаха на бале. Мне было довольно весело, смотря на бо́льшую часть веселящихся, которые казались совершенно счастливыми.

Наконец, 29-го поутру, вырвался я из Николаева. Скоро приехал я в Херсон и на этот раз хотел непременно его осмотреть. Войдя в собор, мне хотелось увидеть место, где положено было тело князя Потемкина; но мне отвечали, что никто о том не знает. Уверяют, что, когда по приказанию Павла первого должно было вынуть останки основателя Херсона, тайно вырыт был труп протопопа и вместо Потемкина похоронен где-то в поле.

В марте получил я наконец и письмо от графа Воронцова, собственноручное, длинное, ласковое, в ответ на давно мною к нему писанное. Вот что́, между прочим, говорит он в нем: «Вы хотите меня оставить, и я должен исполнить ваше желание; а если бы вы знали, сколько копий принужден я был ломать за вас с одним здесь весьма сильным человеком». Этот сильный человек не мог быть иной как Нессельроде. Насчет же обеспечения существования моего после отставки выражался очень неясно.

Приятным образом изумило меня и вместе с тем несколько смутило назначение статс-секретаря Блудова в должность главноуправляющего духовными делами иностран-

ных исповеданий, с оставлением его товарищем министра просвещения. Ливен был протестант и самый усердный, а только православный мог заведывать делами иноверцев, дабы не давать предпочтения одной религии перед другой. Для того эта часть, в виде особого министерства, опять отделена была от народного просвещения, как было то сначала при Голицыне. Но зачем было при этом случае не произвесть Блудова в тайные советники? Это и сделано несколькими месяцами позже. Когда где-нибудь установится какой-нибудь порядок и несколько поколений привыкнут к нему, то зачем без всякой нужды нарушать его? Все увидели в том совершенное изменение всего существовавшего со времен Петра великого: разрыв чинов с местами. И мало ли что после увидели! [1].

Кажется, давно ли оставил я Одессу, а как много из зимних моих знакомых не нашел я в ней! Ланжерон как-то приплелся к армии, где и без него было так много главных начальников и полных генералов. Пален отправился на председательство в Бухарест и имел неосторожность правителем дел взять с собою алчного земляка Брунова, в чем после много должен был раскаиваться. Перед от'ездом сделал он другой промах: пал к ногам Ольги Нарышкиной, умоляя ее развестись с мужем и выйти за него; она расхохоталась и указала ему двери. Собаньская старалась казаться веселою, любезною. Вот все, что на этот раз могу сказать я об Одессе, в которой сам не знаю зачем, без всякой для себя пользы, прожил я две недели.

Я прибыл благополучно в Москву 14 июня, часу в десятом утра. Была причина, остановившая меня тогда в Москве.

Мне повторяли врачи и в Петербурге и на юге, что мне необходимо пользоваться мариенбадскими минеральными во-

[1] Одна московская дама спросила у одного английского путешественника, какой чин имеет Питт? Тот никак не умел отвечать ей на это. Тогда генеральство ездило цугом, а штаб-офицеры четверней. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» спросила она. «Обыкновенно ездит парой», — отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», — заметила она. Многие и поныне готовы еще так думать. Авт.

дами, и для того посылали за границу; а с чем бы я туда отправился? Старый и знаменитый Лодер с помощию молодого доктора Енихена завел первые в России искусственные минеральные воды. Они только что были открыты над Москвой-рекой, близ Крымского брода, в переулке, в обширном доме с двумя вновь пристроенными галлереями и садом. Как же мне было не воспользоваться сим случаем? Всякой день рано поутру ходил я пешком со Старой Конюшенной на Остоженку. Движение, благорастворенный утренний воздух, гремящая музыка и веселые толпы гуляющих больных (из коих на две трети было здоровых), разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее чем мариенбадская вода, коей я упивался. Знакомств, разговоров я избегал и довольствовался беседой любезного старика Кристина, который почти всегда бывал здоров, а тут лечился, кажется, от неизлечимой болезни, от старости. Новизна, мода обыкновенно влекут праздное московское общество, как сильное движение воздуха все гонит его к одному предмету. Потому-то сие новое заведение сделалось одним из его увеселительных мест.

Было еще и другое, куда также отправлялся я по воскресным дням. Место за тремя горами, принадлежавшее графу Толстому, прозванное Трехгорным, было им передано зятю его, новому министру внутренних дел Закревскому, который приказал открыть его для публики. Слово загородный дом состарелось для москвичей, его начало заменять слово дача. Вот, кажется, отчего дача Закревского, во что переименовали Трехгорное, как бы волшебством всех привлекала. Все другие гульбища брошены, опустели. Новый владелец действительно хорошо изукрасил сие место. От больших ворот шла прямая, широкая и длинная аллея для экипажей, с двумя боковыми узкими для пешеходцев, до главного дома над самой рекой. С обеих сторон сих аллей было по три острова, четвероугольных, равной величины, разделенных между собою вновь прокопанными канавами, наполненными тогда еще чистой, проточной водой и соединенными деревянными мостиками. Каждый из сих островов был посвящен памяти одного из героев, под начальством которых Закревской находился: Каменского, Барклая, Волконского и других. На каждом посреди густоты деревьев находился или

храмик, или памятник сказанным воинам: необыкновенная, нового рода правильность, напоминающая нечто фрунтовое. Самая чистота, в которой все это было содержано, как бы заимствована была у аракчеевских военных поселений. Недолго сия дача была в славе у москвичей. Она продана и ныне под названием уже Студенец принадлежит обществу садоводства, которое мало заботится о порядке и чистоте. А как место низкое, сырое и болотистое, то оно и находится в отвратительном запущении.

Московский английский клуб есть место прелюбопытное для наблюдателя. Он есть представитель большой части московского общества, вкратце верное его изображение, его эссенция. Записные игроки суть корень клуба: они дают пищу его существованию, протчие же члены служат только для его красы, для его блеска. Почти все они люди достаточные, старые или молодые помещики, живущие в независимости, в беспечности, в бездействии; они не терпят никакого стеснения, не умеют ни к чему себя приневолить, даже к соблюдению самых простых, обыкновенных правил общежития. Член московского английского клуба! О, это существо совсем особого рода, неимеющее подобного ни в России, ни в других землях. Главною, отличительною чертою его характера есть уверенность в своем всеведении. Он с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуждых, незнакомых, без опасения выказать все свое невежество. Он горячо станет спорить со врачем о медицине, с артистом о музыке, живописи, ваянии, с ученым о науке, которую тот преподает, и так далее. Я почитаю это не столько следствием невежества, как весьма необдуманного самолюбия. Выслушав вас не совсем терпеливо, согласиться с вами значило бы в чем-нибудь да признать перед собою ваше превосходство. Эти оспаривания сопровождались всегда не весьма вежливыми выражениями. «Нет, воля ваша, это неправда, это быть не может, ну кто этому поверит?», так говорилось с людьми мало знакомыми, а с короткими: «ну полно, братец, все врешь; скажи просто, что солгал». Удивительно, как все это обходилось миролюбиво, без всякой взаимной досады. Не нравилось мне, что эти господа трунят друг над другом; пусть бы насчет преклонности лет, а то насчет наружных,

телесных недостатков и недостатков фортуны; это казалось мне уже бесчеловечно. Не доказывается ли тем, что наше общество было еще в детстве? Дети всегда безжалостны, ибо не испытали еще сильной боли; мальчики в кадетских корпусах, в пансионах точно так же обходятся между собою. Хотя я не достиг тогда старости, хотя не был еще и близок к ней, мне не нравилось также совершенное равенство, которое царствовало в клубе между стариками и молодыми.

Вестовщики, едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубного сословия. Первые ежедневно угощали самыми неправдоподобными известиями, и им верили, их слушали, тогда как истина, все дельное, рассудительное отвергалось с презрением. Последние были законодателями вкуса в отношении к кушанью и были весьма полезны: образованные ими преемники их превзошли, и стол в английском клубе до днесь остался отличным. Чтó касается до протчих, то право лучше бы было их не слушать. Чтó за нелепости, чтó за сплетни! Шумим, братец, шумим, как сказано в комедии Грибоедова. Некоторые берутся толковать о делах политики, и им весьма удобно почерпать об ней сведения: в газетной комнате лежат на столе все дозволенные газеты и журналы, русские и иностранные; в нее не часто заглядывают, а когда кому вздумается присесть да почитать, то обыкновенно военные приказы о производстве или об'явления о продаже просроченных имений. Был один такой барин-чудак, который в ведомостях искал одни об'явления об отдаче в услуги, то есть о продаже крепостных девок, как за ним подметил один любопытствующий. Самый оппозиционный дух, который тут находим, совсем не опасен для правительства: он, как и все протчее, не что иное как совершенный вздор.

Да не подумают, однако же, что в клубе не было ни одного человека с примечательным умом. Напротив, их было довольно,, но они посещали его реже и говорили мало. Обыкновенно их можно было находить в газетной комнате; я назову пока одного Ив. Ив. Дмитриева, не раз мною упомянутого, и похвастаюсь тем, что со мною бывал он многоречив. Его холодная, важная наружность придавала еще более цены его шутливости и остроумию. Кто бы мог ожидать? Как афинские мужики Аристида, хотели было

исключить его из общества, право не помню за что; но вдруг опомнились и выбрали его почетным членом. Но он с тех пор, кажется, не являлся к ним [1].

Меня взяло раздумье. Время шло для меня быстро, незаметно, среди рассеянной жизни, от которой я начинал уже уставать. Кончился 1828 год, начался 1829, и наступил уже великий пост. Я жил почти даром, издержек у меня было мало, исключая экипажа, чтó обходилось тогда довольно дешево, и, по моим расчетам, я мог бы продлить мое пребывание в Москве до осени. А там... подымался перед мной ужасный призрак Пензы. Мысль об обманутых надеждах моей матери также меня мучила.

Тут вспомнил я лестные предложения Закревского, когда он еще не был министром, и решился писать к нему. По слухам, нижегородского гражданского губернатора, Ивана Семеновича Храповицкого, с тем же званием переводили в Петербург, и я стал проситься на его место. Я недолго дожидался ответа: министр в самых любезных выражениях предлагал мне приехать в Петербург, ибо по заочности будто бы нельзя было ничего сделать. Сестра присоветовала мне воспользоваться случаем, и я, не задумавшись, ни с кем не простясь, 23 марта отправился опять искать счастия.

Странное дело! В который раз Петербург встречал меня неудачами?

На другой день по приезде поспешил я в мундире к Закревскому и был им тотчас ласково принят, но с первого слова получил от него отказ. В Нижнем-Новгороде, по словам его, должен быть губернатором богатый человек, ибо нигде для этого места не требуется более представительности. К тому, прибавил он, сам государь на сие место выбрал Бибикова [2].

«Да разве нет других губерний в России?» сказал он мне, «вот-таки теперь открывается вакансия в Екатеринославе».—

---

[1] Пушкин интересовался московским английским клубом и его посетителями, что отмечено в его Дневнике и письмах.

[2] И. М. Бибиков, женатый на сестре декабристов, известной красавице Ек. Ив. Муравьевой-Апостол.

«Я бы не желал, — отвечал я, — возвращаться в Новороссийский край». — Понимаю, — сказал он, — вы не поладили с Воронцовым; ну, что за беда, не бойтесь, мы вас отсюда не выдадим». Это меня изумило: по последним словам Воронцова в Одессе, я почитал их в теснейшей связи. Я об'яснил ему, что мне желательнее начальствовать там, где нет генерал-губернатора, и находиться под непосредственным, милостивым его начальством и покровительством. Это ему полюбилось, и он сказал: «Хорошо, да только в таком случае надобно будет немного подождать. А покамест вы у меня наведывайтесь, навещайте меня, только с условием, без мундира, а во фраке, как вы посещаете других знакомых ваших». Все это казалось довольно ободрительным.

Был я у Блудова, но не охотно согласился он говорить за меня Закревскому. Они оба в Валахии и за Дунаем служили некогда при графе Каменском и играли там важные роли; и хотя не было между ними несогласий, а еще менее вражды, но совершенная разность в характере и воспитании никогда не допускала их сойтись между собою.

Сделавшись товарищем Шишкова, совестливый Блудов щадил его старость, оказывал всевозможное уважение, старался заставить его забыть прежние литературные ссоры, прилежно вникал во все дела министерства, но, при случае несогласия в мнениях, всегда искусно и осторожно склонял его на свою сторону, тогда как, в силу данной ему инструкции, он ежедневно мог бы раздражать его. Впрочем, и Шишков так ослабел, что при докладывании ему бумаг почти всегда засыпал крепким сном.

Никогда почти Шишков не видал государя; а Блудов, имея много и особых поручений, нередко бывал у него с докладом.

Полгода прошло с тех пор, как я приехал в Петербург, и в нем ничто меня так не занимало, как вступление мое в службу и приспособление себя к новой должности, на которую был предназначен [1]. За ходом дел как в Европе, так и

[1] Директором департамента духовных дел иностранных исповеданий, куда Блудов устроил Вигеля, между прочим, с целью скорейшего насильственного присоединения униатов к православию.

у нас я не следил и, может быть, тем лучше: никогда еще в столь блестящем виде не представлялся мне мир.

Быстрые успехи по службе, коих дотоле я никогда не знавал, заставляли меня думать, что у нас все идет как нельзя лучше. Я почитал себя как бы в ковчеге, предназначенном для спасения и возрождения рода человеческого, и хотя с прискорбием, но без страха смотрел на потоп, готовившийся поглотить весь Запад.

Весь политический горизонт казался ясен, а барометр его внимательным умам уже показывал непогоду. Всегда великим народным революциям в мире предшествовали сильные перевороты в нравах, в мнениях и особенно в словесности, которая служила верным изображением.

Совсем без умысла, с 1823 года я уклонился от точных сведений о том, что́ происходит в Европе. Мой мир заключался весь в одной Бессарабии, а потом в Керчи. Но в 1829 году, находясь более в сношениях с просвещенным миром, я с новым, особенным любопытством принялся за литературу, как иностранную, так и нашу. Каким удивлением, каким ужасом я был поражен! Те, которые не переставали следить за постепенным развитием пагубных систем, не могли того восчувствовать.

От театра я почти отвык и редко его посещал. А никогда еще на него не тратилось так много денег, никогда еще костюмы, декорации и представления балетов не были так великолепны, французская и русская труппы никогда еще не были так многочисленны. Но трагедия и высшая комедия совсем были брошены; их заменили так называемые мещанские драмы и комедии (comédies bourgeoises); особенно же изобиловали мелодрамы и водевили; одним словом, трогательное или умно-забавное должно было уступить место ужасному и отвратительному или непристойно-шутовскому. Это было мне не совсем по вкусу...

Уже несколько лет как молодой Каратыгин блистал на русской сцене в трагических ролях. Природа сама сложила его для них: мужественный голос и лицо, высокий и красивый стан, все дала она ему. Но дала ли она ему способности? Если нет, то он умел приобресть их прилежным изучением своего искусства и благодаря советам умной, образованной и достаточной жены. По ее желанию, с нею ездил он в Па-

риж и там, дивясь Тальме, как переимчивый русский, удачно старался подражать ему. Но, увы, время классицизма прошло, и он мог только изумлять нас в чудовищных ролях. Жена его тож имела много таланту в благородных ролях, только картавый выговор много вредил ей. Старшая Семенова сошла со сцены и вышла за князя Гагарина; меньшая, Нимфодора, продолжала все еще пленять в маленьких операх. Сосницкий, хотя уже весьма в зрелых летах, играл еще молодых людей в комедиях. Дюр, славный буф, был еще молод, но вскоре потом умер. Воротников был уморителен, когда играл деревенских дурачков, и создал роли Филаток. Прочие были все прежние актеры; а из новых, право, назвать некого.

Переходя из одной крайности в другую, я охолодел к французскому театру: он опротивел мне, и я никогда почти его не посещал. И оттого могу только припомнить себе и говорить здесь о двух главных лицах тогдашней труппы. Я уже раз назвал Жениеса; мне случалось видеть его в обществе; это был самый несносный француз, зато на сцене достоин бы он был играть одинаковые роли с Тальмою. Мадам Виржини Бурбье, красивая собою, также создана была играть Селимен и Эльмир; но все это уже было брошено.

Только один итальянский театр меня тогда еще притягивал. Года за два перед тем поручено было меломану, знатоку в музыке и самому артисту, графу Михаилу Виельгорскому на казенный счет выписать из Италии певцов и певиц, и он сделал сие удачно и дешево. Но так как это был один только высший каприз, то первую зиму желание угождать, новизна, мода заставляли лучшее общество посещать представления опер плодовитого и разнообразного Россини, который тогда был неистощим...

ПИСЬМА

М. Н. Загоскину

С.-Петербург, 17 марта 1836 г.

Любезнейший друг Михайло Николаевич.

Вы прислали мне новое произведение ваше, новую комедию «Недовольные», с надписью, но без письма. Я могу только благодарить, но в претензии быть не смею. Леность, заботы, но более всего опасение, чтобы в излияниях родственной и дружественной откровенности не сказать чего-либо лишнего, меня доселе останавливали отвечать на ваши письма. Теперь меня как будто что-то толкнуло, и за молчание ваше я хочу наказать вас бесконечным посланием. Мне придется вас много хвалить; узнавши меня коротко, вы не сочтете это лестию, но чтобы доказать истину моих слов, я могу похвалы мои перемешать с справедливо заслуженною вами бранью; итак, позвольте начать с брани. Во-первых, в вас чрезвычайно становится заметен один русский порок, леность; вспомните, что вы такое были, когда добивались славы; вы весь были жизнь, вы были огонь; едва получили вы ее, как кинулись спать на свежих еще лаврах: правда, счастливые пробуждения ваши вознаграждают нас иногда за нашу досаду и нетерпение, но так ли редко должно просыпаться? Теперь другое. Молва, т. е. приезжие болтуны представляют вас каким-то французским сибаритом, который более пленяется прыжками мамзелей [1], чем звуками и идеями, и, что всего ужаснее, который явно поддерживает ярманочную французскую труппу. Знаю, очень знаю, что в Москве казаться совершенно русским и опасно и смешно,

---

[1] М. Н. Загоскин был в это время директором московских театров.

что в древней благочестивой нашей столице господствует недавно губивший ее, истреблявший нечестивый народ французский, что повелевает в ней человек благородный, добродушный, но, к несчастию, в Париже воспитанный [1]. Как это все не знать, но тут-то и надобно всеобщему бессмыслию противупоставить всю твердость правил, всю силу непомраченного предрассудками ума.

Но что я говорю. Вас ли упрекать в слабости? Бешеная рецензия «Московского наблюдателя» на вашу славную комедию еще здесь читается, вы под проклятием врагов порядка, Руси, православия; торжествуйте, не слабейте, продолжайте. Я знаю дух издателей и сотрудников сказанного журнала, непокорность к властям, безмерное честолюбие, германская туманная философия и желание чего-то, чего они сами об'яснить не умеют, вот из чего составляется сей дух [2]. По-моему, это якобинство нового издания, оно прикрывается какою-то полухристианскою кротостию и вежливостию форм; по-моему, это волки в овечьей коже; ваша комедия, разумеется, должна была жестоко оскорбить их. У них есть политическая вера, космополитизм, которая распространяется парижской пропагандой. Разумеется, французы основали сию веру в мирные дни Бурбонов, и она есть следствие разрушения мечты о всемирном обладании, которою польстил им Наполеон. Увидев, что сила оружия в самой искусной руке, на севере, как и на юге, побеждается патриотизмом и климатами, они обрели новый путь. Они разочли, сколько силы дает им тиранское владычество моды, всеобщее употребление их языка, роскошные и утонченные удовольствия, которые привлекают к ним толпы иностранных путешественников, промышленность, литература; к сим силам они присоединили новые — обман и разврат. Вышесказанная вера учит, что другого отечества не должно быть, как мир земной, и что все люди земляки между собою, пародируя таким образом христианское учение. Новая вера нашла последователей везде, увы! даже у нас; и французы

---

[1] Московским генерал-губернатором был в это время князь Д. В. Голицын.

[2] «Московский наблюдатель» издавался тогда под редакцией С. П. Шевырева, при участии А. С. Хомякова, М. П. Погодина и др. В 1838 г. руководителем журнала стал В. Г. Белинский.

протягивают теперь руки всем народам в надежде, что они со временем протянут им шеи. Что может сравниться с этим безумием? Всякое общество составляется или для охранения себя от опасностей, или для приобретения каких-нибудь выгод; неужели ему заботиться о пользах другого общества, ему сопернического и замышляющего подорвать его? В обыкновенном смысле что такое отечество, если не многочисленное общество, связанное общими выгодами? Для нас с вами оно имеет еще другое значение: рассудок и сердце, мысль и чувства должны нас привязывать к нашей матушке России. Затмить одно, заглушить другое — вот к чему стремится злодейка, развратница Франция. Мало ей, старой кокетке, пороками, коими она исполнена, коими она кипит, привлекать юные сильные народы; она научает злодеяниям, представляя их торжествующими в романах и драматических произведениях и облекая их всею прелестию слога; наконец, пакостница сия приучает читателей и зрителей без отвращения глядеть на все то, что в человеческой природе есть мерзейшего, самое дермо, так сказать, начиняя ароматами и украшая цветами. И это называется духом времени: случается после полуночи в петербургских улицах чувствовать дух того времени, но тогда затыкаешь нос; этот же дух, который производит одна страна, коей жители от безнравственности сгнили и провоняли, другие народы с восторгом в себя вдыхают. Какой-то будет с этим конец?

Вы очень хорошо сделали, что сцену вашей комедии поставили в Москве; здесь охотно смеются над старой столицей, и хотя нравы, кои вы изобразили, совершенно суть здешние, но никто не захочет себя узнать, и я ручаюсь вам за успех. Конечно, н е д о в о л ь н ы х и здесь довольно, они будут гневаться; иной промотался и хочет пожить, повеселиться еще; другой ленив и горд, служить несогласен, а чинов и орденов хочется; про правительство говорить не смеют, за все отвечает Россия и ее варварство, ее то все и поносят. Вы прекрасно схватили сию смешную и преступную наклонность, но не во всех из недовольных погас еще рассудок, авось ли опомнятся, и мы вам будем обязаны за уменьшение их числа. Я могу вас тем потешить, что, сколько ни знаю я умных и истинно просвещенных здесь людей, все хвалят вашу комедию. Из них назову я одного только,

коего мнением, я знаю, вы особенно дорожите и коему не в первый раз уже доставили вы самое приятное удовольствие: это Дмитрий Николаевич [1]. Он послал купить «Недовольных» и от дел улучил полчаса, чтобы прочитать ее; многие места знает наизусть и с восторгом цитировал мне всю тираду, которая кончается сими стихами.

И отвратительным встречает криком
В своем отечестве великом
Прекрасный солнечный восход.

Мне случилось видеть, как дочь [А. Д. Блудова] читала ему повесть вашу «Три жениха»; мне приятно было смотреть, как наморщенное его ныне государственными думами огромное чело прояснилось, как он от души хохотал; и действительно, сколько тут остроумия без злобы, как все любопытно, как верно все изображено, какая постоянная веселость, настоящий английской юмор и какой рассказ! Прекрасно, вот все, что я могу сказать; по-моему, ничего вы лучше не написали. На-днях заметил мне Дм. Ник., как все в мире переменяется: «Шаховской [2] пишет к вам послания в стихах, — сказал он, — а я любуюсь произведениями Загоскина».

Другой министр [3] просил меня от его имени упрекнуть вас в клевете: ехавши с сестрой его в дилижансе из Москвы, вы уверяли ее, что он ваш злейший враг, тогда как он из числа усерднейших почитателей вашего таланта. Вам были известны короткие мои сношения еще с одним министром — ныне эта связь так разорвана, что никогда, кажется, завязаться не может; но всегда надобно быть справедливым: Вигель имеет все причины ненавидеть Уварова, а усердный сын отечества бывает почти всегда доволен действиями министра народного просвещения. Я ни в чем не верю, знаю, что он прикидывается только руссоманом, но и за то ему спасибо;

[1] Д. Н. Блудов — тогда министр внутренних дел, постоянный покровитель Вигеля.

[2] Драматург пушкинской поры и театральный деятель кн. А. А. Шаховский принадлежал к шишковской «Беседе», которую высмеивали арзамасцы, особенно Д. Н. Блудов. М. Н. Загоскин во времена «Арзамаса» был воинствующим сторонником «Беседы». Об этом—выше—в четвертой части записок.

[3] Министр юстиции Д. В. Дашков, бывший арзамасец.

другие верят ему, он дает юношеству хорошее направление и неумышленно творит великое добро [1].

Что мне сказать вам о настоящем моем положении и о намерениях в будущем? Настоящее довольно хорошо, но продлиться оно не может; дух все еще бодр, а плоть немощна, итак я постоянно думаю, как бы по добру по здорову убраться к вам в Москву, где древние башни, разнообразие зданий и видов, прелестные окрестности, еще что-то такое русское, по крайней мере в некоторых сословиях сохранившееся, и несколько избранных знакомых и приятелей будут услаждать мое зрение и чувства. Запад год от году становится мне отвратительнее, по мере того как он становится любезнее нашим богатым и знатным. Ох! уж эти мне знатные! С каким бешенством стремятся они за границу: там ругательства на все русское, там постоянная война против прав аристократических, коими они тщеславятся, ничто их не останавливает: целыми роями вьются эти неосторожные, безрассудные блестящие летучие насекомые вокруг адского пламени, почитаемого светом разума, обожгутся и падут в бездну. Все отечественное им не мило, и они более и более становятся чуждыми России. Боже милосердый! увидим ли мы, наконец, в нашей отчизне любовь к просвещению слитой с духом народности? Но уже между дворянами, даже между знатными и даже между купцами (несмотря на Полевого) являются, часто возникают люди, палимые священным огнем руссицизма, который ни Полевой, ни Лелевель [2], ни кто другой из антируссов не только потушить не в состоянии своими помоями, но который от усилий их распространяется. Число их еще не велико, но умножается с каждым днем, и самая малочисленность их дает

---

[1] Имеется в виду знаменитая триединая формула, проводившаяся в делах просвещения С. С. Уваровым: православие, самодержавие, народность. О взаимоотношениях Вигеля и Уварова — во вступительной статье к настоящему изданию.

[2] Н. А. Полевой — журналист и историк, которого Вигель особенно ненавидел за его любовь к Европе. См. упоминания о Полевом в Записках. И. Лелевель, польский революционный деятель и историк, напечатал критический разбор «Истории государства российского» Н. М. Карамзина, официальным блюстителем авторитета которого считал себя вместе с П. А. Вяземским Д. Н. Блудов.

им силу сектеризма [сектантства]; они пойдут проповедывать слово русское, и самая новость будет привлекать к ним последователей. Сие перерождение не может быть приметно для рассеянной толпы, но тому, чье любопытное око среди всеобщей тьмы с усилием напрягается на восток своего отечества, является оно, как светлеющая еще бледная полоса, предвозвестница еще не солнца, еще не дня, но хотя новой зари для России. Сими надеждами приветствую вас, любезнейший брат о России, брат по крови и по духу, и с сим вместе на сей раз прощаюсь с вами. Поцелуйте за меня ручку Анны Димитриевны [жена Загоскина] и обнимите зреющих ваших молодцов, коим конечно будете вы уметь передать ваши чувства. Они будут счастливее нас с вами и услышать повсюду, вне и внутри России, имя ее, превознесенное и препрославленное. Еще раз обнимаю вас. Вечно вам преданный

Ф. Вигель.

М. Н. Загоскину

С.-Петербург, 31 мая 1836.

Любезнейший мой друг Михаил Николаевич.

Меня за ваше знакомство чрезвычайно как благодарил Сергей Павл(ович) Шипов [1]; я предвидел, что вы друг другу полюбитесь; он был в восхищении от автора, не знав его лично, теперь без памяти от человека. Вам предстоит еще новое знакомство такого же рода, но с особой другого пола, и даже с девицей, которая просила меня ее с вами сблизить, а как она близка к вашим летам, то без зазрения совести я за это дело взялся. Сия девица есть автор довольно известного романа «Скопин-Шуйский», немолодая уже фрейлина Олимпиада Петр(овна) Шишкина: она в начале или в половине июня будет в Москве. Не взирая на совершенное знание французского языка, на модное воспитание, на все привычки светского общества, она вся русская и потому-то и в шестьдесят лет она не отвыкнет от стыдливости, кото-

---

[1] С. П. Шипов — генерал, член Союза Благоденствия; избег наказания по делу декабристов, так как не участвовал в развитии заговора.

рой наши предки женского пола так придерживались. Ей невозможно будет вас искать, вас, мужчину свежего, статного, крепкого, красивого, но в вас будет ли столько галантереи (простите сие старо-французское выражение), чтобы отыскать ее? Пока вы ее не знаете, хочу вам изобразить ее; может быть, сие привлечет вас к ней. Природа влила ей в душу так много прелестей, что для наружности могла оставить лишь столько, сколько требовала благопристойность; она не уродлива и не безобразна, но вот и все. Но зато ум, таланты, добродетели, а сердце... оно бы сильно воспламенилось, если б могло другое воспламенить. Всю пылкость сиротствующего сердца сего она посвятила друзьям, родным, отчизне, богу — их она любит страстно. Всякий, чье сердце бьется при имени России, тот при вашем улыбается дружелюбно, и потому-то вы ей, хотя и не знакомый, но и не чужой. Посетите же ее, познакомьтесь с ней, и когда раза два поговорите, то полюбите, как сестру родную; она же между тем двоюродная двум весьма почтенным и известным в России людям, Озерову [1] и Блудову. Весьма бы вы хорошо сделали, если бы познакомили ее и с Анной Димитриевной, а потом и с г. Погодиным [М. П., историк]; сего также она весьма желает.

Я переехал на дачу и пользуюсь искусственными минеральными водами; потому и не мог быть при представлении «Недовольных»; мне сказывали, что пьеса принята хорошо, и это меня удивило. Более всего у нас шуму делает раек во время представления пьесы, а первые ряды кресел и первый ярус лож после представления; а как ваша комедия написана не для райка и против лож и первых кресел, то я и полагал, что одни ее не поймут, а другие рассердятся, но, видно, прочие места в театре были на сей раз наполнены.

---

[1] Влад. Ал. Озеров (1770—1816) — драматург и поэт, пользовавшийся успехом на русской сцене времен Пушкина, который отрицательно относился к его дарованию, в особенности к его пьесам казенно-патриотического содержания.

Ол. П. Шишкина (1791—1854), автор патриотических пьес «Скопин-Шуйский» (1835) и «Прок. Ляпунов» (1845). Белинский отмечал, что они написаны хорошим русским языком, выявляют основательное изучение автором истории, но лишены художественного значения. Среди многих других домов Вигель и у Шишкиной читал отрывки из своих записок.

То ли дело «Ревизор» [Гоголя]; читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил он плутней, подлостей, невежества. Я, который жил и служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях. А наша-то чернь хохочет, а нашим-то боярам и любо; все эти праздные трутни, которые далее Петербурга и Москвы России не знают, половину жизни проводят за границей, которые готовы смешивать с грязью и нас, мелких дворян и чиновников, и всю нашу администрацию, они в восторге оттого, что приобретают новое право презирать свое отечество, и, указывая на сцену, говорят: вот ваша Россия! Безумцы! Я знаю г. автора — это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме [1]. Он под покровительством Жуковского, но ведь это Жуковский не прежний. Посудите, нынешнею зимой он по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда, как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский [П. А] и Одоевский [В. Ф.] и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все придерживается Руси; еще видел я там Теплякова [В. Г.], холодного поэта, и молодого Бенедиктова [В. Г.], который явился в таком блеске и которого, боюсь, заря скоро затмится [2]. Разумеется, все сии господа в совершенной противоположности с другим обществом, которое еженедельно собирается у г. Греча [Н. И.]: там вы находите Булгарина [Ф. В.], Воейкова [А. Ф.], Сенковского [О. И]., Масальского и мало ли кого там увидишь — также Европа, но в другом духе, менее

[1] П. А. Вяземский писал 19 января 1836 г. А. И. Тургеневу: «Гоголь читал нам «Ревизора». Он удивительно живо и верно, хотя и каррикатурно описывает наши административные нравы. Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отзывался о подлой роже директора департамента».

[2] Сильно нашумевший в 30-х и 40-х годах поэт, претендовавший, при поддержке булгаринской клики, на соперничество с Пушкиным. Первая книга его стихов появилась в 1835 году. Развенчанию Бенедиктова особенно содействовал В. Г. Белинский, и он был основательно забыт. Белинский отмечал, что автор ловко владеет рифмой, но лишен поэтического дарования.

умеренном [1]. Как старику везде и нигде, мне случалось и там быть, и, кажется, один раз, как бес, мелькнул мне там Полевой. Признаюсь, первые мне только что досадны, а последние почти ненавистны. Наконец, и в моей скромной храмине собирались также один раз в неделю если не литераторы, то люди просвещенные, а более всего благонамеренные: не нужно вам говорить, что Сергей Павл. [Шипов] украшал присутствием своим сии беседы; их посещали три губернатора — курский [2], ваш тезка, честь и слава имени русского; тверской — гр(аф) Толстой, почти единственный аристократ, патриот, и нынешний саратовский Степанов, довольно приятный человек и приятный писатель, автор «Постоялого двора»; униатский епископ Иосиф Семашко [3], изувер руссицизма, и молодой гр(аф) Протасов, товарищ мини(стра) нар(одного) просв(ещения), горящий священнейшим огнем любви к России и надежда всех ее поборников. Являлся и ваш давнишний знакомый, дряхлеющий уже и телом, но бодрый еще умом, по крайней мере разговорным, кн(язь)Шаховской [А. А.], когда здоровье ему позволяло. Вы знаете, как он фосфорен, воспалителен, и можете посудить, как посреди такого общества он воспламенялся и как славно иногда говорил; я уверен, что это скоро опять про-

---

[1] К. П. Масальский — романист, драматург и историк, за которым Белинский признавал ум и прекрасную форму изложения.

См. во вступительной статье к этому изданию — об участии Вигеля в борьбе Пушкина и его друзей с Булгариным, как с журналистом, состоявшим на службе у жандармов.

[2] М. Н. Муравьев, один из основателей тайных обществ, из которых возник заговор декабристов; избег наказания, так как сумел доказать следственной комиссии свое отвращение к революционным идеям; был «прощен» Николаем первым и возвращен на службу, в которой стал делать быструю карьеру в качестве твердого и сурового администратора; до Курска был губернатором в Гродне, где вел решительную политику по обращению населения этой польско-литовской губернии в православие, в чем был единомышленником Вигеля по его деятельности в качестве директора департамента иностранных исповеданий.

[3] А. П. Толстой был впоследствии обер-прокурором синода. А. П. Степанов обладал хорошим литературным дарованием.

Униатский епископ Иосиф Семашко — один из главных насильственных руссификаторов Литвы, друг и соратник Вигеля по его служебной деятельности. Н. А. Протасов был впоследствии обер-прокурором синода.

ходило и что жар сей потухал при возвращении к Катерине Ивановне [1]; но все равно, были молодые слушатели, которые увлекались его витийством, мне только было и нужно. Из настоящих нынешних литераторов посещал меня один Кукольник [Н. В.], который также, кажется, гармонизирует в чувствах и мыслях с предсказанными [2]. Я забыл упомянуть о Констант (ине) Ив(ановиче) Арсеньеве, которого ученость полезна России и в настоящем и будущем, ибо он из числа первейших наставников наследника престола; умеренный в поступках и выражениях, он неумерен только в энтузиазме ко всему отечественному. Долго было бы вам называть других зрелых и молодых людей, которые собирались у меня; имена сих последних мало известны, но их, конечно, со временем узнают и будут уважать. Вы можете быть уверены, когда такого рода люди соберутся, то часто поминают и о вас, и, поверьте, вы были бы как среди семьи родной: жаль, что вы не приезжали, а г. Погодин не захотел меня найти.

Насмешники, которые сами столь же достойны посмеяния, как и сожаления, называют нас сектой: увы, они правы. Что делать, когда в столь обширном, в столь славном государстве патриотизма достаточно только для составления одной секты, и он не может быть господствующей верой. Но что вы там в Москве делаете? Зачем вы не деятельнее проповедуете там слово русское, зачем не умножаете число поклонников России? Дайте вы мне только к вам приехать, вы увидите, сколько я вам народу навербую. Когда случится к любимому человеку писать о любимом предмете, то трудно положить перо, и я, обыкновенно скудный мыслями при обыкновенной переписке, делаюсь тогда неистощим. Другие занятия отрывают меня, да и ваше время пощадить нужно. Итак спешу проститься с вами до будущего письма, если не начинаю надоедать вам. Еще раз прощайте. Вечно ваш Вигель.

Рассудок велит мне просить вас о сожжении писем моих, ибо слишком смело выражаюсь в них насчет некоторых

---

[1] Артистка Ек. Ив. Ежова — сожительница Шаховского.

[2] Сильно нашумевший в 30-х и 40-х годах драматург, автор сусально-патриотических пьес; при поддержке Булгарина и его кружка претендовал на роль соперника Гоголя; был развенчан В. Г. Белинским.

лиц, коих могу сделать себе врагами, а самолюбие заставляет меня желать, чтобы вы их сохранили, потому что в них есть мимоходные идеи, коих бы мне было жаль невозвратной потери.

В. А. Жуковскому

С.-Петербург, 30 января 1849 г.

Бывают же еще неожиданные радости в жизни, и даже для меня, но только редко, очень редко. Одной из них я обязан вам; как бишь вас назвать? Милостивый государь Василий Андреевич; нет не хочу; да как же иначе? Вспоминая два тайных общества, совсем между собою несходных, к которым я принадлежал, мне хочется сказать: высокопочтенный брат или вечно милая Светлана [1].

Благодарю вас за два подарка, за письмо и за книги, но за которое более, затрудняюсь сказать. Двенадцать песен «Одиссеи» не пожрал я, как за мною водится при чтении просто приятного, а насквозь ими насладился. Я никогда не дерзал подступать к русской Илиаде; теперь попытаюсь; по крайней мере, буду иметь удовольствие сравнивать. Вы, право, чародей; чего не заставите вы меня полюбить? Я вечно был враг экзаметров; покойный Гнедич не примирил бы меня с ними; вы это сделали [2].

В вашем письме прозрел я слабую надежду вас увидеть летом! Что-то не верится. Ох, уж это мне продолжительное ваше отсутствие! В наши лета ведь это похоже на вечную разлуку. Никогда вы мне не были так досадны и никогда я вас так не любил. В Гéрмании, которую народные бури возмутили до дна, поднялся весь ил и песок: страшно подумать, что в этой тине зарыт наш перл. Вы все-таки наш; русские же не слишком любят свое; в рассуждении вас только не соблюдают они сего похвального обычая. Здесь холера ослабела, зато свирепствуют корь и грипп, а между друзьями

---

[1] Два тайных общества: масонское общество и «Арзамас». В последнем Жуковский назывался «Светланой», Вигель — «Ивиковым журавлем». Отсюда — подпись под настоящим письмом.

[2] «Одиссея» — в переводе Жуковского. «Илиада» — в переводе Н. И. Гнедича.

вашими показалась новая болезнь, — тоска о Жуковском: поспешите облегчить ее.

Вы меня почитаете в Москве. Но возможно ли было в ней оставаться? Пока я служил в Петербурге, я все мечтал об ней, я жаждал ее, как покоя; мне так и хотелось окунуться в ничтожество ее обществ; а я нашел только претензии, умничанье и бестолковщину. Мало хорошего в здешней суете; но все-таки искательность, интриги, крестолюбие, корыстолюбие, производя деятельность, оставляют уму некоторую свежесть. А там равно испорчены и нравы и характеры: в бездействии последние киснут, прокисают. Москва стала совершенная квашня. Из худшего лучшее, я опять поселился здесь.

Вы от меня требуете ответа. Чем бы занимательным наполнить его? Стану говорить вам о ваших друзьях и о их семействах, а потом скажу что-нибудь о себе. Первого назову я Блудова, графа Дмитрия Николаевича, который иногда является мне Кассандрой [1]. У него одна из тех голов, которые не кружатся на возвышенностях: видно они для них рождены. Он поднялся, он вырос до облаков, а я все едва приподымаюсь над землею. Неизмеримое пространство разделяет нас, так по крайней мере всегда думаю я по заочности; но лишь только мы свидимся, он взоров своих не опускает ко мне долу, а протягивает руку, я ухвачусь и очень легко, без всяких усилий, мигом перескочу пространство и с радостью нахожу, что не потухли в нем ни сердечный жар, ни молодое воображение. Старшая дочь его Антонина чудо; да и крестница ваша не уступает ей, и я попеременно люблю то одну, то другую; теперь кажется очередь за старшей. У сен-симонистов толковали о femme introuvable для христиан, для людей образованных, для друзей истинного просвещения и добродетели можно бы их назвать des femmes toutes trouvées, des femmes modéles, как изобразили мне одну незнакомку, жену любезного земляка моего, поселившегося с нею на берегах Рейна [2]. Я бы желал ей менее совершенств и более здоровья: тогда он был бы с нами.

---

[1] Кассандра — прозвище Блудова в «Арзамасе».

[2] Femme introuvable, des femmes toutes trouvées, des femmes modéles — ненаходимая женщина, женщины вполне найденные,

Да постойте, дайте мне поговорить с вами еще об одном чуде в женском роде, о молодой Воейковой [1]. Тут должно быть какое-нибудь волшебство: как без помощи чего-нибудь сверх'естественного наружностью, умом и поступками уметь привлекать мужчин и женщин, старых и молодых; как всегда быть остроумной, не позволяя себе ни малейшего злословия; как заставить чувствовать свое превосходство, не возбуждая никакой зависти? Право, непонятно. Короткие знакомые и приятели сокрушались о потере ее сестры и матери; она явилась — и все в ней как будто говорит: не печальтесь, я вам заменю их, я от обеих прислана к вам в утешение. Вы ее давно не видали, без вас совершенно распустился этот цветок. Посмотрите-ка на нее теперь; по тесным связям вашим с ее семейством вы будете гордиться ею; я то же делаю, не имея на то никакого права, разве потому только, что она «арзамаска». Смешно во мне чувство, в котором не без стыда я должен вам признаться: я краснею оттого, что дочери NN и NN отчаянные разорвы. Девицу же Александрину люблю как душу и разумеется воздерживаюсь говорить ей о том, чтобы она не сочла это любовию в настоящем смысле и чтоб ей не стошнилось.

С Вяземским [П. А.] мы что-то редко видимся нынешней зимой. Начавшаяся старость его прекрасна; она обещает быть маститою; тихий блеск ее мне кажется светлее шумного блеска и треска его молодости. С семейством бессмертного Карамзина я вовсе не вижусь: оно было чрезвычайно богато умом и добросердечием; одно сохранило оно, а от другого совсем отказалось, заменив его золотом; что же мне остается там делать? — Один старец, который всех нас и много старее, одаренный такою необидною откровенностию, замечательный в обществах любезностью просвещенного и оригинального ума своего, Петр Иванович Полетика, более года приметно начал слабеть телом и (сказать не хочется) немного головой. Все искренно любящие и ува-

---

примерные женщины, совершенства. Незнакомка, жена любезного земляка — жена Жуковского.

[1] Молодая Воейкова — дочь А. Ф. Воейкова и А. А. Воейковой-Протасовой — знаменитой «Светланы», племянницы Жуковского.

жающие его, и в том числе (вы знаете) я не последний, имеют причины насчет его опасаться [1].

Упомянув о всех общих знакомых наших, остается мне несколько слов сказать о себе. По временам находит на меня какое-то беспокойство в мозгу и чесотка в руке; тогда запоем принимаюсь я писать мои воспоминания. Месяца два-три занимаюсь довольно прилежно; вдруг мне все огадит, покажется глупо, пошло, недостойно внимания ни современников, ни потомства. Иногда полгода, иногда и более не заглядываю в рукописание; опять прельщаюсь собою, дивлюсь разнообразию моего рассказа, твердости моей памяти и берусь за перо. В постоянном труде моем чрезвычайно много непостоянства. Со всем тем написано четыре тома, и начат уже пятый; в Франкфурте, если припомните, показывал я вам половину второго, более не было. У меня довольно подробно описано рождение «Беседы» и потом рождение «Арзамаса». Вы мне часто попадаетесь под перо. Перед 1812 г., делая перепись всем тогдашним литераторам, немного пространнее говорю об вас; а что было сказано, дерзаю приложить здесь в списке: не взыщите.

Мне оставалось только подписать свое имя, запечатать письмо и отправить его, как случившееся заставило меня продлить сие послание.

Я только что писал к вам о Полетике; его не стало, нашего почтенного друга. В страданиях он не мог принять меня 26 числа; 27-го послал я узнать о его здоровьи, и мне сказали, что ему лучше; 28-го опять зашел я, и отворивший мне дверь слуга сказал, что я могу его видеть, что он уже не в постеле... а на столе. Возвратясь вечером домой, я нашел визитную карточку Вяземского и на ней приглашение на вечер 29-го числа. С тем же намерением, говорят, заехал он к покойному, но карточки отдать не мог; его уже не было. Да ликовать ему с друзьями в вечных селениях!

А мы, как следовало, отпраздновали памятное нам 29-е генваря. Другие опишут вам это маленькое торжество го-

---

[1] П. И. Полетика (1778—1849) — образованный и одаренный человек. Дипломат по профессии, он обладал хорошим литературным дарованием. Был членом «Арзамаса»—прозвище «Очарованный челн» С Жуковским был особенно дружен.

раздо лучше меня; я не берусь за то, но не могу утерпеть, чтоб не сказать об нем несколько слов. Что за удивительный был этот вечер! Как на нем было весело, и как грустно было в одно время. Внятным, хотя растроганным голосом Блудов прочитал стихи; нежным растроганным голосом Виельгорский пропел куплеты, дружбою и справедливостью внушенные Вяземскому. Для всех трех отсутствие любимого человека было вдохновением. Представительницами тех, коих уже нет, были оставшиеся после них, были вдовы Дашкова, Орлова, была вдова Пушкина[1], которая, как венец, сложила с себя великое имя, ею носимое; была дочь ее, была дочь Воейковых, была хорошенькая, миленькая дочь Дашкова, которой младенческая улыбка обличает возраст, из которого она едва только выходит и на которую глядя у меня сердце не нарадуется.

Но полно, перестану; воспоминанием вчерашнего вечера я слишком растроган, а в этом состоянии я всегда глупею. Итак, прощайте, дайте обнять себя мысленно. Случится ли это когда-нибудь наяву? Воображением летящей к вам

Журавль.

М. Н. Загоскину

С.-Петербург, май 1850 г.

Милый друг и брат, Михаил Николаевич.

Как давно не видал я тебя, как давно не писал я к тебе, страшно подумать: неужели мы вовсе сделались чужды друг другу? Правда, я беглец из Москвы, ты упрямый житель сего города, которого оболочка для меня так обворожительна, но которого — начинка мне так противна. Зато сколько есть пунктов, на которых мы сходимся душой и сердцем. С самых тех пор, как я оставил Москву, в целой Европе разразилась революция, которую мы с тобой так ожидали и так страшились. Ну, что, каков образец, учитель наш Запад? Признаюсь в невежестве своем: когда в 1844 году во-

---

[1] Нат. Ник. Пушкина (род. 1812, ум. 1863) вышла в 1844 г. замуж за кавалергардского офицера П. П. Ланского, от которого имела трех дочерей. 29 января день рождения Жуковского.

ротился я из-за границы, то в Москве из уст твоих в первый раз с некоторым вниманием услышал я слово коммунизм, а он, подкравшись вслед за сен-симонизмом, фурьеризмом и всеми немецкими бессмысленными и богоотступными сектами, стоял уже выше всех этих стенобитных орудий, готовых сокрушить общественное здание [1]. Имена Шеллинга и Гегеля, которыми так оглушали меня у вас все имеющие претензии на ученость, в Германии едва доходили до слуха моего; немцы считали путешествующих северных невежд неспособными еще постигать высоких истин сих гениев. В Париже раз только один земляк завез меня в общество фаланстерианнцев; мне любопытно было послушать их бредни, но они были скромны и рассуждали только о художествах. Вообще везде заметно было волнение умов, но ничто не возвещало близости революционного взрыва. Ныне же социализм, выскочив прямо из ада и пройдя через Бедлам и Шарантон, распространился между людей. Что-то об этом толкуют ваши дуры оксиданталистки, западницы или западни, как я их называю. Между прочим весьма немногоумная, но многоумствующая Ховрина. Меня уверяли, что в Пензе Блохина решительно беснуется; не худо было бы тебе посоветовать приятелю своему архиерею [Амвросию] и зятю своему губернатору [А. А. Панчулидзеву], чтобы ее отчитывать.

Я так записался о том, что два года исключительно меня занимает, что упустил из виду самую цель этого письма. Она состоит в том, чтобы испросить благосклонное твое внимание и вспомоществование московскому же семейству Мальчугиных, которое на время возвращается на родину. Они об'яснят тебе желания свои. Тебе известно, как я ленив писать письма, и потому самый мой поступок покажет тебе живейшее участие, которое я принимаю в этом семействе. Особенно же прошу тебя оказать обычную любезность твою одному из братьев, которого Булгарин в фельетоне своем по всей справедливости назвал милым созданием и которого под мужским нарядом нежный пол угадать весьма не трудно.

---

[1] О доносе Вигеля на петрашевцев — первых русских последователей идей коммунизма — см. во вступительной статье.

Графиня Блудова [А. Д.] от тебя, от Хомякова [А. С.] и от Алексея Петровича Ермолова [знаменитый генерал] воротилась без памяти, с последними даже переписывается; за то без зевоты и смеха не может слышать имени Чаадаева [П. Я], то же самое и другие придворные дамы и девицы, прошлого года посетившие Москву. Обнимаю тебя мысленно, мой милый, сердечный, с ребячества постоянный друг. Вечно твоей — Вигель.

От Жуковского давно уже, более года, получил длинное письмо и прекрасное. Право, как не возблагодарить небо, сохранившее нам и в старости живость воображения.

М. Н. Загоскину

С.-Петербург, 28 декабря 1850 г.

Я только в нужде пишу к тебе, милейший и почтеннейший друг и брат Михаил Николаевич; к счастию, это бывает редко, может быть, скажешь ты. Видишься ли ты с Федором Николаевичем и Авдотьей Павловной Глинками[1]? Последняя на меня гневается, с этими дамами без вины будешь виноват. И за что же? За цензуру нашу, которую я ненавижу. Рассказать ее действия, не поверишь. Ей бы противиться распространению дурных политических мнений; она мешается в духовные дела и науки. В посланиях Апостола и проповедях вымарывается слово братия, оно слишком пахнет коммунизмом, и заменяется словом христиане. Из французских медицинских книг изгнаны слова remède souverain и opération césarienne[2]. Недавно высокоумный муж твоей

---

[1] Глинки — муж и жена — менее чем посредственные по дарованиям поэты. Ф. Н. Глинка — один из участников тайных обществ и заговора декабристов, по службе при петербургском генерал-губернаторе бывший им очень полезным; отделался сравнительно легко, так как не принадлежал к числу деятельных заговорщиков. По той же службе при генерал-губернаторе Ф. Н. Глинка сумел предупредить Пушкина о грозившей ему в 1820 г. ссылке на север и спас поэта от серьезной кары правительства.

[2] Remède souverain — превосходное лекарство. Souverain — по-французски значит также — верховный, неограниченный в применении к власти царя; opération césarienne — кесарево сече-

(а отнюдь не моей) обожаемой Анненковой [1] запретил сочинение одного доктора, который в некоторых болезнях предлагает медные опилки, как верное средство, и об'явил автора неблагонамеренным отравителем. Он забыл или не знает, что сулема, мышьяк, иод, даже bleu de Prusse [берлинская лазурь] в известном количестве употребляются в лекарствах и суть самые деятельные яды. Эдакие болваны у нас почитаются дельными людьми. Все, душою преданные правительству, смотрят на то с грустью; иные полагают, что цензоры злоумышленно так поступают, но нет, все трусы и дураки, и по русской пословице — заставь его богу молиться, он лоб расшибет. Сделай милость, покажи это письмо Федору (Николаевичу) и скажи, в это время таким ли петь соловьям, как он.

Вечно и всею душою преданный тебе Ф. Вигель.

ние, операция при неудачных родах, césarienne — по-французски значит также — кесарский, императорский.

[1] В. И. Анненкова, оставившая очень интересные записки. Муж ее — генерал Н. Н. Анненков (двоюродный брат декабриста) в 1848 г. в связи с революционным движением на Западе и открытием кружка первых русских социалистов-петрашевцев — был назначен одним из главных душителей русской печати — в так называемый Бутурлинский комитет.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

СОЧИНЕНИЯ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ

1. Записки, чч. I—VII, М. 1892—1893 (ср. «Русский Архив» за 1891—1892 гг.). То же М. 1864—1865 (ср. «Русский Вестник» за 1864—1865 гг. и «Русск. Архив» за 1863 г.). Подлинная рукопись чч. I—VI в государственной публичной библиотеке в Ленинграде. 2. Замечания на нынешнее (1823 г.) состояние Бессарабии, М. 1892 (и при Записках). 3. Керчь — (1827 г.), М. 1893 (и при Записках). 4. Москва и Петербург (1853 г.) «Русск. Архив» 1893 г. № 7 (ср. Н. В. Сушков «Московский университетский благородный пансион», М. 1858). 5. Три записки (1830-х гг.) по польскому вопросу (издано по-французски. М. 1864; русское изложение в статье П. К. Щебальского «Вигель о польском вопросе», «Русск. Вестник» 1864, № 6). 6. Наводиение России немцами (издано по-французски, Париж 1844). 7. Доиос на Чаадаева (письмо к митрополиту Серафиму 1836 г.) — «Русск. Старина» 1870, т. I. 8. О стихотворении А. С. Хомякова «Россия» (1854) — «Русск. Архив» 1905 № 3. 9. Письма: А. С. Пушкину — Академ. изд. переписки Пушкина, под ред В. И. Саитова и Письма Пушкина под ред. Б. Л. Модзалевского, тт. I и II, 1927—28 гг.; П. Я. Чаадаеву — Сочинения и письма Чаадаева, под ред. М. О. Гершензона, М. 1913; В. А. Жуковскому — «Русск. Арх.» 1870, стр. 1818—1823; М. Н. Загоскину — «Русск. Стар.» 1902 № 7 и сборник «Раут» Н. В. Сушкова, кн. III., М. 1854, стр. 309—313; Н. С. Алексееву — «Русск. Стар.» 1871 № 12; Н. В. Гоголю — «Русск. Архив» 1893 № 7 (ср. Н. В. Сушков, «Моск. универс. пансион», стр. 22—25); А. С. Хомякову — «Русск. Арх.» 1884 № 5; В. Ф. Одоевскому — «Русск. Ст.» 1904 № 7, Гаю — «Соврем. Летопись» 1863 № 46, стр. 4—6.

О СОЧИНЕНИЯХ И ЛИЧНОСТИ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ

1. Пушкин — Письма, пор редакц. Б. Л. Модзалевского; тт. I и II. 2. Пушкин — Дневник, под ред. Б. Л. Модзалевского, П. 1923. 3. Пушкин — Дневник под редакц. и при участии М. Н. Сперанского, В. Ф. Саводника и Г. П. Георгиевского, М. 1923. 4. Пушкин — Сочинения, под редакцией С. А. Венгерова, изд.

Брокгауз-Эфрон. П. 1911—1915—пояснительные статьи Н. О. Лернера. 5. Пушкин — Переписка, под ред. В. И. Саитова, тт. I, II и III, П. 1906—1911. 6. И. А. Шляпкин — Из неизданных бумаг А. С. Пушкина, П. 1903. 7. И. П. Липранди — Замечания на Воспоминания Ф. Ф. Вигеля, М. 1873; 8. П. А. Вяземский — Сочинения, тт. II, IX, X; см. также «Русск. Архив» 1866 и 1884 № 4. 9. Остафьевский Архив князей Вяземских, тт. I, III, V по указателю, т. IV, стр. 161—167, 180, 317—325. 10. Архив бр. Тургеневых, вып. VI. 11. В. А. Жуковский — письмо к Вигелю, «Русск. Архив» 1905 № 3. 12. А. И. Герцен — Сочинения, изд. 1918—1922 г. тт. III, X, XIII, XVII, по указателю. 13. Н. П. Барсуков — Жизнь и труды М. П. Погодина, особенно тт. III, V, VI, VIII. 14. М. Н. Лонгинов — О записках Вигеля, «Современ. Летопись» 1863 № 46 и «Сев. Пчела» 1864 № 2, Сочинения т. I, М. 1915. 15. Ипп. Оже — Записки, «Русск. Архив» 1877 №№ 2 и 4. 16. Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, П. 1896, т. I, II, III. 17. П. А. Плетнев — Сочинения и письма, М. 1885, т. III, стр. 553. 18. В. А. Кеневич — о Л. А. Крылове, «Русск. Арх.» 1868 г. 19. А. О. Смирнова и Вигель — «Русск. Архив» 1895 № 6 и 1897 № 8. 20. Д. Н. Блудов — письмо о Вигеле, «Сев. Почта» 1864 № 51 от 4 марта; ср. «Русск. Архив» 1897, т. III, стр. 522. 21. А. Д. Блудова — Воспоминания и Записки, П. 1871, стр. 27. 22. Ольга N (О. В. Энгельгардт) — Воспоминания, «Русск. Вестник» 1887 — № 10. 23. Н. В. Гоголь — Письма, под ред. В. И. Шенрока, т. III. 24. А. В. Никитенко — Записки и Дневник, изд. 1904. 25. С. А. Соболевский — друг Пушкина, изд. «Парфенон», П. 1922. 26. Н. В. Берг — Записки, «Русск. Стар.» 1891 №2. 27. Д. А. Столыпин — Письмо в редакцию по поводу Записок Вигеля, «Моск. Ведом.» 1864 № 107 от 15 мая. 28. И. А Арсеньев — Воспоминания, «Ист. Вестник» 1887 № 4. 29. О воспоминаниях Вигеля — «Отеч. Записки» 1864 № 11. 30. С. М. Сухотин — Воспоминания, «Русск. Архив» 1894, т. I. 31. Н. — О Записках Вигеля, «Русск. Инвалид», 1864 № 105 (там же об'явление о записках Вигеля по польскому вопросу). 32. Н. В. Сушков — о Записках Вигеля, сб. «Раут», кн. III, стр. 362—363 и др. 33. Статья о Вигеле в сб. «Пушкин — статьи и материалы», под ред. М. П. Алексеева, вып. III, Одесса, 1927. 34. Русская потаенная литература, ред. Н. П. Огарева. Лондон, 1865. 35. В Клитин — Реформы императора Александра I и Ф. Ф. Вигель, как представитель современного русского общества. Новочеркасск, 1912. 36. А. А. Измайлов — о Вигеле, «Нов. Энциклопед. Словарь» Брокгауз-Эфрон, т. X. 37. С. А. Венгеров — Источники словаря русских писателей, т. I. Остальная литература указана в названных источниках.

ПОРТРЕТЫ ВИГЕЛЯ (относящиеся к 1830 г.г.) — в «Русском Архиве» 1892 № 6 (такой же, как в настоящем издании) и в Альбоме Московской Пушкинской выставки 1899 г. (отсюда в Сочинениях Пушкина под редакц. С. А. Венгерова, т. II). Оба одиотипны.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

---

[1] Указатель составлен Н. В. Деницыной. Указаны, главным образом, имена писателей и других деятелей искусства, государственных людей и лиц из их окружения. Курсивом отмечен том настоящего издания.

СОДЕРЖАНИЕ